

ИГОРЬ МИНУТКО

ВОСХОЖДЕНИЕ


AROTT



ПР

ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ



ИГОРЬ МИНУТКО

ВОСХОЖДЕНИЕ

Повесть
о Розе Люксембург

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1983

Р2
М62

Игорь Минутко — автор шестнадцати прозаических книг. Проблемам молодого поколения посвящены повести И. Минутко «Мне восемнадцать лет», «Что там, за поворотом?», сборники повестей и рассказов «Очень длинный день», «Давно, когда была юность», «Характеристика»; на историческом материале написаны повесть «Костры на площадях», пьеса для телевидения «Три жизни Николая Кибальчича».

Повесть «Восхождение» — о выдающемся деятеле международного рабочего движения Розе Люксембург, единомышленнице Августа Бебеля, Франца Меринга, Клары Цеткин, Юлиана Мархлевского, Феликса Дзержинского, Карла Либкнехта, с которым она разделила трагическую и высокую судьбу в германскую революцию в январе 1919 года... В повести мы расстаемся с пламенной революционеркой в знаменательный момент для всей Европы и мира: на календаре истории — первая русская революция.

Роза Люксембург встретила это грандиозное событие в расцвете творческих и духовных сил, уже сложившимся бойцом за интересы рабочего класса, теоретиком и страстным защитником марксова учения, о чем свидетельствует ее яростная борьба-полемика с ревизионизмом на страницах европейской социал-демократической прессы. Роза Люксембург по праву принадлежала рабочему движению трех стран: Польши, Германии и России. В то же время, по словам Клары Цеткин, она воплощала в себе черты «новой женщины» — женщины будущего общества, имя которому — социализм.

$М \frac{0901000000-140}{079(02)-83}$ КБ—7—43—83

Часть первая
ИСТОКИ

> Моим идеалом является такой социальный строй, при котором можно было бы с чистой совестью любить всех. Стремясь к нему и во имя его, может, я могу ненавидеть...
>
> *Роза Люксембург*

1

Старый Эдвард Люксембург проснулся в полночь, как всегда. Уже несколько лет сон покидал его на переломе времени к утру, и заснуть теперь — он знал и привык к этому — будет невозможно. Бессонница, проклятая старческая бессонница.

Тополиный июнь плыл над Варшавой, голубело за окном, скоро начнет светать.

Старик откинул пуховое жаркое одеяло, привычно пошарил рукой на ночном столике, нащупал табакерку и трубку, сел, сунул босые ноги в меховые шлепанцы. Потом он плотно набил трубку цейлонским табаком, чиркнул спичкой.

Ну вот... Первая глубокая затяжка, и его день начался.

Эдвард встал и, кряхтя, прошелся по комнате, распахнул окно — с высоты третьего этажа он видел тесный двор-колодец, над противоположной крышей порозовело небо, и в нем застыло прозрачное легкое облако. Внизу дворник Антони размеренно махал метлой. Тускло блеснула медная бляха на его фартуке.

«Только мы с Антони и не спим в этот час»,— подумал Эдвард, ежась от острой прохлады. Он закрыл окно

и, попыхивая трубкой, стал размеренно ходить из угла в угол.

Двенадцать лет, уже целых двенадцать лет живет он здесь со своей семьей, но так и не может привыкнуть к Варшаве, к ее сутолоке и многолюдству, не может привыкнуть к этой нелепой квартире из пяти сырых комнат, к виду из окон южной стороны — на двор, замкнутый серыми стенами, на сумятицу черепичных крыш и сетку дымков, которую рвет порывистый ветер с Вислы. Все чужое...

И в последнее время Эдварду Люксембургу часто снится родная тихая Замощь, их дом на улице Сташица, большая гостиная, длинный стол, накрытый ослепительно белой скатертью, за которым в благословенные времена собиралось вечерами все его семейство: он, Лина, три их сына и две дочери. Младшая, трехлетняя Роза, общая любимица, сидела на коленях у матери, и колокольчиком звенел ее голос. Ах, Роза, Роза!.. Тогда было согласие в семье, достаток в доме — дела торговца лесом Эдварда Люксембурга шли хотя и не блестяще, но вполне сносно.

...Трубка догорела. Старик опустился в кресло с протертыми подлокотниками возле письменного стола, выбил пепел в морскую раковину, приспособленную под пепельницу. Возле раковины стоял чернильный прибор из розового мрамора с выбоинами от старости — прибор был древний, достался ему от деда по отцу.

«Все дедовское наследство — этот чернильный прибор»,— без всякого сожаления подумал Эдвард.

Рядом лежала стопка его визитных карточек. Он взял верхнюю, прочитал: «Эдвард Люксембург. Коммерсант. Торговля лесом и инвентарем. Варшава, улица Штацика, три».

Старик усмехнулся. Коммерсант... Несколько жалких лавчонок. Здесь, в Варшаве, в Белостоке, в Бохотнице. И в Замощи... Давно лавки не дают дохода, в каждом

письме приказчики жалуются на конкурентов. Да и воруют, наверное. Уже несколько лет семья живет на старые сбережения. Но ведь им скоро придет конец. Надо продавать все лавки. Пусть с аукциона. Хоть какие-то деньги.

В глубине квартиры хлопает дверь. Шаркающие шаги по коридору. Лина... Только бы не к нему. Опять заговорит о Розе: чтобы он принял меры. Легко сказать: «Прими меры». Какие? Как? Когда же это случилось? Упустили младшую, проглядели. В какой момент перед девочкой разверзлась эта бездна, эта засасывающая пучина? Вот именно: считали ребенком...

Если бы мы не уехали из Замощи, может, не случилось бы всего этого с Розой? Кто знает... И потом, просто не было другого выхода: упал спрос на лес, остановилась торговля. И, самое главное, выросли дети, нужно было думать об их дальнейшем образовании.

Снова Эдвард Люксембург меряет комнату нетерпеливыми шагами, глубоко затягиваясь крепким дымом, и в его сизых клубах уже тонет потолок.

Что бы там ни было, несмотря на все превратности судьбы, совесть его перед детьми чиста, он выполнил свой родительский долг — трех сыновей поставил на ноги: старший, Миколай, сделался вполне удачливым коммерсантом, не без отцовской помощи на первых порах, и теперь живет в Лондоне; второй сын, Максимилиан, закончил экономический факультет Варшавского университета, совсем недавно стал совладельцем польско-французского фармацевтического предприятия, вот и сейчас в Ливерпуле, утрясает какие-то дела. А третий, Юзеф, младший, их с матерью гордость: всего два года, как получил диплом врача, и уже доктор медицины, терапевт и невропатолог, которого знают в лучших домах Варшавы, усиленно — и успешно — занимается исследованиями спинного мозга, будущее его обеспечено. Только бы удачно

женился. Дочери... Что же, со старшей, Анной, все в порядке: вышла замуж за приличного человека, хотя и без особого состояния, но с устойчивым заработком — таможенник на русско-германской границе. И уже двое детей у Анны, внучата. Вообще наша тихая старшая дочь создана для семьи, дома, для воспитания детей. И разве это не призвание женщины в жизни?

Вот Роза, младшая, их самая горячая любовь... Сегодня ей четырнадцать лет, она перешла в предпоследний класс гимназии, претендентка на золотую медаль — так, уже сейчас, говорят о ней педагоги. И надо же такому случиться! Наша мечтательная, нежная, пылкая Роза и — политика... Это я, я проглядел. Только моя вина. Разве Лина с ее заботами, Шиллером и Библией могла это заметить в ней? Но все-таки когда все началось? Кто или что привело ее к тем людям?..

В столовой приглушенно бьют часы. Старый Эдвард считает удары. Неужели уже семь? Шаги Лины по коридору, скрипит дверь.

— Доброе утро, Элиаш! Боже! Как ты накурил! Нечем дышать, и ничего не видно. Ты совсем не думаешь о своем здоровье, Элиаш. Завтрак уже готов. Иди, умывайся, я полью тебе теплой водой, а то опять застудишь руки. Нет, погоди, сначала открою окно.

Эдвард Люксембург смотрел на жену. Когда же мы успели состариться, Лина? Впрочем, сорок восемь лет — разве это старость? А седые волосы, морщины, шаркающая походка... Это я не сумел уберечь тебя от невзгод и чрезмерного труда.

Они шли по коридору молча. И привычно остановились возле ее двери.

— Спит,— прошептала Лина.— Легла поздно, наверно, часа в два ночи, я уже заснула. А вернулась в одиннадцатом часу. И опять ее провожали... Я поглядела в окно...— Голос Лины уже дрожал от слез.— Отказалась

от ужина; когда я спросила, где была, только сдвинула брови... Элиаш, надо...

— Погоди,— перебил он, тоже шепотом, и осторожно приоткрыл дверь.

Роза спала, отвернувшись к стене. По подушке разметались черные густые волосы. На стуле у кровати лежала раскрытая книга.

Эдвард, стараясь ступать бесшумно, вошел в комнату, посмотрел на титульный лист книги. Там значилось: «Н. Г. Чернышевский. Что делать?».

Он не смог подавить вздоха.

Роза порывисто повернулась — красная со сна щека с полосой от подушки, длинный, с горбинкой нос, в широко раскрытых густо-карих глазах гнев и недоумение.

— Папа! Неприлично заглядывать в чужие книги. «Каким резким может быть у нее голос».

— Извини,— сказал он.— И вставай, пора завтракать. Уже восьмой час.

...Сначала за столом они сидели вдвоем. Пахло крепким кофе. Стол был огромен и казался сиротским. Их семейный стол, привезенный из Замощи... Тягостно молчали. Эдвард намазывал соленое масло на поджаренные ломтики черного ржаного хлеба.

— Элиаш,— нарушила молчание Лина,— умоляю тебя: поговори с ней еще раз. Пока не поздно. Ведь ты знаешь, какое время. Вчера пани Яновска рассказывала... Аресты среди студентов политехнического...

— Я поговорю,— сказал он.— Но не сейчас, не здесь. Я кое-что придумал.

Быстро вошел Юзеф, бодрый, подтянутый, чисто выбритый. От него веяло здоровьем и уверенностью, и родители просветленно посмотрели друг на друга.

— Доброе утро! — сказал Юзеф.— Что тут у нас сегодня? Сыр и бифштекс? Прекрасно! Мама! Пожалуйста,

кофейку покрепче. Сегодня дел в клинике — хоть ночуй там.

И тут вошла Роза — строгая, замкнутая, аккуратно причесанная.

— Здравствуйте,— холодно, отчужденно сказала она.

Мгновенно всех сидящих за столом сковала та неловкость, которая теперь всегда возникала, когда они собирались вместе, осколки некогда большой и дружной семьи.

Ели и пили в молчании.

— Роза,— заговорил Эдвард Люксембург, и в голосе его чувствовалось напряжение,— я хочу тебе кое-что предложить. Ведь начались летние каникулы, не так ли?

— Начались, папа,— ответила Роза, не поднимая головы от чашки кофе.

— В этом году я не могу тебя отправить ни к морю, ни в Закопане. Но тебе надо развлечься, отдохнуть, сменить обстановку.

— И что же? — спросила Роза и теперь открыто, прямо посмотрела на отца. Настороженность была в ее голосе.

— Мне предстоят поездки в Белосток, в Бохотницу и в нашу Замощь. Надо искать покупателей для лавок, пока они еще что-то стоят. Вот и поедем вместе, в каждом городе можем пожить недельку, а то и другую, если тебе понравится.

— Сестренка,— преувеличенно бодро сказал Юзеф,— это же великолепно! Сколько раз ты мне говорила, что мечтаешь о путешествиях. Могу тебе только позавидовать. Если бы не клиника...

— Ты прав, Юзя.— Роза вдруг улыбнулась.— Правда, в Белосток и в Бохотницу меня не очень тянет, а вот Замощь... Я ничего не помню.

— Где же помнить,— тихо сказала Лина.— Тебе было три года, когда мы уехали.

— Я давно хотела побывать там,— возбужденно заговорила Роза.— Надо знать, откуда мы, правда? Когда едем, папа? — Уже нетерпение было в ее голосе.

— Я думаю, через неделю.

— Прекрасно! Я это время посижу в библиотеках, прочту все, что можно, о родном городишке. Кое-что я уже читала.

В передней зазвонил звонок.

— Это Антон,— сказал старый Люксембург.— Принес газету.

Роза сорвалась со стула, выбежала из комнаты, чуть заметно прихрамывая.

— Слава богу,— прошептала Лина.— Там ты с ней...

Но Роза уже входила в гостиную.

— Вот, папа, твои «Биржевые ведомости».

Он сразу заглянул на последнюю страницу: «Сегодня, 14 июня 1885 года, на Варшавской бирже...»

2

В Белосток можно было ехать поездом Варшава — Петербург, но старый Эдвард предпочел лошадей, по старинке. Розе сказал, что по пути у него есть кое-какие дела, а про себя рассудил: «Дальняя дорога располагает к беседам. Постепенно разговоримся, и тогда, может быть, я сумею понять ее, потолкуем по душам. В общем, там видно будет. Главное — начать разговор, и упаси боже от нравоучений и требований».

Выехали на рассвете. Призрачная сиреневая дымка стояла над Варшавой; в безлюдной улице четко стучали лошадиные подковы по булыжной мостовой. И он почувствовал: Роза сразу замкнулась, сидела в дальнем углу фаэтона, отчужденно молчала. Эдвард понял: дочь опасается разговора с ним.

И так они проехали весь день.

На ночлег остановились у Буга, в старой корчме. Им отвели большую комнату с темными бревенчатыми стенами, пропахшую полынью, которой от блох был посыпан пол. Кровати были огромные, с влажными простынями.

Эдвард, утомленный дорогой, сразу после ужина заснул, но спал, как всегда, до середины ночи.

Качался фонарь за окном. Метались по потолку расплывчатые тени. Плакал хозяйский ребенок. Как томительна бессонница... Очень хотелось закурить, но он боялся разбудить Розу, неподвижно лежал на спине, смотрел в потолок, думал.

Утро наступило тихое; в розовом тумане вставало над Бугом солнце. И когда они проезжали по мосту, Роза прошептала:

— Какая красота! — Засмеялась, казалось, без причины. Потом потребовала: — Папа, остановимся на том берегу. Я хочу искупаться.

— Хорошо, дочка.

Он неясно, через ветки ольхи, видел, как она раздевается, как, заметно прихрамывая, спускается по крутому песчаному обрыву к воде.

Его младшая дочь родилась с вывихом тазобедренного сустава, лет до десяти, наверно, продолжался какой-то костный процесс, заставлявший ее страдать, на долгие месяцы приковывая к постели. Болезнь окончательно прошла два года назад, но сохранилась легкая хромота, и, чтобы скрыть ее, Розе заказывали специальную обувь. Надо было ходить медленно, и тогда совсем ничего не замечалось, но стоило Розе заспешить, побежать или снять эти туфли...

Эдвард смотрел, как его дочь в длинной полотняной рубашке ковыляет к воде, как нащупывает ногой воду. Вот она ойкнула, повернулась к нему и засмеялась...

Блестят ровные зубы, ветер растрепал густые черные волосы.

Роза бросается в воду, летят брызги, сверкая на солнце. Роза плывет, переворачивается на спину.

— Папа! Как здорово!

...Ведь она превращается в девушку. Хромоножка... Некрасивая. Но разве наша Розочка некрасивая? Может быть, на нее никто не обращает внимания... Или несчастная любовь? И вот она хочет проявить себя, выделиться. И поэтому пошла к этим людям? Там у них человека, возможно, ценят не за внешность, не за глазки... Нет, что-то здесь не то... Поговорить! Надо поговорить... Все! Решено: в Белостоке, как только устроимся, я заговорю.

Весь оставшийся путь до Белостока он готовился к этому разговору, нервничал, придумывал первые фразы, старался предугадать ответы Розы.

Какое это испытание человеку — взрослые дети!

...Из-за поворота дорога полого спускается вниз, и впереди — Белосток.

У городской заставы фаэтон останавливается. К ним неторопливо идет молодой офицер, говорит с полуулыбкой на чисто выбритом лице:

— Можно вас на минуту, пан?

Эдвард суетливо вылезает из фаэтона, они отходят в сторону.

— Я не советую вам ехать в город. Беспорядки...

Рядом, у полосатой будки с двуглавым чугунным орлом над крышей, толпятся солдаты и — старый Эдвард видит боковым зрением — смотрят на Розу, которая высунулась из фаэтона.

Какое принять решение? Затягивается томительное молчание. Его нарушает извозчик:

— Может, вернемся? От греха подальше?

Эдвард не отвечает, думает.

И вдруг звонкий, высокий голос Розы:

— Едем папа!

— Едем,— говорит он, будто ждал согласия Розы —

Давайте через центр, там должны быть солдаты и полиция.

— Дело хозяйское,— вздыхает пожилой извозчик и дергает вожжи.

Лошади берут рысью — мимо кучки солдат, которые вдруг замолчали, провожают фаэтон пристальными взглядами; мимо полосатой будки; мимо молодого офицера, который круто отвернулся в сторону.

Странно пустые улицы. Громко отдаются в тишине удары конских подков по мостовой. Фаэтон выезжает на Липовую аллею — главную улицу Белостока. Безлюдье. Только молчаливые группы солдат и полицейских (серое перемешалось с синим) у витрин самых богатых магазинов, принадлежащих евреям. Рынок Костюшки, центральная площадь города. Пусто. Опять солдаты и полицейские.

— Папа! — Роза судорожно сжимает руку отца.

Разбитая витрина кондитерского магазина. Там, за стеклом с огромной рваной дырой, все перемешано, вздыблено, раздавлен торт, и розовый крем замершими волнами течет по полу. Висит на одной петле вывеска «Братья Блюм и К°».

Надвигается громада костела Матки боски, резкая тень от него падает, пересекая улицу. Как непривычно видеть город пустым в эти полуденные часы...

Впереди — ажурные линии дворца Браницких, и возле ворот много солдат, несколько полицейских на лошадях. Голоса, смех. Неужели смех?..

Фаэтон едет мимо, и опять их провожают любопытные, возбужденные взгляды.

Впереди поворот на Полесскую улицу, уводящую в район, где находится лавка Эдварда Люксембурга. Извозчик останавливает лошадей.

— Дело ваше, пан,— говорит он, и в голосе его страх.— Только там охраны нет.

А он медлит, медлит. Ясно же: нельзя ехать туда...

— Едем! — выводит его из вязкой нерешительности нетерпеливый голос Розы.

Будто она ищет встречи с ними...

Извозчик дергает вожжи. Лошади идут шагом.

Запах пожара. Разгромленные и разграбленные лавки: выбитые стекла, сорванные с петель двери, вещи, разбросанные прямо на улице. Раздавленная кукла в ситцевом пестром платье. Ветер метет белые перья и пух из распоротых перин. Безлюдье — словно среди этих низких домов прошла чума, мор поглотил людей и никого не осталось. В нескольких местах попадаются лужи крови.

Старый Эдвард смотрит на дочь. Никогда, до последнего вздоха, он не забудет этот взгляд...

— К Розенталям...— с трудом выговаривает он.— Их охраняют.

И дальше — будто провал в сознании. Потом он обнаруживает себя в большой комнате. Голубые обои в золотых цветах, люстра в хрустальных подвесках, кресла с высокими спинками, обитыми коричневым плюшем. Он полулежит в кресле у окна, Роза стоит рядом и осторожно гладит отцовскую руку.

По комнате возбужденно шагает тучный человек в черной суконной тройке — как будто в театр собрался; потное жалкое лицо в густой черной бороде, на голове черная феска. Он быстро сыплет словами:

— Не понимаю, Элиаш, не понимаю... В самое пекло. Ты же знаешь, там ни полиции, ни солдат! Наоборот...

— Я хотел,— слабо отвечает Эдвард,— посмотреть, как лавка. Что-то спасти...

— Вай! — вздымает руки над головой тучный человек, и пот струится по его щекам.— Ты меня смешишь, Элиаш... Раз приехал, раз принесло тебя... Да еще с Розочкой... Вай, вай! Надо было сразу ко мне. Я бы тебе сказал... Что-то спасти! Не смеши меня, Элиаш, надо спасать жизнь! Они сожгли твою лавку в первый день!

— Как это допускает правительство? — резко вторгается в разговор Роза.— И русский царь, которого в газетах называют миротворцем?

Старый Эдвард молчит. Вот как суждено было начаться их разговору...

Тучный человек разводит руками. И тоже не отвечает Розе.

— Я вам объясню, пани!

В открытую дверь входит молодой человек в студенческой куртке, русский, с нервным, бледным лицом, длинные светлые волосы падают на плечи, прямой взгляд голубых влажных глаз. Он кивает всем:

— Вадим Самарский!

— Товарищ нашего Самуила,— говорит тучный человек.— Занимаются на одном курсе Ягеллонского университета. Приехал погостить на каникулы, и вот... Хорошо, что Самуил задержался в Варшаве.

— Вы спрашиваете, пани, как правительство допускает погромы? — нервно говорит Вадим. Его польская речь с еле уловимым акцентом.— Правительство их и организует!

— Как?! — изумленно спрашивает Роза.

— Если бы власти захотели...— Голос Вадима срывается от волнения.— Разве они допустили бы разгул этих громил? В еврейских кварталах полиция бездействует, солдат там нет вовсе. Охраняются только дома и имущество...— Вадим прямо смотрит на тучного Розенталя,— еврейских буржуа и капиталистов.

— Но так невозможно жить! — шепчет Роза.— Так невозможно жить дальше...

— Вы правы, пани! Жить так дальше невозможно...

...Вечером они втроем, Роза, Эдвард и Розенталь, стоят у того же окна. Пуста площадь Костюшки. Ушли солдаты. Охранять дома богатых евреев остались полицейские.

А над окраинами, в трех концах города,— зловещее багровое зарево.

— Нет,— шепчет Роза, и частая дрожь, бьющая ее маленькое тело, передается отцу.— Так жить дальше немыслимо...— И вдруг она резко поворачивается, смотрит прямо в глаза Эдварду, говорит громко, с вызовом: — Ты хотел поговорить со мной, папа? О жизни... О моей жизни, ведь так?

— Да, дочка, я хочу поговорить с тобой.— Старик косится на тучного Розенталя.— Но не сейчас... Я неважно себя чувствую...

— Мы бы здорово поговорили, папа...— В голосе ее сдерживаемый гнев.— На фоне этого маленького пожара.

— Роза, может быть, ты хочешь вернуться в Варшаву?

— Нет! — живо откликается она.— Я хочу в Замощь. Ты обещал.

— Хорошо,— с облегчением говорит Эдвард Люксембург.— Тогда мы выезжаем завтра утром...

Отец и Розенталь уже горячо спорят о чем-то, перебивая друг друга. И — Роза знает — спор этот затянется до глубокой ночи.

3

На полпути в Замощь они остановились в крохотном местечке Житорица: надо было дать отдых лошадям.

Отец и дочь сидели в пустой кофейне и молчали. Хозяин, тучный старик с рыжими оспинами на лице, поставил перед ними сковородку с потрескивающей яичницей, кувшин с горячим молоком, хлебницу, две чашки.

— Пан,— сказала Роза,— если можно, сегодняшнюю газету.

— Одну минуту, пани.

Старик прошел к буфетной стойке и вернулся с газетой.

— Пожалуйста, пани.— Он вздохнул.— Ну и времена. Опять крестьянские беспорядки.

Эдвард видит, с каким нетерпением и жадностью Роза развертывает газету.

— О погроме в Белостоке, конечно, ни слова,— шепчет она.

«Сейчас,— вдруг решается он.— Надо же когда-нибудь начать».

— Политика, Роза, не женское дело,— тихо, спокойно говорит Эдвард Люксембург, ковыряя вилкой яичницу.

Роза поднимает на него враждебный взгляд.

— Чье же дело политика, папа?

«Ничего не получится...»

Но уже сделан первый шаг.

— Дочка, через два года ты закончишь гимназию. Пора думать о будущем.

— Я и думаю, папа... о будущем.

— Газеты, какие-то кружки, запрещенные книги! — Внезапное ожесточение захлестывает его, и шепот становится свистящим.— Я тоже интересуюсь политикой, ты знаешь. Но я не вмешиваюсь в нее!

— Сидеть сложа руки? — взвинченно, громко говорит Роза, и из-за буфетной стойки на них с удивлением, настороженно смотрит хозяин кофейни.

Оба умолкают. Роза демонстративно шуршит газетой, ее воспаленный взгляд бежит по столбцам политического обзора.

«Неужели я не смогу переубедить ее?..»

...Погода испортилась: ночью прошел сильный дождь, и сейчас небо было завалено тяжелыми тучами, летела мелкая дождевая пыль, влагой оседая на лица. Туманные дали сливались с серым небом. Земля пропиталась водой, дорогу, по которой они ехали, развезло, и две лошади с трудом тащили фаэтон — казалось, он медленно плывет

по бесконечным лужам, плавно покачиваясь из стороны в сторону.

Дорога петляла по полям, шла через крестьянскую чересполосицу, мимо редких в этих холмистых местах березовых перелесков, ярко, изумрудно светивших молодой листвой; то вдруг выстраивались древние ветлы у самой обочины, с могучими кряжистыми стволами, с черными грачиными гнездами в ветвях; у кладбищенских ворот стояло скорбное изваяние матери божьей под навесом, перед ее темным от времени ликом мерцали свечи. Иногда дождь прекращался, резко светлело, прояснялись дали, зелено-розовый колорит преобладал в природе, и непонятно было, откуда являлась эта розовость в ненастный июньский день.

«Печальна моя родина, сурова,— подумала Роза, искоса взглянув на отца. Глубокие морщины, седые волосы, усталость во всем облике.— Он старый, совсем старый...»

Внезапно впереди — трое на лошадях. Комья грязи летят из-под копыт. Казаки. Распаленные долгой ездой молодые лица; сверкают глаза из-под мохнатых барашковых шапок.

Казаки теснят фаэтон, извозчик спрыгивает с козел, хватает лошадей под уздцы, круто заводит их к обочине. Фаэтон резко наклоняется, скрипят рессоры...

Роза с отцом вылезают из-под навеса. Под ногами влажная липкая земля; густо пахнет травой и поспевающей рожью.

И Роза видит:

идут по обочинам дороги солдаты с винтовками наперевес;

едут, заняв всю дорогу, казаки: лошади — морда к морде, как на параде, и в руках казаков обнаженные сабли.

А за ними — огромная серая толпа людей, невнятный, пока невнятный, рокот над этой невыносимой толпой...

Он нарастает. Стоны, выкрики, слова молитв...

Но постепенно из общего гула голосов вырывается:

— Хлеба! Хлеба! Хлеба!

Есаул гибко поворачивается к Эдварду и Розе. Открывается его рот под щегольскими усами, ослепительно блестят зубы.

— Хлеба они захотели! — запаленно говорит есаул.— А на православную церковь работать желания нету! Дом батюшки спалили.— Он сглатывает слюну.— Хлеба им! Хорунжий! Куда смотришь? Черт!

Фиолетовая мгла заволакивает все вокруг. Розу начинает бить озноб, все сильнее, сильнее. Мелко стучат зубы. Еще мгновение — и она бросится на есаула, станет рвать его зубами. Отец сильно, больно сжимает ее руку выше кисти:

— Держись, дочка, держись!..

В фиолетовой мгле мимо Розы проплывают лица, лица, лица.

И есть общее выражение на них — отчаяние и мука.

...Как мираж, как страшный сон, растворяется в серой дождевой мгле томительное шествие крестьян. Еще некоторое время фигуры казаков невесомо проплывают в тумане и наконец исчезают за линией горизонта.

Будто ничего и не было. Померещилось...

Извозчик дрожащей рукой выводит лошадей на дорогу.

В канаве успокаивающе, монотонно лопочет вода.

— Поехали, Роза,— тихо говорит старый Эдвард.

Она стряхивает оцепенение, смотрит на отца сухими горячими глазами.

— Значит, папа, сидеть сложа руки? — жестоко, непримиримо спрашивает она.

Эдвард Люксембург не отвечает. Сгорбившись, он медленно идет к фаэтону.

Вечером в Замощи, в комнате лучшей гостиницы го-

рода «У трех монахов» с окнами на зеленые мокрые окраины в редких призрачных огнях, он заговорил первый, без всякого вступления — знал: дочь готова к этому разговору. Вернее, она понимает — его не миновать.

— В одном ты права, Роза,— начал он.— Эта жизнь невыносима, ее надо менять. Я понимаю тебя, и я с тобой согласен. Но как? Вот в чем вопрос...

— Бороться! — нетерпеливо перебивает Роза.— Бороться, как народовольцы!

— Подожди, девочка, выслушай меня спокойно.— Старый Люксембург не повышает голоса, в нем — усталость и мудрое терпение. Роза почувствовала это. Пронзительная, непонятная жалость к отцу наполняет ее.— И бо́льше мы не будем возвращаться к этой теме. Сначала я хочу задать тебе вопрос: как ты считаешь, это естественно, что есть богатые и бедные, образованные и невежественные, ну... польские земельные магнаты и те несчастные крестьяне, которых мы видели сегодня? Это справедливо?

— Нет, папа! Это несправедливо!

— Да, ты права: это несправедливо. Но это — естественно, вот в чем дело, дочка!

— Не понимаю...

— Люди не рождаются равными — и перед богом, и по своим возможностям. В этом, Роза, может быть, основной закон природы. Кто родился пахать землю, не станет королем, кто пришел в этот мир поэтом, тот не будет коммерсантом. Неравенство — это фундамент человечества, и на протяжении веков и тысячелетий сама природа производила этот кропотливый отбор: кому кем быть. И отбор шел медленно, постепенно, именно постепенно.

— Значит, природа слепа, папа! Если она производит такой отбор, если...

— Я наперед знаю, что ты мне хочешь сказать. Да, сильные мира сего виноваты. Многие беды нашей жиз-

ни — от них. Но это не значит, что все изменить к лучшему можно той борьбой с ними, в которую ты... молчи, молчи!.. в которую ты, я вижу, готова броситься с головой.

Роза молчала.

— И теперь я скажу тебе, дочь, самое главное. К этим мыслям я пришел недавно, к концу жизни. Никогда насилием не будет достигнуто лучшее, доброе устройство общества. Любое насилие вызывает ответное, еще более разнузданное насилие, пролитая кровь приведет к новому кровопролитию. Это вечный, заколдованный круг, вернее, бесконечные круги, которыми опутало себя человечество. Если бы ты мне поверила, что это — так!

Роза молчала.

— Хорошо, не отвечай сразу. Но только знай...— Вдруг ослепительная надежда поразила его: сейчас он убедит свою непокорную дочь.— Знай: это мое духовное завещание тебе — оставь политику, откажись от той бессмысленной борьбы, в которой ты — я знаю — уже принимаешь участие.

Роза молчала.

Эдвард Люксембург устал: голос все чаще прерывался, резкие морщины сбежались вокруг рта, вспотел лоб, отвратительная слабость сковала тело.

Роза тихо вышла из комнаты.

Эдвард Люксембург неторопливо набивает трубку, раскуривает ее, окутывается облаком дыма.

На душе умиротворение и пустота.

...Всю ночь она не могла заснуть, ворочаясь на высокой кровати.

И как только посветлели окна, Роза бесшумно встала, быстро оделась и выскользнула из комнаты.

Рассвет. Легкий туман. Небо очистилось от туч. Сейчас встанет солнце.

Сразу она попала на Большой рынок, на центральную площадь Замощи.

Роза в волнении опустилась на прохладную скамью. Перед ней клумба: желтые и красные тюльпаны. А дальше — ратуша. Ее купол парит в синем небе.

И таинственные двери, за которыми хранятся воспоминания о первых впечатлениях бытия, бесшумно распахиваются...

Самое первое, что я помню о себе?

...Роза откидывается на спинку скамьи. В небе кругами ходят голуби, розовые от уже вставшего солнца. Вот!

Я лежу в постели. Уже давно лежу в постели. И понимаю, что это болезнь, немощь, мне надо вставать, ходить, а я лежу. Моя комната в розовых обоях. Белый кувшин с водой в углу, на кувшине нарисована роза, яркокрасная. Стол, лекарства на нем, терпкий запах лекарств. В руках у меня кукла в синем длинном платье. Я ее как-то называла, но сейчас не могу вспомнить имени. Ясное сознание, что я несчастна, больна.

Я лежу, лежу. Ноет тело, чешется спина, и я не могу достать рукой то место, где невыносимо чешется.

Наверно, я лежу долгие месяцы. Потому что окно... Я считаю его живым и разговариваю с ним: «Окно, окно, покажи мне, что там». И окно показывает: за его стеклами идет дождь, и капли косо ползут вниз; в комнате таинственный полумрак, мама приносит лампу, и окно из пепельно-голубого в один миг становится черным. За окном бело, летят серые снежинки, легко касаясь стекла; топится печь, я слышу потрескивание дров, кафельный бок печи дышит на меня жаром; зима.

А однажды... Окно распахнуто, лавина солнца врывается в мою розовую комнату; бледные тени трепещут

на потолке. Цветы в высокой хрустальной вазе стоят передо мною на столе — васильки, ромашки, полевые гвоздики. И вдруг! Помню: я вздрагиваю всем телом, даже, кажется, вскрикиваю — бабочка влетает ко мне в открытое окно, большая бабочка невиданной красоты. Бархатно-коричневая, с синими кругами на каждом крылышке, обведенными белыми линиями; трепещут длинные усики. Бабочка легко порхает по комнате, потом садится на потолок — прямо надо мной! Смежает и раскрывает крылышки. Я не могу оторвать от нее глаз. «Бабочка, бабочка!» — шепчу я, и ее волшебное изображение туманится передо мной. Я вытираю рукой слезы, облегчающие, благостные слезы. Бабочка танцует по комнате, потом садится на выпуклость одеяла. Я боюсь шевельнуться, боюсь вздохнуть... Я смотрю на нее как на великое чудо (это и есть чудо!). Где-то в глубине квартиры хлопает дверь, волна воздуха проходит над нами. Бабочка вспархивает и сразу находит окно, растворяется в солнечном сиянии. Но я не жалею о том, что она улетела. Тогда я почувствовала... Конечно, это сейчас я могу словами определить новое ощущение... Я почувствовала: встану, буду ходить, буду летать, как моя бабочка.

Очевидно, с того дня я начала поправляться.

А дальше?

...Звонкие детские голоса. Роза оборачивается на них.

Гувернантка, строгая, прямая, с замкнутым лицом, ведет за руки двух малышей, двух девочек.

Конечно!

Жаркий толчок заставляет Розу подняться со скамьи. Она идет мимо клумбы с тюльпанами, мимо витрин магазинов, в которых хозяева уже раскрывают двери. Проходит под аркой, и Большой рынок остается позади. Мощенная крупным булыжником улица, спускающаяся под уклон, влечет ее куда-то...

Роза идет...

...Булыжная улица приводит ее в квартал низких, невзрачных домов, тесно, стена к стене, выстроившихся перед ней. Канава с зеленоватой замершей водой. Куча отбросов. Тощая собака с поджатым под самый живот хвостом копается в ней. Разноцветное белье на веревке в крохотном дворе. Прошел раввин в черном одеянии. В одном доме открыта дверь, и в ней — дети, много детей с курчавыми головками и жгучими глазами-маслинами; дети с любопытством, но очень серьезно смотрят на нее. Сильный, резкий запах.

Какой знакомый запах!..

...Девочка.

Как она появилась в нашем дворе? Ее звали Юдифь. Она, наверное, на год или на два старше меня, потому что я смотрю ей в лицо, задрав голову. Нет, я не помню ее лица, вот запах помню. Этот запах... Юдифь пахла. Странно пахла — печным угаром, чем-то терпким, резким... Она шепчет:

— Пошли к нам?

Чувство запретного: мне не разрешается выходить со двора одной. Я виновато оглядываюсь на окна. Юдифь тянет меня за руку. Холодная твердая ладошка. И — помню, помню! — ободки черной грязи под ногтями.

И мы бежим. Первый побег из дома...

Я спотыкаюсь, не успеваю за Юдифь. Мне не хватает воздуха. Вихрь новых чувств: ужас? смятение? «Я обманула маму»...

Какие-то задворки, вонь, лужи из-под ворот. Пестрое белье. Страшно, жутко. Кажется, любопытные взгляды со всех сторон. И помню ясно: много детей. Каких-то одинаковых детей серого цвета.

Потом сразу — тесная комната. Опять вонь, и тошнота подступает к горлу. Огромная печь, и на ней — глаза. Много глаз — настороженных, жадных, изумленных. Глаза сыплются с печи. И все это дети, большие и

маленькие. Меня обступают. Крик, гвалт. Ко мне тянутся тощие руки в цыпках, дергают мою одежду...

Страшно, страшно!.. Я, кажется, начинаю плакать. Кружится голова. Рядом — лицо Юдифь, она что-то говорит мне утешительное

...Какой-то провал.

Дальше я вспоминаю себя в этой же комнате. Мне весело. Мы — нас много — сидим на земляном полу и играем в удивительную игру: из рыбьих причудливых косточек складываем разные фигуры.

...Появляется мама. Испуг на ее лице сменяется радостью: я жива! (Наверно, так.) Какой-то громкий разговор мамы с высокой худой женщиной. Мама подхватывает меня на руки. Я начинаю плакать: мне не хочется уходить от новых друзей.

«Мы пригласим Юдифь к себе»,— кажется, говорит мама.

И она уносит меня на руках. Пестрое белье, лужи, терпкие запахи; горластая большеглазая ватага сопровождает нас.

Потом... Я сижу в ванне, в душистой пене: меня отмывают от той жизни, к которой я прикоснулась.

Смутное чувство несправедливости. («Почему у Юдифь нет такой ванны и такой кружевной ночной рубашки, как у меня?»)

Могла я так подумать? Скорее всего, нет. Это сейчас... И все-таки что-то думалось, думалось! Тревога. Беспокойство. Дисгармония. Нарушение совершенства мира, в котором я жила.

Наверно, это было где-то здесь, в квартале еврейской бедноты.

Роза сворачивает в тесный грязный переулок, и он выводит ее к центру.

...Юдифь.

Помню, большой стол в нашей столовой. Вся семья

в сборе. Наверно, ужин, потому что горит лампа. И рядом со мной — Юдифь. Она приглашена к ужину. Никто не ест, все смотрят на Юдифь, все поражены. И я — тоже. Юдифь ест. Не ест, поглощает еду, спешит: хватает куски с разных тарелок, засовывает их в рот, быстро-быстро жует, судорожно глотает, виновато, заискивающе оглядывается по сторонам... Я ловлю ее взгляд — в глазах странный блеск (голодный блеск?).

Сейчас, в памяти, Юдифь как бы высвечена ярким лучом света, а все остальное — стол, комната, другие лица за столом — погружено во мрак. Отчетливо вижу ее худое смуглое лицо — хотя и не помню его черт — с капельками пота на лбу; тонкая рука с ободками грязи под ногтями несет ко рту кусок бисквита в сахарной пудре...

...Она вбегает в комнату гостиницы «У трех монахов». Накурено, душно. Эдвард Люксембург поднимает голову от раскрытой книги, с тревогой и надеждой смотрит на дочь.

Роза шепчет сухими воспаленными губами:

— Я не согласна с тобой, папа!..

4

Что же, очевидно, так: сейчас те силы и обстоятельства, которые влияют на Розу, сильнее его. Надо ждать. Если бы время стало его союзником!.. У дочери переломный, опасный возраст. Что последует за ним? Да, только так: ждать. Он высказал ей свои сокровенные мысли, изложил, если угодно, свою философию жизни. Роза не может не задуматься над его словами. Она умная, чуткая девочка.

Они прожили в Замощи целый месяц. Установилась ясная, теплая погода, характерная для лета в этой части Польши: с прохладной свежестью по утрам и вечерам,

когда сильно, густо пахнет мокрой землей и цветущими лугами, с застывшей жарой в полдень, когда паутина липнет к разгоряченному лицу, если пробираться к речке через густые заросли кустарника, и лягушки прыгают в стороны в высокую темно-зеленую траву. Долгие, томительные закаты и восходы солнца, безлюдье в городе, тишина...

Они бродили по окрестностям, обедали на хуторах, купались в ласковой теплой Топорнице. Говорили. Много говорили, и почему-то основной темой их долгих разговоров было ее детство, их семья. Роза много читала. И отец, наблюдая за дочерью, сделал для себя неожиданное открытие: лучшее общество для Розы — книги; стихия, в которой она чувствует себя как рыба в воде,— уединение.

Когда Роза научилась читать?

Ее варшавское бытие началось неудачно: обострился костный процесс бедра, и Роза надолго слегла в ненавистную постель. Сейчас, через завесу более чем в десять лет, Эдвард старается представить свою младшую дочь — и видит ее маленькую фигурку в кровати под атласным стеганым одеялом; головка в рассыпанных черных волосах на большой подушке, светятся ему навстречу ее большие, густо-карие глаза, светятся доброжелательностью, интересом, открытостью. Странно: теперь Эдварду кажется, что до самого поступления в гимназию, до 1878 года, Роза все время была прикована к постели.

Долгое, мучительное лежание... Почему он раньше не задумывался над этим? Наверняка подобный образ жизни многое значил. Особенно для такой пылкой, любознательной девочки, как Роза. Наверно, тогда, в тягучие дни и месяцы закладывались какие-то качества сегодняшнего ее характера.

А характер у Розы в ту раннюю пору был легкий, милый... Эдвард стал подыскивать точное слово и, кажет-

ся, нашел его. Характер у нее был радостный. Вот, вот! Радостный, несмотря на болезнь, страдание, постельный режим.

Старый Эдвард улыбнулся своим воспоминаниям.

Все в доме, включая горничную Зосю, девушку в общем-то хмурую по своей натуре, любили Розу и, как могли, баловали. Она тогда, в известном смысле, была центром их семьи, их варшавской квартиры: все при первой возможности спешили в ее комнату, собирались возле ее постели. Теперь Эдвард понимает — был магнит, притягивающий к больной Розе. Этот магнит — ее любовь. Она всех в доме нежно любила.

И все-таки... Старый Эдвард почувствовал неожиданный укол ревности. Был в их семье один человек, занимавший тогда особое место в жизни его младшей дочери и во многом, очевидно, определивший развитие Розы в ранние детские годы. Этим человеком была мать его детей, Лина Люксембург.

Жена Эдварда выросла в либеральной интеллигентной семье, далеко не богатой, и, наверно, оттуда ее постоянное стремление привить детям — да и ему тоже — бережливость и неприязнь к расточительству. И сейчас они живут в общем безбедно благодаря ее стараниям и умению «тратить копейку», как говорит она.

В Лине причудливо сочетается традиционное религиозное воспитание, характерное для старинных еврейских семей, с новыми прогрессивными веяниями. С молодых лет она упорно и неизменно верила в способность царя Соломона понимать язык птиц, считала Библию высочайшим источником мудрости, что не мешало ей проливать слезы над творениями Шиллера, чей романтизм еще тогда, в молодости, завоевал ее сердце. Эдвард улыбнулся — Лина сама рассказывала ему: к ужасу стариков, наряду с талмудом она нараспев читала трагедии любимого поэта. За Шиллером стоял Адам Мицкевич, а дальше вооб-

ще открывался простор новой литературе, европейской, польской, русской, куда устремлялась ее душа. Лина создала в доме настоящий культ книги.

Теперь он думал о жене и о своей младшей дочери слитно. И опять поймал себя на мысли, что впервые думает так.

Лина любила своего последнего болезненного ребенка неистово, самоотверженно, жертвенно. Во время приступов болезни, когда Роза попадала в постель, Лина все дни проводила возле нее.

Вот тогда, с раннего детства, в жизнь Розы вошли книги: мать подолгу читала дочери свои любимые произведения на четырех языках: еврейском, польском, немецком и русском. Эти четыре языка с ранних лет и усвоила Роза, хотя сейчас говорит, что ее родной язык — польский.

Постепенно из множества авторов она выделила одного, и он стал для нее любимым.

«А может быть, я ошибаюсь?»

...Они обедали в кофейне при гостинице «У трех монахов»; в маленьком уютном зале под каменным сводчатым потолком никого не было, кроме них. В стрельчатые окна били косые лучи солнца. Вкусно пахло луковым супом.

— Роза,— спросил он,— в пять-шесть лет был у тебя любимый писатель?

Она с удивлением посмотрела на отца.

— Почему ты спрашиваешь об этом, папа?

— Я сейчас вспоминал, как мы тебе читали по очереди, когда ты была совсем маленькой.

Роза улыбнулась, и ее загорелое лицо стало удивительно миловидным от этой улыбки, будто осветилось внутренним пламенем.

— Больше всего я любила тогда Адама Мицкевича.

Нет, он не ошибся.

И еще вот что. В ту пору Эдварда поражала ее тяга к взрослым книгам. Именно тогда его младшая дочь отдала предпочтение поэме Мицкевича «Пан Тадеуш». Роза просила каждого, кто оказывался в комнате, перечитывать те места, которые ей особенно нравились. Тогда же он заметил: ее пристрастием были описания садов, охоты, сельских огородов — словом, картины польской природы, которые с таким непревзойденным мастерством создавал гениальный поэт.

— Больше всего,— прервала его мысли Роза,— мне правилось, как читает Мицкевича Анна.

...И он увидел (через приоткрытую дверь в комнату Розы): горит керосиновая лампа под зеленым колпаком. Роза полусидит в кровати, облокотившись на подушку, подтянув к подбородку одеяло. Ее старшая сестра Анна — в кресле, в руках ее раскрытая книга, льется, музыкально и таинственно, голос:

...Над гущею стеблей, колосьев, маков с тмином,
Поденки легкие повисли балдахином;
Прозрачны, как стекло, легки, как паутинки,
Сквозные крылышки, едва приметны спинки;
Сказал бы: над землей туман редеет тонкий —
Жужжат, но кажутся недвижными поденки...

— ...А сейчас ты по-прежнему любишь Адама Мицкевича?

— Да! Он великий поэт. Истинно польский. Я думаю, никто так глубоко не выразил польский национальный характер, как он. И еще, Мицкевич поэт действия и борьбы.

Старый Эдвард поперхнулся луковым супом.

— Ну а еще, Роза... Кто сегодня твои любимые писатели?

Ее лицо стало замкнутым, мгновенно обострились все черты.

— Ты хочешь знать, папа, какие книги я читаю... по ночам?

— Я спрашиваю тебя о литературе, а не о политике.

— Тогда... — Теперь Роза открыто, дружественно смотрела на отца.— Есть у меня сейчас любимая книга — роман Гончарова «Обломов».

— Вот как! — удивился Эдвард.— Почему же именно «Обломов»?

— Почему? Мне трудно объяснить тебе...

...После того бала, в прошлом году... Не хочется вспоминать о нем!

...Прибежала ее лучшая подружка Ванда Каспашко, они сидят на одной парте. «Роза! Ты не забыла? Сегодня в мужской гимназии бал знакомства! Ведь тебя пригласил Ежи Мрожек. Неужели забыла?» Нет, она не забыла... Пойти? Ах, зачем только она пошла? Ее на первый же вальс пригласил этот Ежи: «Пани Роза, прошу!» — «Я не умею»,— прошептала она тогда, бледнея. «Я научу вас». Она безвольно протянула ему руку. На середине зала, у всех на виду, вырвалась из его легких объятий и, хромая сильнее, чем всегда, убежала... Она валялась на кровати в своей комнате, несколько дней не ходила в гимназию, все падало из рук. И вот тогда пришел Юлиан Мархлевский, принес книгу, сказал: «Мне некогда, Роза. Я спешу. О бале мы знаем. Это глупо.— Он помедлил и сказал жестко: — Такая ты нам не нужна. Вот.— Юлиан положил на стол книгу.— Обязательно прочитай. И подумай». Он ушел не простившись. Роза подошла к столу, взяла книгу: И. А. Гончаров. «Обломов».

За одну ночь и длинный зимний день, не отрываясь, она прочитала книгу. И была потрясена. Ее горе было разрушено теми могучими чувствами, которые разбудил в ней великий русский писатель. Роза поняла ужас образа жизни Ильи Обломова и содрогнулась, представив себя на его месте,— сострадала ему, сочувствовала, хоте-

ла подсказать, как надо жить. Жить, активно действуя, искать пути приложения своих сил. Дочитав последнюю страницу, она поняла: есть угроза проспать всю жизнь, проваляться на диване. Стоит только распуститься, дать волю лени, которая есть в каждом человеке и лишь ждет своего часа. Или поддаться настроению сегодняшнего дня. Подумаешь, бал, этот Ежи Мрожек... Действовать, действовать! Ни один день не должен пропасть даром! Ни один час...

— ...Понимаешь, папа, Гончаров сказал мне: перед каждым человеком есть выбор, два пути: или провести жизнь в полусне, в полном бездействии, или активно действовать. Действовать! — Ее глаза сияли.

— Что же, Роза, я только могу приветствовать твой выбор,— сказал старый Эдвард, но на душе его стало беспокойно.

— Вообще, папа, как это ни парадоксально, русификации Польши в одном я очень благодарна. Можно сказать, в меня внедрили русский язык. И с ним я получила великую литературу. Пушкин, Лев Толстой, Тургенев, Достоевский!

Какие у нее взрослые мысли и интересы...

— Знаешь, папа, я научилась плакать над книгами, читая русских писателей. И еще... В их произведениях я открыла для себя Россию.— Она вскочила из-за стола.— Папа! Смотри, какое солнце! Мы пойдем на речку?

Завидное умение: мгновенно переключаться с одного на другое. Наверно, это свойство юного мозга.

— Сегодня, Розочка, иди одна. У меня побаливает поясница. Лягу, может, к вечеру будет легче.

...В просторном, немного сумрачном номере Эдвард Люксембург лежит на кровати. Ломит поясницу, не хочется шевелиться, но он пересиливает себя, поворачивается на бок, берет с табурета, который стоит рядом, трубку и табакерку.

Через минуту он делает первую глубокую затяжку.

Роза уже, наверно, на реке.

...Примерно в то же время, в пору страстного увлечения Мицкевичем, Роза научилась читать и писать. Значит, тогда ей было пять или шесть лет. Спачала она овладела польским. Сейчас кажется: это случилось мгновенно. Во всяком случае, память Эдварда не сохранила самого процесса обучения.

И тогда же появилась ее любимая игра (впрочем, игра ли?): она затеяла переписку со всей квартирой — из ее комнаты он с Линой, братья, Анна, гости, случавшиеся в доме, получали маленькие письма или стишки. От всех требовались немедленные ответы. На всей этой переписке лежал налет таинственности, роль почтальона выполняла горничная Зося, сновавшая из комнаты в комнату с непроницаемым лицом, и в кармане ее передника лежали письма. Эта веселая кутерьма превращала в праздники их длинные варшавские вечера.

О чем тогда писала Роза? О прочитанных книгах, о том, что видела во сне (ей всегда снилось много снов...). Расспрашивала братьев о новостях в городе, во дворе, в университете. И была одна тема, которая и тогда поражала всех: за свои невинные проступки (нагрубила Анне, невнимательно слушала маму, когда та читала ей очередную главу из Библии, обманула Зосю, забыла пожелать Эдварду спокойной ночи) Роза в своих письмах сама себе назначала наказания. Ах, эти детские наказания! Унести куда-нибудь любимую куклу и не возвращать три дня. Не пускать к ней в комнату целый день кота Барса...

...Старый Эдвард почувствовал: комок подступает к горлу.

Скорее поглубже затянуться...

На какое-то время переписка была остановлена внезапным увлечением: Роза взялась обучить грамоте гор-

ничную Зосю, поначалу активно сопротивлявшуюся этой затее. И тут Роза проявила неожиданное упорство.

И сейчас Эдвард слышит ее голос из-за двери:

— Вот смотри: так пишется буква «а»... Так «б», а так «ц»...

— Ну и загогулина! — изумленный голос Зоси.

Однако уже через несколько дней Эдвард застает Зосю, склоненную над листом бумаги. Она с трудом выводит карандашом какие-то каракули, пот покрывает ее простодушное лицо, на котором изумление перемешалось с восторгом: получается! Роза внимательно, строго следит за движением карандаша в неумелых Зосиных пальцах.

Их дом Зося Завадска покидала грамотной женщиной, и — как думает сейчас Эдвард Люксембург,— может быть, поэтому у нее нашелся жених, служащий в соседнем почтовом отделении.

...Осторожный, почтительный стук в дверь.

— Да, прошу.

В комнату вкрадчиво входит сам хозяин гостиницы:

— Я вас побеспокоил, пан Люксембург? Вы отдыхали? Тысяча извинений! Ваши газеты, пан.

И хозяин почтительно семенит к двери, останавливается, говорит:

— Забыл, пан Люксембург. Тут есть еще один покупатель, хочет посмотреть вашу лавку.

— Кто же это? — спрашивает Эдвард, шурша газетами.

— Пан Лавербаум. У него небольшая художественная мастерская. Два мастера. Выполняют всякие заказы: вывески, роспись стен в костелах. Прибыльное дело. Пану Лавербауму нужно помещение.

— Что же, пусть приходит, потолкуем.

— Я, конечно, приношу извинения. Лучше вам к нему пожаловать.

«Так, поделом... Честь-то ныне в кошельке... И сюда докатились новые нравы».

— Хорошо, я сейчас соберусь.

— Я внизу, в зале, пан Люксембург.

Хозяин гостиницы удаляется.

Старый Эдвард еще некоторое время лежит неподвижно. Всякий интерес к газетам пропал.

Художественная мастерская пана Лавербаума... Не тот ли это Лавербаум, что пятнадцать лет назад содержал крохотную сапожную мастерскую? Сам сапожник. И при нем ученик-подмастерье. Да, у каждого своя судьба. Теперь живописью промышляет...

Стучат в дверь, просовывается голова хозяина:

— Прошу прощения, пан Люксембург...

— Иду, иду!..

Он шагал за молодым худощавым человеком с лицом сутенера по обезлюдевшей в послеобеденную жару Замощи.

Молодой человек у высокой дубовой двери дергает тесемку звонка — его трель еле слышно раздается в глубине добротного каменного дома, построенного совсем недавно...

А вечером в городском саду Эдвард Люксембург угощает Розу мороженым с клубничным вареньем, заказывает бутылку шампанского. У него приподнятое настроение: сделка состоялась, пан Лавербаум, удачливый предприниматель из нового поколения дельцов. («У них нет никаких принципов, — сделал вывод старый Эдвард, — кроме одного: деньги, прибыль»), приобретает лавку Люксембурга. И сошлись на вполне сносной цене.

— Так что, Роза,— говорит он, разливая шампанское в бокалы,— все у нас хорошо, и можно выпить за удачу. Разрешаю и тебе.— Старик засмеялся.— Хотя ты еще несовершеннолетняя.

— Благодарю, папа.— В голосе ее прозвучала ирония. Или ему показалось?

— Мы можем возвращаться в Варшаву. Если ты хочешь.

— Пожалуй...

Стало прохладно. Сквозь темные листья сирени мелькали разноцветные фонарики, которые гирляндой обрамляли танцевальную площадку.

С польскими девушками танцуют русские офицеры... Оркестр играет вальс «Грезы».

— Помнишь, Роза, год назад пан Градовский, послушав, как ты играешь, сказал: «Этой девочке надо серьезно заняться музыкой». А пан Градовский — настоящий музыкант. Почему бы нам не попробовать? Я найму хорошего учителя. Теперь это можно себе позволить. А, девочка?

Роза прямо смотрела на отца, молчала. Потом усмехнулась:

— Может быть, папа. Я действительно люблю музыку. Давай вернемся к этому разговору в Варшаве.

5

Из Люблина в Варшаву они ехали в купе мягкого вагона. Появились деньги, и вообще у Эдварда Люксембурга было хорошее настроение: за месяц, проведенный в Замощи, он духовно сблизился с младшей дочерью, почувствовал ее прежнюю любовь к себе, даже нежность. Старику показалось, что совсем исчезло отчуждение в их отношениях. Так пусть же поездка заканчивается по-царски: мягкий вагон, купе на двоих, отделанное темно-фиолетовым плюшем; проводник в белых перчатках предлагает кофе с венскими пирожными. Пусть Розочка думает только о хорошем, забудет про Белосток (надо же было случиться такому несчастью: угодить туда во время погрома...).

В Варшаве мы обязательно вернемся к разговору о музыке. Наша дочь — пианистка! О чем можно еще мечтать?..

Так думал старый Эдвард.

За окном купе первые осенние краски пробиваются в природе: прядь желтых листьев на березе, скошенные одинокие поля со скирдами соломы; рваной стаей летит воронье; туманные расплывчатые дали.

А у Розы были совсем другие мысли.

Она стояла у опущенного окна. Ветер, врывавшийся в вагон, растрепал ее волосы. Ветер пах спелой рожью. Скоро сентябрь. Впереди — предпоследний класс гимназии.

Скорее бы! В гимназию? Да, конечно... Но главное — скорее увидеть их, своих новых друзей. Да и по дому Роза соскучилась. Особенно по матери.

...Их семья живет в восточной части Варшавы, на правом берегу Вислы, в рабочем предместье Прага, неподалеку от двух вокзалов: Виленского и Восточного.

Стоит пройти два квартала от дома, в котором они снимают квартиру, и новый Вавилон вокруг: поезда, перекличка паровозов, дымы, застилающие небо; платформы с оборудованием, движение, грохот сгружаемых товаров, огни, многолюдство; вереницы грузчиков с тяжелыми мешками на сгорбленных плечах.

Тут же за рядами недавно построенных унылых двухэтажных домов — туда запрещается ходить Розе — целые кварталы кабаков, сомнительных заведений с красными фонарями; там в неосвещенные вечера — пьяные песни, женский визг, драки, полицейские свистки...

Зато переулками Роза может спуститься к Висле. Здесь строится порт: сумятица кранов, баржи с товарами, суета, разводы нефти на воде; чайки с пронзительным криком носятся над нечистотами, сваленными у берега. И здесь бесконечные вереницы грузчиков по скрипучим

шатким сходням — с тюками хлопка, с мешками пшеницы... с ящиками, на которых написано жирной черной краской: «Achtung» *.

Скорее, скорее! Время — деньги!

Вздымаются в небо все новые и новые заводские трубы — Розе кажется, что они растут у нее на глазах. Медленно, но неуклонно расползаются по окраинам, будто мокрицы, серые рабочие бараки. Там — Роза знает — скученность, болезни, кислая вонь пищеты.

С этой действительностью она соприкасается лишь мимоходом — видит пьяную драку у кабака, встречает нищих на паперти русской церкви,— какие изможденные лица у женщин и детей, какие голодные глаза!.. Да, это не ее жизнь, но Роза не может не думать о ней, ее сердце ранено — уж такое оно у нее. И есть совсем другая жизнь — в тех кварталах Варшавы, за Вислой, где обитают польская знать, немецкие банкиры и фабриканты, русская администрация.

Другая жизнь...

Определенно, март — особый месяц в Розиной жизни. Ведь именно тогда она впервые, случайно — неужели случайно? — встретила их, своих будущих единомышленников.

С Вандой Каспашко они решили сфотографироваться и отправились в модную фотографию на Маршалковской, а через день, 1 марта, снимки были готовы. Девочки отправились за ними.

1 марта 1885 года...

Установилась небывало теплая для этого времени погода, настоящая весна: стаял весь снег, и по верху льда на Висле текла, бурлила вешняя вода. Кое-где на солнце-

* Внимание (*нем.*).

пеке зазеленела трава. На деревьях стали набухать почки.

Было три часа дня, когда Роза Люксембург, выйдя из дому, быстро — как только она может быстро — прошагав через двор, встретила на углу Ванду, уже поджидавшую ее. Они направляются к мосту Кербедзя, садятся там в вагон конки. Их путь — через Вислу, в центр города.

— Интересно, как мы получились? — радостно тараторит Ванда.— Роза, ты мне подаришь свою фотографию на память?

— Хорошо,— рассеянно говорит Роза.

Конка медленно тащится по мосту над широким разливом мутной воды. На том берегу, справа, постепенно вырастают мрачные стены Варшавской цитадели. Русские власти называют ее Александровской. В вагоне умолкают разговоры, Ванда тоже прикусила язык. Девочки во все глаза смотрят на силуэты угловых башен. Там — Десятый павильон, политическая тюрьма столицы Королевства Польского. На память Розе приходят споры в семье, споры братьев с отцом по поводу злодейского убийства. В Десятом павильоне 30 июня 1879 года — Роза перешла тогда во второй класс гимназии — прозвучал выстрел часового, оборвавший жизнь восемнадцатилетнего Юзефа Бейта, рабочего-социалиста, якобы при попытке к бегству. Может быть, тогда она впервые услышала эти слова: социалисты, революция... А имена запомнила точно, их навсегда закрепила ее цепкая память: Юзеф Бейт, Людвик Варыньский. Этих людей в своих жарких спорах называли ее братья.

На Маршалковской, получив фотографии, девочки рассматривают свои изображения.

— Ой, какая ты хорошенькая! — хлопает в ладоши Ванда.— Напиши мне скорее что-нибудь на память.

— Я напишу тебе дома,— говорит Роза.— Надо же подумать, что написать.

— Хорошо. А как я получилась? Тебе нравится?
— Ничего. Ты здесь похожа на веселую, жизнерадостную овечку.
— Роза!.. Ты смеешься?
— Да бог с тобой! Мне очень нравится твоя фотография.
— Правда? — Ванда уже сияет.
— Правда, правда! Вот что... Пойдем, Вандочка, погуляем по центру.
— Как здорово! Пойдем! Я думала, ты потащишь меня домой.
...И вот они в центре Варшавы.
Девочки стоят перед величественным королевским замком. Возвышается могучая колонна — памятник королю Сигизмунду III, семнадцатый век. Рядом начинаются узкие средневековые улочки Старого города, и надо пройти совсем немного, чтобы попасть в его геометрический центр — на Рыночную площадь. Здесь многолюдство, продают горячие пирожки с лотка, пестрые игрушки для детей, всякую мелочь. В костеле святого Яна идет служба — через открытые двери девочки видят прихожан; приглушенно доносятся звуки органа.
Они бродят по площади среди праздной толпы, покупают мороженое, ягодное, розовое, в хрустящей трубочке, глазеют на картины студентов, выставленные вдоль стен; наблюдают, как солидная пара — он толстый, важный, в черной тройке под дорогим, расстегнутым напоказ пальто; она тоже толстая, страдающая в корсете, с выражением презрения и брезгливости на сытом потном лице — долго садится в прогулочную коляску; рессоры скрипят под грузными телами; серая изящная лошадь в нарядной попоне косит на них испуганным, возбужденным глазом...
Они опять выходят на Замковую площадь; из нее выливается улица Краковское предместье, центральная улица Варшавы.

Другая жизнь...

Катят мимо сверкающие позолотой кареты — с фамильными гербами, с надменными лакеями на козлах; ослепительные туалеты на женщинах, невидящие взгляды сквозь тебя: «Кто-то там копошится под ногами?»; роскошные магазины один за другим — витрины, витрины, витрины, ломящиеся от товаров, изнывающие от товаров; в дверях услужливые женоподобные приказчики с усиками-стрелками на подобострастных лицах: «Чего изволите?» Изящный, легкий правительственный дворец, и русский жандарм хмуро прохаживается мимо парадных ворот... Памятник Мицкевичу. Роза долго стоит перед своим кумиром. Нарядная толпа, парижские туалеты, запах нездешних духов. Блеск, движение, вихрь. Открыты двери кофеен и ресторанов; там за широкими окнами женщины с комариными талиями и мужчины с громкими, уверенными голосами; офицеры, много офицеров... Свернуть за угол, и — девочки знают, слышали — вереница игорных домов; стоят у дверей привратники, все пожилые, медлительные. И все похожие на ленивых убийц. Вниз, в слабо освещенную, зазывающую глубину, ведут лестницы, покрытые коврами; там — и это знают девочки — проигрываются в карты целые состояния; то, что рабочий человек не заработает и за целую жизнь, молодой хлыщ может спустить за один час и, кисло улыбаясь, пойти в буфет пить шампанское.

Как все это понять? Объяснить?

— Пойдем в Саксонский сад? — прерывает раздумья Розы подруга.

— Пойдем...

Во влажном, предвесеннем саду, который соткан из причудливого переплетения тонких веток, они садятся на белую прохладную скамью. Оказывается, уже наступает вечер; деревья, аллея, беседки — все теряет очертания. Где-то, в глубине сада, настраивается духовой оркестр,

и над какофонией слабых звуков господствует наглый голос трубы.

— Нет, я не понимаю! Не понимаю... — горячо говорит Роза.— Как можно жить так, когда столько голодных кругом, бездомных!

— Я тоже не понимаю,— робко вторит ей Ванда, но, похоже, думает о другом.— Наверно...— И Ванда замолкает на полуфразе.

Перед девочками стоит пожилой бесцветный господин с тросточкой, нервно покачиваясь с пяток на носки.

— Из какой гимназии? — вкрадчиво спрашивает он.— Почему польская речь? — Тросточка подрагивает в его руке.

Роза поднимает прямой дерзкий взгляд на пожилого господина:

— Мы не на занятиях,— спокойно говорит она по-польски, и только звонкие, летящие вверх нотки выдают ее состояние.— У нас приватный разговор!

— Фамилии! — взрывается господин.— Кто родители? Немедленно...

Но внезапно умолкает: рядом со скамьей стоит группа мастеровых, молодых парней, молча наблюдающих за происходящим.

Господин быстро, легко растворяется в вечерних серых сумерках Саксонского сада. Как будто его и не было...

К ним подходит парень, высокий, широкогрудый, на нем ладно сидит рабочая блуза, подпоясанная кушаком, блестят начищенные сапоги; у парня смуглое лицо с крупными, резкими чертами.

— Правильно, девочка! — говорит он Розе.— Страхом мы их не одолеем. Пусть они нас боятся!

Подходят к скамейке другие мастеровые.

Ванда незаметно жмется к Розе.

— Завтра...— Парень смотрит на своих товарищей,

похоже, ища у них одобрения,— мы им покажем свою силу!

— А что будет завтра? — Роза вся подалась вперед.

— Завтра мы выйдем на демонстрацию,— говорит мастеровой с рябинками на скуластом, злом лице.— С нами будут студенты. Присоединяйтесь и вы.

Мастеровые уходят по аллее, перспектива которой растворена в сумерках.

Роза напряженно смотрит им вслед.

Уже густой, лиловый вечер в Саксонском саду. Духовой оркестр играет томительный вальс. Аллеи наполняются парами; тихий смех, шепот. Огни сквозь голую сетку веток.

— Уже поздно, Роза. Идем.

— Да, пора.

...Они молча выходят на Театральную площадь, запруженную каретами. Гул голосов, вереница тусклых фонарей, мельканье лиц.

— О чем ты все думаешь, Роза?

— Завтра мы пойдем с тобой на демонстрацию,— говорит она.

— На демонстрацию? — В глазах Ванды ужас.

...На следующий день она сама заходит за Вандой.

— Идем! — Во всем облике Розы нетерпение.— Я узнала: демонстрация начнется в два часа.

— Но зачем нам на демонстрацию, Розочка?

— Да собирайся же! Мы только посмотрим.

— Я не хочу! Я боюсь...

— Ладно, оставайся. Пойду одна. Я считала тебя настоящей подругой.

— Какая ты, Роза... Сейчас...

...Они выходят на Сигизмундовскую, главную улицу своего района, и сразу попадают в грозовую атмосферу: со стороны рабочих кварталов все нарастал и нарастал невнятный, странный гул, как будто вода шумела, пере-

катываясь через каменные пороги. Стояли тут и там кучки людей; взволнованные голоса, выкрики. В переулке сгрудились полицейские, и на их лицах решительность перемешалась со страхом.

Серая монолитная масса возникла из-за поворота. Топот множества ног, создающий этот гул и рокот; грозное молчание. И над серой лавиной плывут красные флаги и полотнища.

Рабочая демонстрация... Она все ближе, ближе. Уже различимы лица. И больше молодых — с каким-то общим выражением своей правоты и неотвратимости.

Горят лозунги, написанные на красном полотне:

«Девятичасовой рабочий день!»

«Долой произвол администрации!»

«Требуем охраны труда!»

...Они уже рядом, проходят мимо Розы и Ванды.

Среди рабочих — студенческие и гимназические куртки.

— Смотри,— Роза сжимает локоть подруги.— Бронислава Гутман с ними!

— Правда...— шепчет Ванда.— Ну их, Розочка... Уйдем, а?

Бронислава Гутман! Она на год старше Розы, в последнем классе их гимназии. Знакомы они совсем мало, несколько раз коротко говорили на переменах...

— Броня! Броня! — кричит, срывая голос, Роза.

— Люксембург? — удивление на лице Гутман. — И Каспашко? Умницы! Идите к нам!

— Бежим! — Роза хватает Ванду за руку.

— Я не пойду, Розочка... Извини.

— Тогда... Отправляйся к нам. Скажи что-нибудь родителям. Ну хотя бы что я пошла за учебниками... И жди меня.

Роза бежит, заметно прихрамывая, к шеренге демонстрантов, и сильные руки подхватывают ее.

Они, эти люди, принимают ее в свои ряды!

Роза шагает под красным полотнищем со словами: «Да здравствует свободный труд!»

Слева от Розы Бронислава Гутман, справа — коренастый юноша в кителе реальной гимназии: нежный овал лица, прямой нос, ежик густых русых волос, светло-голубые глаза, в которых светится нетерпение.

Роза не успевает удивиться выражению этих глаз.

Полицейские свистки. Топот ног. Крики.

Демонстрация приближается к мосту над Вислой.

— Наша цель,— быстро говорит Бронислава,— пройти в центр, к Замковой площади, к правительственному дворцу.

В перспективе улицы Роза видит: путь им преграждает синяя пунктирная цепь полицейских.

Но не останавливается демонстрация...

И, кажется, из самых недр этого единого неустрашимого шествия возникает мощно, грозно, со все нарастающей силой:

Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!

Новые голоса вплетаются в тысячный хор.

Нам враждебны златые кумиры;
Ненавистен нам царский чертог.

Впервые Роза слышит великий гимн на улице, когда его в момент столкновения с враждебной силой поют рабочие. Она еще не знает всех слов, повторяет шепотом:

— *Ненавистен нам царский чертог...*

Совсем рядом мост, и Роза видит: расступаются полицейские перед первыми рядами демонстрантов.

Навстречу шествию бежит знакомый парень: широкая грудь, блуза подпоясана кушаком, крупные, резкие черты лица.

— Приказ комитета! — кричит парень.— Студентам и гимназистам в центр не ходить! Узнают в лицо — всем волчий билет. Студенты и гимназисты! Выходи из рядов! И — по домам! Спасибо, товарищи!

— Приказ есть приказ,— говорит Бронислава.

И они, трое, отходят в сторону.

...Постепенно в переулке собирается много студентов и гимназистов.

— Подождем расходиться! — кричит кто-то.— Будем ждать вестей!

Они стоят под навесом у подъезда двухэтажного особняка (в окнах — бледные круглые пятна испуганных лиц). С Вислы поднимается свежий порывистый ветер. Но Розе не холодно, щеки ее пылают.

— Я же вас не познакомила,— вдруг говорит Бронислава.— Роза Люксембург, моя...— она помедлила,— ...подруга по гимназии. А это...

Молодой человек протягивает Розе руку:

— Юлиан Мархлевский.— Он улыбается.— Реальная гимназия. Я вас раньше не видел.— Он выжидательно смотрит на Брониславу.

— Роза своя,— решительно говорит Гутман.— Я к ней давно... присматриваюсь.

«Не очень у нее приятная привычка,— думает Роза,— делать паузы в середине фразы».

— Я бы очень многое хотела у вас спросить,— говорит Роза Мархлевскому.

Напротив, через дорогу, маленькое кафе.

— Зайдем туда,— предлагает Юлиан. — Потолкуем. И вы легко одеты...

— Говорите друг другу «ты»,— перебивает Бронислава,— что мы, на светском приеме?

— Хорошо,— смеется Юлиан.— И из окна нам все будет видно.

...В кафе всего три столика; они сидят у окна, перед ними улица, угол переулка, в котором толпятся студенты и гимназисты. Хозяин, молодой мужчина, ставит перед ними кофейник и три маленькие чашки, вазу с печеньем, настороженно поглядывает на молодых людей.

— Я хочу знать...

— Только немного тише,— улыбается Юлиан.

— Я хочу знать,— переходит на шепот Роза.— Ведь не сама же по себе возникла эта демонстрация. Значит, есть...— Она посмотрела па хозяина, который за буфетной стойкой протирал рюмки.— Значит, есть организация?

— Есть,— тихо сказал Мархлевский.— И называется она «Пролетариат». Броня, поговори о чем-нибудь с хозяином.

...Бронислава болтает у буфетной стойки с хозяином, и тот уже угощает ее бисквитным пирожным.

Роза вся обратилась в слух.

Юлиан Мархлевский смотрит па нее с улыбкой, тихо говорит, и со стороны может показаться, что за столиком встретились влюбленные.

— «Пролетариат» — первая польская социалистическая организация, выросшая из стихийных выступлений рабочих Королевства Польского. Ее создал Людвик Варыньский и его единомышленники. Кстати, Роза, вот человек, который для всех нас может служить образцом: сам оп из дворян, отец его имел поместье где-то под Киевом, но Людвик порвал со своей средой после того, как за участие в студенческих беспорядках его вытурили из Петербургского технологического института, приехал в Варшаву, встал во главе первых наших социалистов. Чтобы лучше узнать рабочих, понять их, Варыньский поступил на фабрику простым подмастерьем... Он и написал программу «Пролетариата», которую утвердил первый

съезд нашей партии в Вильно в январе восемьдесят третьего года.

— А где сейчас Варыньский? — нетерпеливо перебила Роза.

— Он арестован. В сентябре того же восемьдесят третьего года. Сейчас в Десятом павильоне, дожидается суда... Многие его товарищи, спасаясь от царской полиции, еще раньше эмигрировали в Швейцарию, и теперь там создан революционный центр, издается социалистический журнал «Рувнощь».

— И его можно прочитать здесь? — спросила она.

— Конечно! Только ты сама понимаешь, что́ может быть, если с этими изданиями попасть к ним в лапы.

— Я ничего не боюсь!

— Э, Роза, так не годится.— Юлиан стал серьезным.— На рожон мы лезть не будем. Ты прочитаешь этот журнал. И еще... Здесь, в Варшаве, мы издаем, подпольно, конечно, свою газету «Пролетариат». Ты ее тоже получишь. Ты мне нравишься, я почувствовал в тебе нашего человека. И рекомендация Брониславы много значит. Но мы, Роза, должны быть предельно осторожны.

— Сколько вам... сколько тебе лет, Юлиан?

— Восемнадцать. А тебе?

Роза опустила глаза:

— Пятнадцатый...

— Прекрасно! Все впереди. Тебе, Роза, столько предстоит! Надо многое прочитать, понять. Кстати, ты знаешь немецкий?

— Читаю свободно, говорю плохо.

— Великолепно! Понимаешь, основная литература к нам приходит из-за кордона на немецком языке. Ты читала «Коммунистический манифест»?

— Да откуда?..

— Ты прочитаешь! Очень важно понять в самом начале революционной деятельности...

Сердце учащенно забилось. Это ей надо что-то понять в начале революционной деятельности... Немного кружится голова.

— ...что в мире есть единственный революционный класс: пролетариат. У него общие, интернациональные интересы. Надо бороться вместе, рука об руку. Немецкий рабочий, русский рабочий, польский... Разве их неодинаково угнетают капиталисты? Понимаешь...

Юлиан не успевает договорить — к столику быстро идет Бронислава.

— Там какие-то новости,— говорит она.

В переулке, напротив кафе, волнение среди студентов и гимназистов, слышен гул голосов.

Они выбегают из кафе.

На высоком крыльце стоит парень в рабочей блузе, кричит радостно:

— Мы прошли к дворцу! Генерал-губернатору вручены все требования! Он сам вышел к нашей делегации!

— Ура-а! — срывается чей-то голос.

— Вот что,— быстро говорит Мархлевский.— Сейчас я должен идти. Роза, давай встретимся дня через три-четыре. Наверно, мне надо будет отлучиться из Варшавы.

— Где мы встретимся? — спрашивает она.

— Так... Дай сообразить. На улице Пивной есть кафе Кучиньского. Знаешь?

— Найду!

— Значит, седьмого марта в четыре часа в кафе Кучиньского.— Он засмеялся.— Решим, как жить дальше. Ну, пока!..

— Какой парень! — прошептала Роза, когда Юлиан Мархлевский скрылся за углом.

Бронислава Гутман внимательно смотрела на нее:

— Я в тебе не ошиблась, Роза.

Она летела домой на крыльях. Все оркестры мира бушевали в Розиной душе: «Я встретила их!»

...В ее комнате сидела заплаканная Ванда.

— Ты что это? — изумилась Роза, разглядывая подругу.

— Я думала, тебя убили! — Ванда бросилась на шею Розе.— Ведь я тут сижу уже третий час, а тебя все нет, нет...— И она разрыдалась, окропив слезами щеку Розы.

Какая ты славная, Ванда, милая. Ты, наверно, будешь такой же хорошей модисткой, как твоя мать, рано выйдешь замуж и родишь кучу детей.

— Ты цела, цела...— твердила Ванда.

— Все в порядке, Вандочка.

Ванда уже улыбается ей сквозь слезы.

— Ты успокоила родителей?

— Конечно! Сказала, что тебе пришлось ехать за одной книжкой по географии в публичную библиотеку.

— Вот и умница.

— Розочка, есть хочется ужас как.

— И я голодная. Сейчас скажу маме.

На кухне они уплетают рейнское жаркое, пьют крепкий чай с домашним пирогом, обсыпанным маком, заговорщически подмигивают друг другу, и особенно Ванде нравится чувствовать себя конспиратором.

Потом они рассматривают Розину фотографию. Нежный овал лица, внимательный, пытливый взгляд темных глаз, высокий лоб, упрямо сжатые губы, густые волосы зачесаны назад, и угадывается толстая коса на спине; строгое гимназическое платье застегнуто на все пуговицы, шея закрыта, и, может быть, поэтому что-то аскетическое во всем облике; подтянутость, строгость.

— Роза! — Ванда хлопает в ладоши.— Ты мне обещала подарить одну фотографию.

— Раз обещала...

Роза садится к столу, берет ручку, опускает перо в чернила. И быстро пишет на обороте фотографии: «Моим идеалом является такой социальный строй, при котором можно было бы с чистой совестью любить всех...» Она думает некоторое время и пишет дальше: «Стремясь к нему и во имя его, может, я могу ненавидеть...»

А в сознании ее повторяется и повторяется фраза: «Седьмого марта в четыре часа в кафе Кучипьского...»

...Она вошла в это кафе ровно в четыре часа, сразу увидела Юлиана Мархлевского, сидевшего за столом в дальнем темном углу, и сразу почувствовала: что-то случилось.

Юлиан показал ей глазами на стул рядом с собой, крикнул:

— Официант! Кофе и пирожков, пожалуйста!

Роза села к столу, и Мархлевский заговорил тихо:

— Пей кофе, ешь пирожки, улыбайся. И никаких эмоций, Роза. У нас минут десять — пятнадцать. В нашу первую встречу я не успел тебе сказать... «Пролетариат» подвергается постоянным репрессиям правительства. Пей, пей кофе. Не смотри на меня так. Последние два года — непрерывные аресты. В тюрьме Куницкий и Бардовский. Впрочем, ты не знаешь этих людей. Аресты продолжаются и сейчас. Разгромлена наша подпольная типография. Кто-то навел жандармов на все наши явки.— Юлиан тихо говорил, смотрел на Розу и улыбался. И это было страшно.— Когда они брали типографию, в перестрелке были убиты двое: агент охранки и наш наборщик.

— Да как же так? — прошептала Роза.— Почему это произошло? Такой разгром...

— Почему? — повторил Мархлевский все с той же улыбкой.— В организации есть группа...— Он вдруг горько усмехнулся.— Лучше сказать — была. Эти люди продолжают тактику «Народной воли». Индивидуальный террор. Ими было убито несколько шпионов.

— А как же поступать со шпионами? — жестко спросила Роза.

— Думаешь, у меня на все вопросы есть ответы? — Теперь Юлиан прямо, Розе показалось, неприязненно смотрел на нее.— Шпионы... Ладно! Но они организовали покушение на жандармского полковника. Покушение не удалось. И ведь это не в первый раз!

— Что же делать? — прошептала она.

— Что делать? — И опять улыбка.— Мы продолжим борьбу! Только надо менять тактику. Вот что, Роза. Видишь, возле меня стоит портфель. Там кое-какая литература для тебя, пачка последнего номера нашей газеты, которую удалось вынести из типографии. И три адреса. Они подколоты к «Манифесту»...

— Тут есть «Манифест»?

— Тише, Роза. Прочитаешь и через недельку разнесешь литературу по адресам. Все люди проверенные, но все равно, будь осторожна.

— А вам... тебе, Юлиан, ничего не угрожает?

— Думаю, нет. Полиции моя персона еще неизвестна. Теперь вот что, Роза. Сейчас разгромлены или распущены многие кружки, которые так или иначе были связаны с «Пролетариатом». Но кое-какие функционируют, полулегальные.— Мархлевский задумался.— Кружки самообразования. На них полиция пока смотрит сквозь пальцы. Есть такой кружок при нашей гимназии. Ты его вполне можешь посещать.

— Спасибо!

— И обещаю: соответствующей литературой ты будешь обеспечена. Для начала вполне достаточно. Думаю, мы там встретимся. А приведет тебя в кружок Бронислава. Она все знает.

— Спасибо, Юлиан!

— Да что ты заладила: «Спасибо, спасибо!» Я тебя не на бал приглашаю, Роза. А сейчас — иди...

Она взяла портфель, стоявший у ног Мархлевского, и молча вышла из кафе.

...Дома Роза заперлась в своей комнате, открыла портфель. Среди стопок газет «Пролетариат», перевязанных бечевкой, лежало несколько тонких книжек без названий на обложках. Она взяла одну из них — мелкий, плотный шрифт, немецкий язык.

Роза прочитала первую фразу: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма...»

Вот так все начиналось. И через неделю она разнесла газеты и книги, которые прочитала от строки до строки, по трем адресам. У нее появились новые знакомые.

...Первый раз на занятие кружка при мужской реальной гимназии в конце марта ее привела Бронислава Гутман.

Сначала они оказались на людной и шумной Иерусалимской, прошли через проходной двор, потом какими-то закоулками и попали на крыльцо двухэтажного особняка в стиле ампир, довольно неухоженного, с обрушившейся штукатуркой. Бронислава дважды коротко позвонила; скоро послышались тяжелые шаги, им открыл дверь рослый молодой человек, с круглым славянским лицом. Студенческий китель был ему тесен.

— А, Броня! — обрадованно сказал он.— А ты — Роза. Верно? Ждем, ждем! И, как говорится, разрешите представиться: Николай Архангельский.

Рукопожатие было крепким и сильным.

Пока они шли по темному коридору, Бронислава успела шепнуть Розе:

— Николай — руководитель нашего кружка.

Он, кажется, услышал и, не оборачиваясь, сказал:

— Я знаю, Роза, твоего брата Юзефа. Ведь я тоже медик. Я поступил на первый курс, а он как раз защищал диплом. Я был на защите. Твой брат — блестящий невропатолог, но что касается его политических взглядов...

В общем, Роза, Юзеф не должен знать о существовании нашего кружка.

— Да, конечно...— пролепетала она.

Они уже входили в просторную гостиную — им навстречу пахнуло табаком, и в тишине страстно звучал женский голос.

— Вы немного опоздали,— шепотом сказал Николай Архангельский.— Мария Богушевич читает курс польской истории. Роза, ты включайся сразу. Потом я тебе дам несколько книг, Мархлевский оставил для тебя.

На старом протертом диване потеснилось трое молодых людей, Роза и Бронислава кое-как втиснулись. Роза незаметно осматривалась по сторонам. В гостиной было человек двадцать, по виду больше студентов, несколько девушек. Многие курили, под потолком стлался табачный дым; мебель в гостиной была старинная и тоже неухоженная; широкие окна закрывали плотные портьеры.

У длинного стола, сбоку, стояла молодая женщина, высокая, с гладкой прической, в строгом коричневом платье, что-то фанатическое увиделось Розе в ее лице.

— Роль Костюшки в этом могучем крестьянском движении еще не изучена в полной мере,— говорила Мария Богушевич.— Буржуазные историки всячески замалчивают одну примечательную грань в деятельности этой безусловно выдающейся личности в польской истории...

Роза не стала членом кружка, которым руководил Архангельский, но приходила на его занятия, как и многие другие, часто.

Вначале был хаос, целая лавина впечатлений. Скоро Роза поняла, что у кружка нет определенной программы. Появлялись случайные лекторы и докладчики; иногда шепотом говорили, что сегодня лекцию о революционном движении в России прочитает член организации «Пролетариат», оставшийся на свободе. И действительно, бородатый человек, с глазами, воспаленными бессонницей, рас-

сказывал о «Народной воле», о том, что она не сложила оружия — ждите! И в гостиной раздавались короткие аплодисменты. Вдруг появился человек, которого представили как эмиссара Цюрихского центра, он начинал читать курс лекций, посвященных научному социализму, но на самой середине чтение лекций обрывалось, Николай Архангельский буднично говорил: «Такой-то арестован, сейчас в Десятом павильоне. Сегодня займемся польской литературой». Читали патриотические стихи Мицкевича, спорили. Польская история, польская литература. И опять споры... У Розы кружилась голова. И вдруг объявлялась лекция о последних достижениях естествознания и техники — эти проблемы всех остро интересовали.

И книги, книги... Запрещенные книги. Роза набросилась на них с присущей ей жадностью. (Еще с первого занятия она ушла с тощей брошюркой Шимона Дикштейна «Кто чем живет?», изданной в Германии, и впервые из нее познала азы Марксова «Капитала».) Книги по истории, философии; естествознание, техника, произведения запрещенных польских авторов, в списках ходивших по рукам, один из основоположников философии позитивизма Герберт Спенсер, вульгарные материалисты Людвиг Бюхнер, Якоб Молешотт. Утопический социализм — Фурье, Оуэн, Сен-Симон... В голове был хаос, однако жадность познать, разобраться усиливалась, обострялась, и бессонные ночи, закрывшись в своей комнате, она проводила над книгами.

— Молодец, Роза,— говорил ей Юлиан Мархлевский.— Из тебя выйдет толк. Насыщайся, и в этой груде знаний ты обязательно найдешь золотое зерно истины.

Она насыщалась... Более трех месяцев непрерывного, напряженного чтения. Более трех месяцев — лекции, доклады, яростные споры.

Она насыщалась, и, однажды возникнув, неудовлет-

ворение начало копиться в ней: надо не только читать и спорить, но — действовать! А если действовать, нужна четкая программа. Ее нет...

— Юлиан, ты говорил мне, что связан с кружком, в который ходят рабочие...

— Погоди, Роза,— перебивал он.— Не торопись. Ты же видишь, какое время: вылавливают всех, кто был связан с «Пролетариатом». Готовится судебный процесс над Варыньским и его товарищами. А кружок, о котором ты говоришь... Он только создается. Потерпи. Мы должны научиться ждать и терпеть.

— Хорошо, Юлиан. Я потерплю...

...Разве может она все это рассказать отцу?

— Смотри, Роза, окраины Варшавы. Мы подъезжаем.

— Давай собираться, папа.

За окном вагона — зеленые улицы Варшавского предместья, маленькие домики в садах; потянулся длинный каменный забор, и за ним — заводские корпуса, шлейф дыма над высокой кирпичной трубой.

— Завод «Лильпоп, Рау и Левенштейн»,— говорит Эдвард Люксембург.— Металлообработка. Вот мы и дома.

В актовом зале Второй женской гимназии отслужили молебен по поводу начала нового учебного года, только что удалился священник, и гимназистки собирались уже расходиться по классам, когда в зал вошли директриса Грановская, дама высокая, стройная, всегда затянутая в корсет, с прической по последней парижской моде, и двое пожилых мужчин сановного, неприступного вида, в строгих черных костюмах.

— Важное правительственное сообщение,— шепнула Роза Ванде Каспашко, и ирония была в ее голосе.

— Тише, Розочка!..— еле выдохнула Ванда.— Селедка смотрит сюда.

Действительно, в их сторону смотрела классная дама, Анна Петровна Ватагина,— очки на длинном носу, подтянутость, тяжелый взгляд. Анну Петровну гимназистки боялись и не любили за основное ее качество: фискальство; подслушивать, доносить, выискивать в среде гимназисток осведомительниц было ее главным занятием.

В зале стало тихо.

Грановская и двое мужчин, пожаловавшие с ней, стояли под большим портретом Александра Третьего.

— Девочки! — сказала Грановская; голос у нее был приятный, поставленный, неторопливый.— Воспитанницы нашей гимназии! Оглашаю вам распоряжение его высокопревосходительства генерал-губернатора Привислянского края.— Директриса сделала внушительную паузу.— С этого учебного года во всех высших учебных заведениях, гимназиях и школах Королевства Польского все предметы будут преподаваться на русском языке.

Ропот прокатился по залу.

— Польский язык и польская литература,— звонко спросила Роза, и голос ее дрожал,— тоже будут преподаваться на русском?

Мгновенная напряженная тишина обрушилась на зал: это была неслыханная дерзость — задать такой вопрос...

Грановская, растерявшись, смотрела на Розу. Потом спокойно сказала, не повышая голоса:

— Да, именно так: и польский язык, и польская литература будут преподаваться по-русски.

— Кто эта... э-э-э... воспитанница? — спросил у директрисы господин постарше, с глубокими залысинами, и сожаление звучало в его голосе.

— Роза Люксембург,— ответила госпожа Грановская.— Лучшая ученица нашей гимназии, претендентка на золотую медаль.

— Печально,— сказал господин в черном костюме.—

Весьма печально. Я постараюсь объяснить и Розалии Люксембург и другим, чем продиктовано это постановление властей.— Он откашлялся.— Прежде всего благом Польши и каждой из вас...

«Спокойно, спокойно,— приказала себе Роза.— Что это я в самом деле?»

Она не стала слушать господина Саховского, который оказался новым попечителем их гимназии, и, успокоившись, подавив в себе взрыв негодования, думала сейчас о своей гимназии...

Предпоследний класс... Что останется в памяти от гимназических лет? Чопорное здание грязно-кирпичного цвета, широкая лестница с металлическими ступенями, до блеска обтертыми по краям; гулкий актовый зал — вот этот,— осязаемо пропитанный духом казенщины. А педагоги? Есть ли среди них хоть один, которого она запомнит на всю жизнь? Нет, пожалуй. Все они ординарные. Ни одного выдающегося. Впрочем, возможно, дело не в этом... Как правильно определить? Учителя тоже поставлены в определенные официальные рамки, переступить которые они не могут, все они чего-то боятся, и эта боязнь рождает в гимназии атмосферу неискренности и фальши: ортодоксальность, строгость, разного рода запретные темы... И таким путем в них хотят воспитать патриотов Российской империи? Две жизни — одна в гимназии и другая, подлинная, за ее стенами. Конечно, гимназия давала и дает ей сумму определенных знаний. Но еще больше получает она их из внепрограммных книг. Работа над ними составляет главную суть в ее образовании. В последний год к гимназическому официальному курсу прибавились книги, пришедшие из кружка Николая Архангельского. Вот уж поистине всепоглощающее чтение. Свободное слово, не скованное официальным мировоззрением и директивами свыше. Недавно она прочитала анкету Маркса: «Ваше любимое занятие? — Рыться в кни-

гах». Ах, как она понимает Маркса! Рыться в книгах... Наверно, она рождена для этого...

— ...И мы уверены,— наполнял вялую тишину, в которую прорывались шепоток и покашливание, голос попечителя Второй женской гимназии,— что вы с должным пониманием отнесетесь к мудрому постановлению, которое преследует лишь одну цель — благо всех подданных его императорского величества!

Аплодисментов не последовало.

— А теперь,— сказала госпожа Грановская,— все отправляемся по классам. Еще раз поздравляю вас с началом учебного года!

На лестнице Розу догнал голос классной дамы:

— Пани Люксембург! Ведь так приятнее всего для вашего уха: пани?.. Так вот, пани Люксембург, после занятий пожалуйте в кабинет к госпоже Грановской...

...Дома ее ждала записка: «Сегодня у Н. в шесть вечера. Б. Г.».

От Брониславы! В шесть у Николая Архангельского.

Особняк в стиле ампир пришел в еще большую ветхость. Всех, кто приходил, Николай встречал во дворе: в Варшаве продолжались аресты уцелевших «пролетариатцев», охранка внедряла своих агентов во все молодежные кружки, которые ей удавалось обнаружить. Поэтому Николаем Архангельским были приняты некоторые меры предосторожности.

— Роза! — обрадовался он, крепко, но осторожно пожимая ее маленькую руку.— Тут уже наслышаны о твоем вопросе и вызове к директрисе гимназии. Напрасно ты так... Зачем зря рисковать? Ну, что?

— А! — отмахнулась она.— Ерунда. Нудная нотация. Если рискую, то одним: не получить золотую медаль. Я ее получу, Коля, будь спокоен. А здесь как?

— Иди! Сама увидишь. Дым коромыслом.

Гостиная с задернутыми портьерами была переполнена. Роза очень обрадовалась, увидев Юлиана Мархлевского и Брониславу Гутман. Они сидели рядом на подоконнике, замахали ей руками: «Иди к нам». Роза втиснулась между ними и сразу почувствовала напряженную нервную атмосферу, заполнившую гостиную.

Все головы были повернуты в сторону молодого человека с продолговатым бледным лицом, в кителе студента политехнического института — он говорил страстно, захлебываясь словами, жестикулируя.

— ...Сегодня мы уже можем подвести определенные итоги русификаторской политики царя. Фактически на сегодняшний день проведена полная унификация системы управления Польши с общероссийской государственно-правовой структурой. Русский язык повсеместно введен в делопроизводство, включая частные учреждения. Судопроизводство — на русском языке. Официальная переписка — на русском языке. Приказано: вывески на магазинах, различные объявления, публично вывешенные, переводить на русский язык.

Стало тихо, невыносимо тихо...

— Сегодня мы можем подвести еще один итог... Позвольте вам напомнить. В 1879 году пост попечителя Варшавского учебного округа занял Апухтин. Сейчас мы можем сказать: в нашей культуре с появлением этого человека наступила «апухтинская ночь». Надо отдать должное целенаправленной воле царского сатрапа. Его бурная, волевая деятельность началась со знаменательного заявления... Не забудем его. «В следующем поколении,— сказал Апухтин, получив свой пост,— польская мать над колыбелью своего сына будет петь русские песни». И вот последний «подарок» господ Апухтина и Гурко: мы начинаем новый учебный год в институтах, гимназиях и начальных сельских школах — вдумайтесь в этот факт: с

первого класса! — на русском языке по всем предметам, включая польскую литературу и польский язык.

— Надо действовать! — кричит Роза.

— Как?

— Что делать?

— Саботировать занятия! Выйти на улицы!

— Правильно! Да здравствует демонстрация студентов и гимназистов!

— И с какими лозунгами мы выйдем?

— Преподавание — на польском языке!

— Самоопределение Польши!

— Верно! Да здравствует независимая польская республика!

— И вы хотите все эти требования осуществить самостоятельно? Без помощи пролетариата?

Все невольно повернулись на сильный, резкий голос.

У задернутого портьерой окна стоял высокий молодой человек. Большой лоб, аккуратные тонкие усики, пухлые губы; взгляд серых глаз был спокоен и насмешлив.

— Кто это? — шепотом спросила Роза у Юлиана.

— Адольф Варский,— сказал Мархлевский.— Я вас после познакомлю.

Теперь к столу подошел Варский. Все смотрели на него. Стало так тихо, что слышно было, как за окнами посвистывает ветер.

— Выйти на улицы с чисто национальными лозунгами,— спокойно, жестко говорил Варский,— это значит сразу же проиграть...

— Почему? — перебил его взвинченный девичий голос.

— Потому что нас мало,— продолжал все так же спокойно Адольф Варский.— Власти легко подавят демонстрацию. Начнутся аресты. А на них генерал-губернатор пойдет, можете не сомневаться. Сейчас, когда вот-вот начнется процесс над «пролетариатцами»...

— Какое нам дело до «Пролетариата»? — опять перебили Варского.— У него свои задачи!

— К тому же «Пролетариат» разгромлен!

— И судить будут террористов. А мы — против террора!

— Я тоже против террора! — повысил голос Варский.— Но я за союз с рабочими. И не только с польскими, но и с русскими. Лишь совместная борьба...

Договорить ему не дали:

— Нам не по пути с русскими!

— Зато польским рабочим по пути с русскими пролетариями! — крикнул Юлиан Мархлевский.

Роза была в растерянности. Кто прав? Студенты, призывающие на демонстрацию под польскими национальными лозунгами? Варский, зовущий на союз с рабочими?.. Да еще с рабочими не только польскими, но и русскими. Студенты правы. Но и Варский прав... Где же истина?

— Тише! Тише! Панство, успокойтесь! — Николай Архангельский стоял на стуле.— Да успокойтесь же! У меня есть сообщение! — Постепенно стало тихо.— Я пригласил выступить у нас завтра Марию Богушевич. Она после ареста Людвика Варыньского...— Николай заколебался, но все-таки сказал: — ...возглавила те силы, которые остались в «Пролетариате». Мария хочет сделать нам конкретные предложения — для совместной борьбы. Поэтому я предлагаю: демонстрацию отменим до встречи с Богушевич...

— Когда она завтра будет? — перебил Архангельского студент, который выступал в самом начале; Роза заметила: лицо его было влажно от пота.

— Завтра в это же время, в шесть часов! — прокричал Николай, преодолевая шум, который снова поднялся в гостиной.

...Возвращались по многолюдной Иерусалимской втро-

ем: Роза, Мархлевский и Адольф Варский. На углу Маршалковской Адольф остановился:

— Здесь я должен с вами проститься. Надо зайти в один дом.— Он протянул Розе руку.— Рад был познакомиться с тобой. Думаю, Роза, тебе нужно несколько другое общество, и мы об этом подумаем. Я на неделю примерно уезжаю в Вильно. Вернусь, и мы обязательно встретимся. Пока, Юлиан!

Варский затерялся в толпе.

— Есть в Адольфе качество,— сказал Мархлевский,— которое просто необходимо революционеру: железная воля, умение идти к цели, несмотря на любые преграды.— Он взял Розу под руку.— Я провожу тебя до остановки конки. Не забывай: завтра у Архангельского в шесть.

— Да как я могу забыть!

6

...Она уже собиралась выходить из дому, когда в окно увидела Мархлевского, который стоял под аркой ворот, ведущих в их двор.

«Что-то случилось!..» — Она почувствовала учащенные удары сердца, но взяла себя в руки и спокойно прошла по коридору. В передней улыбнулась Лине:

— Я в библиотеку, мама.

Юлиан заспешил ей навстречу. Лицо его было бледно.

— Какое счастье, Роза, что я тебя застал... Где тут можно посидеть, подальше от глаз?

— Через квартал — маленький скверик.

— Идем!

Сентябрьский день был прохладен, дождевое серое небо висело над городом. В сквере ни души, дорожки засыпаны желтыми листьями. Они сели на скамейку под старым, могучим платаном.

— Арестованы Богушевич и все остальные члены ее

группы,— тихо, казалось, спокойно сказал Юлиан.— То есть «Пролетариат» окончательно разгромлен.

— Когда...— голос Розы противно дрожал,— когда их арестовали?

— Сегодня рано утром. Мария собрала всех у себя. И Николая Архангельского арестовали там же.

— Как? Почему?!

— Он не только возглавлял свой студенческий кружок. Коля был членом группы Марии Богушевич. Через него мы и держали связь с «Пролетариатом»... Надо же случиться такому несчастью!

— Значит, вчера у него был агент полиции.— Голос Розы зазвенел.— И выдал...

— Скорее всего так.

— И что же теперь мы будем делать? — Роза вскочила.

— Успокойся, пожалуйста,— тихо сказал Юлиан.— Сядь. Мы будем делать свое дело. Вот тебе адрес. Послезавтра в пять. Это тоже наш кружок. Его возглавляет Казимеж Щепаньский. Он уже знает о тебе.

— А ты, Юлиан? — спросила Роза.

— Я вынужден уехать на несколько дней во Влоцлавек, на родину. Семейные дела.

— Значит, я тут останусь одна?

— Почему одна? В Варшаве Бронислава. И я же сказал тебе: в кружке Щепаньского тебя ждут. Кстати, в нем занимаются не только студенты, но и рабочие. Все, Роза. Я пойду один. Вообще, пора нам учиться осторожности.

Мархлевский нежно потрепал Розу по щеке, ободряюще улыбнулся ей и ушел.

Роза сидела на скамейке. К ее ногам спланировал желтый, тронутый багрянцем лист.

Она развернула записку, прочитала: «Вольская застава, ул. Хлебная, 7, спросить Марию».

...Мария, молодая полная женщина с грудным ребенком на руках, встретила Розу в дверях и, пропустив вперед, сказала не очень дружелюбно:

— По коридору, вторая дверь направо.

В небольшой комнате с окнами во внутренний двор и сад Роза сразу почувствовала совершенно другой настрой, непохожий на бурную и нервную атмосферу особняка, где собирался кружок Николая Архангельского. Было здесь человек десять. По одежде четверо или пятеро — рабочие. Розу встретил коренастый смуглый человек в аккуратном сером костюме, галстук был завязан модным крупным узлом. Был похож молодой человек на государственного служащего, на чиновника какого-нибудь важного ведомства.

— Казимеж Щепаньский,— представился он.— А это — Роза Люксембург.— Остальные молча поклонились ей.— Вы пунктуальны, Роза. Итак, начнем. С сегодняшнего дня у нас небольшой курс «Промышленное развитие Польши за последнее десятилетие и положение пролетариата». Этот курс, Роза,— он повернулся к ней,— читаю я.

...На столе стоял горячий самовар, чашки. Каждый подходил и сам наливал себе чай. Все спокойно, без эмоциональных взрывов и экзальтации.

— Мы начнем наш экономический анализ с 1864 года, когда в Польше было отменено крепостное право,— негромко, без ораторского пафоса говорил Щепаньский.— Эта дата может рассматриваться как четкий рубеж в промышленном развитии Королевства Польского. Наступило время благоприятной экономической конъюнктуры. Во-первых, в города хлынула огромная армия крестьян, хотя и получивших свободу, но лишенных земли; дешевая рабочая сила налицо. Во-вторых, в это же время отменяется таможенная граница между Польшей и Россией, что создает для молодой промышленности гигантский рынок сбыта...

Казимеж Щепаньский неторопливо прохаживался по комнате.

Роза следила за ним. Она внимательно слушала и в то же время думала... Вот чего не хватает ей: системы, знания ее не подчинены системе, и, наверно, поэтому она не знает... еще не знает, что надо делать для лучшей жизни страны и народа.

— ...Констатируем факт: за минувшее десятилетие в Польше возник многотысячный класс пролетариев.— Казимеж изменился: на щеках выступил румянец, речь убыстрилась, в голосе теперь чувствовалось волнение.— И положение этого класса невыносимо. Где самая низкая заработная плата на промышленных предприятиях в Европе? В Польше! Где рабочий день продолжается от одиннадцати до шестнадцати часов? На заводах и фабриках Королевства Польского! А в каких условиях живут и работают пролетарии? Никакой охраны труда, произвол администрации, рабочие семьи ютятся в бараках... Загляните в них — скученность, антисанитария. И неизбежные спутники такой жизни — пьянство, неграмотность, невежество... Рабочий класс не может жить в таких условиях, он должен бороться. Но... «Пролетариат» разгромлен, его создатели и руководители — за решеткой, готовится судебный процесс, и в правительственных газетах уже раздаются призывы к самой жестокой расправе над нашими товарищами. И все это произошло потому...

Теперь Казимеж Щепаньский стоял перед коренастым парнем в студенческом кителе, который был накинут на рабочую блузу; лицо у парня было волевое: впалые скулы, жестко сжатые губы, сухой, воспаленный блеск карих глаз.

— Да, да, Станислав! Все это произошло потому, что в свою тактику мы включили террористические акты. И вот результат: на наш террор правительство, вполне

логично, ответило своим террором — многих арестовали, и на процессе можно ожидать смертных приговоров...

— Террор — единственно верная тактика! — Тот, кого Щепаньский назвал Станиславом, вскочил, оказавшись человеком ниже среднего роста; при широких плечах и выпуклой груди он выглядел очень сильным.— Пока у нас нет более действенного метода борьбы.— Голос у него был глуховатый, с истерическими нотками.— Тактику террора нам завещала «Народная воля». Народовольцы, как и наш «Пролетариат», проиграли только потому, что не были последовательными, остановились на полпути. Демонстрации, лозунги, профсоюзы... Все это тоже полумеры, пустая трата времени и сил.— Он ходил по комнате быстрыми широкими шагами.— Несколько сокрушающих террористических актов! По самым верхам: генерал-губернатор, глава тайной полиции, начальник Варшавского гарнизона... Перед Польшей открылись бы два пути... Первый — захват власти «Пролетариатом». Второй... Новый генерал-губернатор и иже с ним согласились бы на все кардинальные реформы, которые бы мы им продиктовали. Перед лицом возможной смерти, Казимеж, дрожат все... Мы же пошли по пагубному пути. Убийства шпионов и мелких полицейских чинов...

— А также рядовых полицейских и солдат,— перебил Щепаньский.

— Борьба есть борьба! — страстно воскликнул Станислав.— Жертвы неминуемы. Вспомни неудачное покушение народовольцев в Зимнем дворце на Александра Второго!

Роза решилась:

— Может быть... Станислав прав? — Она окончательно справилась с волнением и робостью.— На днях арестовали Марию Богушевич и всех членов ее кружка... Колю Архангельского арестовали... Их наверняка выдал предатель, шпион. Как же с ними бороться?..

— Вы поддерживаете меня, пани Люксембург? Спасибо! — Он стоял перед ней, весь — порыв и страстность.— Рад вам служить: Бжезовский! Станислав Бжезовский.— Рука его была немного влажной.

— Розе еще предстоит разобраться в этой проблеме,— спокойно сказал Щепаньский.— И на сегодня, я думаю, хватит. Роза, я тебе дам кое-что почитать по нашей теме. Следующее занятие в субботу.

Теперь Роза регулярно посещала кружок, которым руководил Казимеж Щепаньский. Они стали друзьями.

— Роза,— внушал ей Казимеж,— вначале тебе необходимо разобраться в двух вопросах. Первый из них — тактика террора. Пока поверь мне на слово: эта тактика порочна и обречена. Пойми, «Народная воля» поэтому и погибла. На место казненного народовольцами царя пришел новый. Так же как всякого убитого высокопоставленного чина заменит новый человек. И, по законам логики, он будет действовать еще более жестоко. Кроме того, народ, общественное мнение никогда не поддержат террористические акты. Нормальное человеческое сознание не может принять убийств. Ты согласна со мной?

— Я думаю....— говорила она, упрямо сдвинув брови.— Я ненавижу всякие убийства! Но вот шпионы, доносчики... Что делать с ними? И Станислав...

— Станислав Бжезовский — прекрасный человек, мужественный, бесстрашный, готовый принять смерть за друзей и свои идеи, истинный патриот Польши. Но... Он и его друзья из «группы террора» ошибаются! Неужели тебя не убеждает в этом трагедия нашего «Пролетариата»?

— В каком втором вопросе я должна разобраться? — перебила Роза.

И Казимеж Щепаньский чувствовал: она не согласна с ним...

— Второй вопрос — это необходимость союза польских рабочих с рабочими России, Германии, Австрии,— убеждал он.— У рабочих всех национальностей один общий враг — капиталисты. И потом не забывай, Роза: во всех польских землях развивается своя, национальная буржуазия, так сказать, наши «родные» капиталисты.

— Я понимаю это!

— И прекрасно. Есть, Роза, для тебя конкретное задание. Скоро начинается процесс над Людвиком Варыньским и его товарищами. Мы попытаемся организовать демонстрации в поддержку арестованных. Очень важно вырвать из-под влияния националистов ту молодежь, которая попала к ним случайно. Ты понимаешь, дорог каждый человек.

— Что я должна делать? — спросила она.

— На Кофяковой улице, недалеко от Военного географического института, собирается кружок некоего пана Коханьского, молодого преподавателя университета. Программа у них — в чисто националистическом духе. А приходит туда много студенческой молодежи, есть хорошие ребята, только головы им задурили пан Коханьский и его коллеги. Вот и надо бы, Роза...— Щепаньский внимательно, выжидающе смотрел на нее,— ...выступить там, прочистить юные мозги.

— Когда?

— Очередное занятие у них в четверг.

— Ах, в четверг...

— Тебе неудобен этот день?

— Ничего, Казимеж, это моя забота. А как я попаду к пану Коханьскому?

— Тебя приведет туда наш человек.

— Договорились!

7

Первые дни октября были теплые, влажные; сквозь туманную пелену светило еще жаркое солнце. Шорох падающих листьев заполнил тихие улицы.

В четверг за обеденным столом встретились трое: старый Эдвард Люксембург, Лина и Роза. Юзеф еще утром сказал, что весь день будет в клинике — много работы.

Ели в молчании.

Лина, сильно постаревшая за последнее время, с глубокими морщинами на лице и совсем седой головой, разливала по тарелкам куриный бульон.

Часы, не торопясь, пробили три раза.

— У тебя, Роза, занятия с паном Куневичем в четыре? — спросил Эдвард.

Роза отодвинула свою тарелку, и движение это получилось резким. Мать с плохо скрытым испугом смотрела на нее.

— Хорошо, что ты сам заговорил об этом, папа! — Роза посмотрела на отца и, подавив жалость, продолжала: — Я не дождусь пана Куневича...

— То есть как не дождешься? — перебил Эдвард Люксембург.

— Я больше не буду заниматься музыкой.

— Почему? — он старался говорить спокойно.

— Сейчас, папа, не время для мазурок и полонезов,— сказала она.— И вообще... Пусть бренчат на роялях детки всяких буржуа. Ты, я же знаю, из кожи лезешь, чтобы платить пану Куневичу. Он великолепный преподаватель, не спорю. Только дело не в нем. Короче говоря, мое решение бесповоротно — музыкой я заниматься пока не буду.

— Но, Розочка,— подала голос Лина, и слезы уже наполнили ее глаза.— Пан Куневич говорит, что у тебя такие блестящие успехи.

— Ах, мама! Только не плачь, пожалуйста, умоляю тебя. Поймите, нет у меня времени для музыки.— Она взглянула на часы. Четверть четвертого. «Он уже пять минут ждет за углом».— Перед паном Куневичем извинитесь.

Роза встала из-за стола, быстро пошла к двери.

Вдруг замерла, обернулась, подбежала к столу, поцеловала в щеку Лину, потом — отца.

— Не сердитесь,— тихо сказала она.— Так надо.

— А я сегодня хотела с тобой почитать Шиллера,— сказала Лина.— Помнишь, в октябре мы всегда перечитывали трагедии нашего Шиллера?..

— Хорошо, мама,— уже нетерпеливо сказала Роза.— Мы как-нибудь обязательно почитаем...— она запнулась,— ...этого великого романтика.

И ушла из гостиной.

— Она сказала: «Так надо».— Старый Эдвард набивал табаком трубку, и руки его дрожали.— Значит, так оно и есть: не может иначе. Я знаю свою дочь. Да, Лина, музыка не стала нашей союзницей.

— Господи правый! — Лина плакала.— Сохрани мою дочь!..

...За углом дома Розу ждал молодой человек, очень похожий на ее старшего брата Миколая,— такой же крупный, угловатый, даже манера говорить была сходна. И все это почему-то было ей немного неприятно.

— Поспешим, пани Роза,— сказал он.— Добираться далеко.

До Кофяковой улицы, действительно, путь предстоял немалый; часть дороги проехали на извозчике, потом — в целях конспирации — долго шли пешком. Роза молчала, и ее спутник, очевидно, чувствуя душевное состояние Розы, тоже за всю дорогу не проронил ни слова...

— Пани Роза, мы пришли. Я вас представлю как

Кристину Бойковску, приехавшую из Кракова. Не исключено, что среди гостей Коханьского есть...

— Я понимаю,— перебила она.

...С первого шага в этом доме Роза была поражена: в просторной передней с развесистыми оленьими рогами над дверью у вешалки с пальто тесно стояла молодая парочка, явно далекая по своему настроению от политики.

Длинный коридор, возбужденные голоса впереди, кажется, звон стаканов... Уж не ошиблись ли они адресом?

Дверь открылась, и Роза увидела просторную гостиную, обклеенную ярко-зелеными обоями; широкие окна были распахнуты настежь, глядели на тихую улицу в старых каштанах, и там, среди уже изрядно облетевших ветвей, начинало чуть-чуть лилово смеркаться. Люстра с хрустальными подвесками над столом, заставленным пивными бутылками и стаканами; в двух блюдах горками — подсоленные орешки и моченый горох. Пепельницы полны окурков. И было здесь человек двадцать, а то и больше; молодые возбужденные лица, студенческие и гимназические кители и несколько офицерских мундиров. Молоденькие барышни в туалетах явно из дорогих магазинов Краковского предместья (Роза невольно одернула свое более чем скромное платье); гвалт, смех, движение; здесь не только сидели, но и расхаживали парами и группами по толстому ковру и беседовали.

А к ним уже спешил молодой пан в национальной польской рубашке с расшитым воротом и широких брюках.

— Прошу! Прошу! — заговорил он радостно, обращаясь к Розе, как к давнишней знакомой.

— Пани Кристина Бойковска,— поспешил ее спутник.— Только вчера из Кракова.

— Очень, очень приятно! — Он протянул ей руку.— Разрешите представиться: Ян Коханьский. Можете про-

сто называть меня Янеком. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Может быть, пива?

— Нет, благодарю.

— Как вам будет угодно, пани Кристина. Осваивайтесь. У нас свободная дискуссия.

И пан Янек Коханьский, преподаватель университета, упорхнул в дальний угол гостиной, где о чем-то жарко спорили два студента и удивительно красивая молодая женщина в длинном вечернем платье. К ним устремилось еще несколько человек, и наконец Ян Коханьский сказал:

— Пани Фишер! Вас готовы послушать все. Пожалуйте в центр!

— Просим! Просим! — закричали со всех сторон.

— Кто эта дама? — спросила Роза у своего спутника.

— Бронислава Фишер, урожденная пани Михалковска. Вышла замуж за немецкого фабриканта Теодора Фишера, у него здесь, в Варшаве, фабрика шерстяных тканей. Сейчас Бронислава ратует за независимость Польши, одна из самых пламенных патриоток.

Молодая женщина стояла уже у стола, опершись рукой о его край, и Роза еще раз невольно отметила ее редкостную красоту: тонкий маленький нос, нежный рисунок немного припухлых губ, слегка впалые щеки, под дугами черных бровей карие глаза, светлые длинные волосы на обнаженных плечах.

— Да, да! — заговорила пани Фишер.— Я готова это повторять без конца: путь к свободе Польши, к ее национальной независимости мы найдем только в объединении всех поляков... Но! Я особенно подчеркиваю это: объединение нам необходимо не для бессмысленной и губительной борьбы с властями, не для разрушения и насилия, а для созидания. Только так, уважаемое панство! Созидание! Мы должны уяснить непререкаемую истину...— Сильные руки подняли Брониславу Фишер, и теперь она

стояла на стуле.— Экономический расцвет Польши — это труд всего общества, всего народа. Строить фабрики и заводы, возводить мосты и осушать болота, возделывать землю и сооружать корабли мы сможем только в том единственном случае, когда не будет раздора между рабочим и фабрикантом, между крестьянином и землевладельцем, между студенчеством и профессурой!.. — В гостиной бурно аплодировали.— А именно этот раздор, кровавую вражду стремятся посеять между поляками социалисты!

— Долой!

— Не потерпим! — закричали в разных концах.

— Да здравствует польское единство!

— Я призываю вас...— Бронислава Фишер повысила голос,— к этому единству! Я убеждена...— Она вздохнула поглубже, но докончить фразу не успела.

— Все это розовый бред! — громко прозвучал в гостиной голос Розы Люксембург.

Мгновенно стало тихо, теперь все повернулись в сторону Розы, все смотрели на нее.

Смотрела на Розу и пани Фишер; бледность постепенно заливала ее лицо.

— Эта девочка хочет мне возразить? — тихо спросила урожденная пани Михалковска, легко спрыгнув со стула.

— Да, я хочу возразить.— Роза медленно подошла к столу.

— Разрешите представить, господа! — несколько растерянно сказал Ян Коханьский.— Кристина Бойковска из Кракова.

Теперь они стояли друг против друга — Роза Люксембург и Бронислава Фишер, и только стол, накрытый белой атласной скатертью, разделял их.

— Вся ваша, если так можно выразиться, программа,— спокойно заговорила Роза,— бред по одной-единст-

венной причине: вы хотите соединить несоединимое. Никогда интересы польских рабочих не совпадут с интересами тех, кто их эксплуатирует.— По гостиной прокатился шумок и тут же растаял.— Никогда крестьяне...— Голос ее прервался.— Например, крестьяне из-под Люблина не станут кровными братьями тех польских магнатов, на землях которых они проливают пот за нищенскую плату...— Роза говорила и чувствовала на себе взгляд, который выделялся из всех взглядов своим обжигающим, пристальным вниманием.— Ваше так называемое национальное единство — фикция!

— Правильно! — раздался звонкий одинокий голос, и в нескольких местах гостиной захлопали.

— Но есть другой союз, который уже существует и будет крепнуть с каждым годом...— Крылья вдохновения несли Розу.— Это союз городских рабочих и крестьян в борьбе против общего врага — класса эксплуататоров!

— Она — социалистка! — крикнула Бронислава Фишер. И стало напряженно тихо.— Она — социалистка...

— Да,— сказала Роза,— я социалистка. И только социализм в будущем приведет Польшу к свободе. Но сначала,— теперь ее голос звучал убежденно, напористо,— надо покончить с эксплуатацией рабочих и крестьян.— Со всех сторон зашикали; и опять прозвучали короткие несильные аплодисменты.— Кто-то один из нас прав, не так ли, пани Фишер? — продолжала Роза, не обращая внимания на шум.— Это легко проверить: давайте отправимся на фабрику вашего мужа и спросим там у рабочих, хотят ли они союза с господином Фишером, общие у них интересы или нет? — В разных концах гостиной засмеялись.— Вы прекрасно придумали, ясновельможная пани: всеобщий гармоничный труд якобы на благо всей Польши и благоденствия всего общества... А в результате обогащаться будут фабриканты, землевладельцы, акцио-

неры иностранных компаний... Нет! Мы не согласны на такое благоденствие!

— Кто это — мы? — выкрикнул офицер в расстегнутом мундире.

— Социалистическая агитация!

— Пани Кристина права!

— Долой!

Все повскакивали с мест. Роза видела, как Бронислава Фишер опустилась на стул, ей подали стакан воды, и светская красавица пила мелкими судорожными глотками. На ее лице были обида и недоумение. Похоже, она привыкла царить в этой гостиной и не терпела возражений.

К Розе нагнулся ее провожатый:

— Нам необходимо незаметно уйти. Тут осведомитель полиции.

Они выбрались в переднюю, оделись и, не простившись с озадаченным паном Коханьским, вышли на улицу.

Было уже темно. Накрапывал редкий дождь.

— Откуда вы узнали про осведомителя? — спросила она.

— Я здесь не один из нашей организации. Друзья предупредили: оказывается, у пана Коханьского всегда околачивается кто-то из шпиков, и вроде бы гостеприимный хозяин осведомлен об этом. Вот такие дела, Роза.— В темноте блеснули его глаза. Он быстро оглянулся.— «Хвоста» нет. Понемногу учимся, пани Роза. А говорили вы блестяще! Кое-кто задумается. И я знаю кто.

Роза молчала. Впервые она так сказала о себе: «Я — социалистка!»

— Пройдем еще два квартала и там возьмем извозчика.

— Хорошо,— рассеянно ответила она, улыбаясь в темноте.— Возьмем извозчика.

8

...Декабрьским вечером 1885 года Роза Люксембург в своей комнате засиделась над книгой. Лев Толстой. «Анна Каренина». Где ключ к этому поразительному мастерству? Так проникнуть в тайны женской психологии, в сокровенные глубины души. И — вот поразительно! — не замечаешь, не чувствуешь, какими средствами это достигается. Загадка гения? Анна Каренина, истинно русская женщина. А может ли она, Роза, так полюбить? Способна она на чувство такой испепеляющей силы? Ей пятнадцатый год, но еще не испытала она любви, еще ни один молодой человек не увлек ее так, чтобы показалось — как Анне Карениной,— если он не будет с тобой, значит, нет смысла жить.

В дверь осторожно стукнули, и мать сказала:

— Роза, к тебе пришли.

И в комнату ворвался Станислав Бжезовский, запыхавшийся, в расстегнутом пальто, снег набился в бобровый воротник.

— Что? — спросила она, уже чувствуя неотвратимость страшной беды.

— Приговор...— отдышавшись, сказал Станислав.— Час назад оглашен приговор...

— Что Варыньскому? — прошептала она.

— Шестнадцать лет тюремного заключения, Шлиссельбург. Остальным — разные сроки каторги. А четверых,— Бжезовский сжал виски ладонями и странно зашатался на стуле,— ...моих товарищей — к смертной казни через повешение...

— Кого? — У Розы перехватило дыхание.

— Ты их не знаешь...— По щекам Бжезовского текли слезы.— Станислав Куницкий, он студент... Мировой судья Петр Бардовский и рабочие Михал Оссовский и

Ян Петрусиньский... Роза! Меня прислали наши. О приговоре уже знают и студенты, и рабочие.

— К цитадели?

— Да!..

Через несколько минут они уже бежали по снежной безлюдной улице. Туда, за Вислу, к месту трагедии. Роза сильно прихрамывала, и Станислав поддерживал ее. Огненная сила, как шквал, несла их к Десятому павильону, к политической тюрьме Королевства Польского. Быть ближе к ним, ободрить хотя бы присутствием рядом в этот роковой час.

Опи бегут, Розе не хватает воздуха, снег в лицо, редкие огни...

Скорее! Скорее!..

...Уже у мрачных, темных стен цитадели они видят, что не одиноки в своем порыве: в смутном освещении, сквозь легко летящую пелену снега — толпы людей. Студенты, рабочие, гимназисты.

— Вон наши! —говорит Станислав.

Большая группа людей, быстро идущих к ним навстречу. Там Юлиан Мархлевский, Адольф Варский, Казимеж Щепаньский.

— Роза! Станислав! Идите сюда!

Голоса, возбуждение какое-то нервное и — вот странно! — несмотря на трагизм ситуации, приподнятое, взбудораженное настроение, которое — Роза чувствует это — объединяет всех, кто собрался здесь.

В нескольких местах загораются факелы. Зыбкое неверное пламя освещает плакат в руках двух рабочих: «Позор царским палачам!»

— Позор палачам! — кричит Роза; этот крик будто сам, помимо ее воли, вырвался из горла и летит к крепостным стенам.

— Позор! — эхом отвечает толпа.

— Мы с вами, товарищи!

— Да здравствует «Пролетариат»!

— Жизнь приговоренным к смерти!

Единая сила объединяет всех — взявшись под руки, они медленно идут вверх, к цитадели, зубчатая стена которой неясно прорисована в бледно-сером вечернем небе. Снег под ногами, снег в лицо, и от растаявших снежинок туманится взгляд...

Видно, власти не ожидали такой мгновенной демонстрации: ни войск, ни полиции, ни казаков. Только наверху, по крепостному валу, ходят часовые. Медленно, неторопливо... Они недоступны собравшимся внизу.

Стена. Запертые ворота.

— Что теперь делать?

— Мы с вами, друзья! — отчаянно кричит высокий юношеский голос.

— Мы с вами! — подхватывает несколько голосов

И уже скандирует вся толпа:

— Мы с ва-ми! Мы с ва-ми! Мы с ва-ми!

В ответ молчат кирпичные неприступные стены.

Розу вдруг пронзает мысль: завтра!.. Завтра их казнят. Падут первые жертвы рабочей организации «Пролетариат». В неравной борьбе оборвется жизнь четырех бойцов. Первые казни в Королевстве Польском после национального восстания 1863 года. Четыре виселицы в Варшавской цитадели...

...Всю ночь она не может заснуть, лежит, замерев, на спине, бессонно смотрит в потолок. Смутно-белое окно. Там, над Варшавой, идет, идет снег... Что они, приговоренные к смерти, чувствуют сейчас? О чем думают?.. Роза переворачивается на бок. Жарко. Просто нечем дышать.

Она отбрасывает одеяло, поднимается с кровати и в одной ночной рубашке, босиком — пол приятно холодит ступни — быстро ходит по комнате из угла в угол. Тесно... Как мало пространства вокруг нее!..

«Пролетариат» прав в своей борьбе? Прав! А террор? Он оправдан? Ведь террористические акты привели и к разгрому организации, и к этим смертным приговорам.

Вот «Народная воля»... Она права? Андрей Желябов и Софья Перовская? Правы? Верно говорил Казимеж Щепаньский: народ остался неподвижным. Россия безмолвствовала. А на престоле новый самодержец.

Роза прижимается лбом к холодному стеклу окна.

Не знаю... Не знаю. Не знаю!

За окном — тускло-белый свет. Неужели настало утро?

...Их повесили в Варшавской цитадели в пять утра 28 января 1886 года.

С утра весь город забит полицией, солдатами, конными патрулями казаков.

Их повесили...

«Эта участь может постигнуть меня? — спрашивает себя Роза.— Может. И к ней надо быть готовой».

9

Через несколько дней ее неожиданно вызвали в кабинет директрисы гимназии Грановской. У окна стояла их классная дама Анна Петровна.

— Присядьте, пани Люксембург,— торжественно сказала Грановская, неизменно стройная в своем корсете.

Роза села на стул, стоявший посередине комнаты, и оказалась под перекрещением двух изучающих взглядов.

— Роза! — заговорила директриса. Странно... Никогда она не называла ее по имени.— Роза! Мне незачем вам повторять, что вы — гордость нашей гимназии, лучшая ученица класса, первая претендентка на золотую медаль. Минует немногим больше года, и у вас — экзамены на аттестат зрелости.— Была сделана внушительная пауза.—

И будет весьма печально, Роза, если вы золотую медаль не получите.

— Почему? — спросила она.

— В последнее время вы нас огорчаете, пани Люксембург! — повысила голос директриса гимназии.— Вы нас очень огорчаете!

— Я вас не понимаю,— сказала Роза, уже все поняв.

И тут к ней подлетела Анна Петровна, сделала вокруг стула стремительный круг и закричала трагическим голосом:

— Вы были вечером двадцать седьмого у цитадели! Да, да! Были! Отвечайте, были?

— Была,— сказала Роза.

Классную даму Анну Петровну сковал столбняк, а Грановская сказала:

— Вот что, Роза...— И в голосе ее послышалось сдержанное сочувствие.— Мы уже не один раз беседовали с вами на эту тему. К сожалению, безрезультатно. И сейчас я ни о чем не спрашиваю вас. Но имейте в виду следующее: если политические симпатии приведут вас в полицию, нам придется расстаться в тот же день. Однако предположим лучший вариант.— Директриса брезгливо поморщилась.— Вы миновали полицию, чего я вам искренне желаю.

— Спасибо,— сказала Роза.

— Не дерзите! — крикнула Анна Петровна, становясь пунцовой.— Не забывайтесь!..

Грановская остановила Анну Петровну жестом.

— Однако, Роза,— продолжала мягко директриса,— я вас честно предупреждаю: если вы абсолютно... Я повторяю: абсолютно! — не оставите свою так называемую общественную деятельность вне стен гимназии, золотой медали вам не видать. Так что, пани Люксембург, выбирайте: или золотая медаль, или политика.

— Значит, золотая медаль выдается не за знания? — звонко спросила Роза.

— Прежде всего за знания,— сказала Грановская, внимательно глядя на Розу. «У нее умные и проницательные глаза».— Но не только за знания.

— Понимаю.— Роза усмехнулась.— К знаниям нужно приплюсовать верноподданничество.

— Воспитанница Люксембург! — ахнула классная дама.— Что вы себе позволяете? — Глаза ее округлились от страха и возмущения.

— Мне жаль вас, Роза,— печально сказала директриса.— Вы свободны, идите.

Нет, она не оставит занятия политикой. Поймите: это свыше ее сил, это тождественно тому, как если бы птице запретили летать. Но и золотую медаль она получит, будьте уверены.

...Весной 1887 года, накануне экзаменов на аттестат зрелости, Розе предстояло принять ответственное решение — как жить дальше после окончания гимназии. Нет, решение созрело давно: политическая деятельность. Но в чем она будет заключаться? На какие средства жить, если отец откажется помогать? И потом... Не всю же жизнь сидеть на шее у родителей. Надо самой зарабатывать. Но как? И — что тоже принципиально важно — надо учиться дальше, получить высшее образование. Где? И как совместить нелегальную политическую борьбу с учебой? Эти вопросы требовали немедленного разрешения. Трудно, невыносимо одной, в шестнадцать лет, найти единственно правильные ответы на эти вопросы.

И вот теперь часто с ней рядом был Юлиан Мархлевский, всегда деятельный, уравновешенный, со спокойным взглядом светло-голубых глаз. Он был на пять лет старше Розы, но казался ей совсем взрослым, все пони-

мающим, в нем чувствовались сила и уверенность, которых порой так не хватало Розе. Они часто встречались, и выпускница Второй женской гимназии спешила поделиться со своим другом сомнениями и тревогами.

— Давай, Роза,— говорил Юлиан,— все сведем к логической формуле.

— Давай,— доверчиво говорила она.

— Ты представляешь свою дальнейшую жизнь вне политической борьбы?

— Нет! — поспешно отвечала Роза.

— Вот отсюда и будем танцевать.— Юлиан пристально, внимательно смотрел на нее.— Путь выбран. И все остальное уже второстепенно и должно быть подчинено избранному пути. Кстати, Роза...— Он засмеялся.— Ответь мне: разве тебе так уж плохо живется? Материальной нужды ты не знаешь. Гимназию окончишь с золотой медалью, и тебе открыта дорога в высшие учебные заведения если не Российской империи, то Европы. Можешь отправиться за дипломом в Женеву. Или в Берлин, ведь немецкий язык ты знаешь в совершенстве.

— Но, Юлиан... Разве я думаю о себе? Кругом — несправедливость, насилие, процветают мерзавцы и трутни... Можно ли радоваться жизни, если столько горя?

Они сидели на скамейке у берега Вислы; был жаркий майский день; в темной воде медленно плыли опрокинутые белые, с пышными краями облака.

— Знаешь, Роза,— сказал Юлиан,— а ведь мы с тобой очень похожи, даже по биографиям. Смотри: твой отец — разорившийся торговец лесом, тебя, совсем маленькой, из заштатного польского городка привозят в Варшаву. Мой отец — разорившийся торговец хлебом, правда шляхтич, как говорится, знатное происхождение. И тоже — вполне обеспеченное детство во Влоцлавеке. Висла, детство на реке. Ведь в Замощи нет реки?

— Большой нет. Но есть крохотная Топорница, и я ее очень люблю.

— И матери наши похожи. Моя, Августа фон Рюкерсфельд — ведь я наполовину немец, тоже деятельная, начитанная и — вся для детей. А нас у родителей — семеро. Я через две недели закончу реальную гимназию. Можно учиться дальше. Например, отправиться в Пруссию, в Кенигсберг,— Юлиан засмеялся.— Знаешь, кем желала бы видеть меня матушка? Прусская офицерская школа, я в мундире «черных гусар», словом, военная карьера, в традициях семейства Рюкерсфельдов. А я? И вот здесь наши с тобой пути окончательно сходятся. Я выбираю политическую деятельность! Все остальное — дальнейшее образование, средства к существованию — вторично, все будет продиктовано обстоятельствами. Впрочем...— Мархлевский пружинисто встал со скамейки, поднял камень, бросил его далеко в Вислу.— Я уже принял решение. Закончу гимназию и пойду работать на фабрику.

— Кем? — перебила Роза.

— Рабочим, конечно,— сказал Юлиан.— Я убиваю сразу двух зайцев: во-первых, буду зарабатывать на жизнь... Кстати, надо будет помогать Леону, моему младшему братишке, он собирается поступать в университет. У него блестящие способности к химии. Перспективная наука. Во-вторых, я буду постоянно среди рабочих. Ну, ты понимаешь...

— Юлиан! — Роза с обожанием смотрела на своего старшего друга.— Но ведь устроиться на фабрику не так-то просто.

— У меня есть знакомый, Адам Домбровский...— Юлиан понизил голос.— Он старейший член «Пролетариата», ближайший соратник Людвика Варыньского, они были друзьями... Полиция Адама не достала. Он обещал устроить меня на фабрику, где работает сам.— Мархлевский опять внимательно посмотрел на Розу.— Я что хочу

сказать? Ты вполне можешь последовать моему примеру.

— Знаешь, Юлиан,— сказала она,— сейчас меня мучает вот какой вопрос. Родители, особенно отец, когда узнают, чем я собираюсь заниматься после гимназии...

— Ясно! — перебил Мархлевский.— В крайнем случае на первых порах уйдешь из дома, квартирку мы тебе подыщем. А потом родители примирятся. Проверено. Не ты первая. Словом, сейчас перед тобой ближайшая задача: с золотой медалью окончить гимназию. Готовься к экзаменам и больше ни о чем не думай. А комнату у хороших людей я тебе на всякий случай подыщу.

— Я бы хотела познакомиться с твоим другом Адамом,— сказала она.

— Это я тебе обещаю,— засмеялся Мархлевский.

...Роза уже сдала половину экзаменов, когда однажды за ней на извозчике явился Юлиан:

— Собирайся! Едем!

— Куда? — удивилась она.

— За Иерусалимскую заставу. Посмотришь комнату. И покажу тебе свою работу. Сегодня мне на смену с двух.

— Ты уже работаешь?

— Да,— с гордостью сказал Мархлевский.

— Кем и где?

— Ваш покорный слуга...— Юлиан церемонно раскланялся,— красильщик шерстяной пряжи на фабрике господина Теодора Фишера и ко́мпани.

— Фишера? — Роза всплеснула руками.— Я знакома с супругой твоего хозяина, ясновельможной пани Брониславой, урожденной Михалковской.

— Мир тесен,— сказал Юлиан.— Мне тоже известна эта особа. Так едем же! Заодно я познакомлю тебя с Адамом Домбровским, он тоже в данный момент красильщик.

...Сначала Мархлевский показал ей комнату в рабо-

чей квартире, которую можно было снять за недорогую плату, и комната Розе понравилась: чистая, светлая, с окном в зеленый ухоженный сад; стол, узкая, аккуратно застеленная кровать, венские стулья, гобелен с оленем на стене. И хозяйка, пани Мария, была приветливая, в чистом льняном платье, с гладкой прической, она мало говорила, больше улыбалась.

— Дети у нас смирные, их трое,— сказала Мария,— вас никто не будет беспокоить.

«Итак,— с непонятным трепетом и болью подумала Роза,— на случай бегства из дома место обеспечено».

— Поспешим, Роза,— сказал Мархлевский,— через двадцать минут моя смена.

...Красильный цех фабрики «Т. Фишер и К°» ошеломил Розу с первых шагов.

Пройдя за Юлианом через скрипучую дверь, она сразу же остановилась, оглушенная жарой, облаками пара, резкими запахами красок. Ничего не было видно, глаза начали слезиться; где-то булькала вода, слышались голоса людей. Потом она различила в глубине большого помещения узкие окна, видимые как бы сквозь туман. В клубах этого же тумана прорисовались огромные котлы, в них булькало и клокотало, а возле котлов стояли рабочие в кожаных фартуках, надетых на голое тело, их лица и обнаженные плечи лоснились от пота. Одни, сдвинув крышки с котлов, неторопливыми волнами опускали в них широкие серо-белые ленты шерстяной материи, другие длинными жердями помешивали в котлах, над которыми — показалось Розе — поднимаются разноцветные дымы. По стенам стекали водяные разводы, и земляной пол под ногами был влажным; от жары, спертого воздуха испарина покрыла лицо Розы, нечем было дышать — резкие, терпкие запахи назойливо лезли в ноздри. У Розы закружилась голова...

Сильная рука Юлиана взяла ее за локоть. Он уже был

в кожаном фартуке, его лицо и мускулистые плечи казались смуглыми. Когда же Юлиан успел переодеться?

— Идем, я познакомлю тебя с Адамом.

У котла, в котором вулканизировала, вздуваясь буграми, ядовито-синяя вода и иногда мелькали серые пятна ткани, стоял высокий человек, похожий на богатыря из русских былин: тугие шары мышц под потной кожей, широкая грудь, лицо с крупными правильными чертами, светлые, слегка вьющиеся волосы подвязаны тесьмой — чтобы не падали на лоб. В руках длинная жердь, которой он иногда помешивал в котле, казалось, без всяких усилий.

Они пожали друг другу руки. Ладошка Розы утонула в огромной пятерне Адама Домбровского.

— Юлиан мне много говорил о вас.— Голос у Адама был густой, сильный.— Сейчас, к сожалению, нет времени, можно переварить и тогда... Такую отменную шерсть испортить — грех. Стоит упустить минуту... А поговорить надо. Юлиан! — Домбровский пытливо взглянул на товарища.— Может быть, послезавтра, у меня? Ты придешь с Розой?

— Правильно! — Мархлевский взял Розу под руку.— А сейчас ей нужно на свежий воздух.— Он засмеялся.— Тут, Розочка, привычка необходима.

...Они вышли из красильного цеха во двор фабрики. Ослепительный свет. Неужели солнце такое яркое? Синее небо, зеленая трава, ветер в кронах деревьев, где-то воркует голубь. Господи! Как прекрасен мир...

И земля поплыла у нее из-под ног.

Юлиан подхватил Розу, усадил на ящик.

— Дыши глубже. Я же говорю: надо привыкнуть.

Доброе лицо Юлиана расплывалось над ней.

Потом она сказала:

— Это не фабрика, это ад.

— Что верно, то верно.— Брови на лице Юлиана

сошлись к переносице.— И в этих условиях люди работают по двенадцати часов в сутки при одном выходном в неделю. Ни вентиляции, ни охраны труда, минимальная зарплата и постоянные штрафы...

— Сюда бы пани Брониславу,— зло перебила Роза,— с ее «гармоничным трудом» и всеобщим благоденствием.

— Мы перевернем эти порядки, Роза! — страстно сказал Юлиан.— Мы вырвемся из этого дантова круга. Дай срок. И это понимают здесь многие. Послезавтра ты в этом убедишься.

...На квартиру Адама Домбровского Юлиан привел Розу под вечер, когда уже смеркалось.

По пути он отвечал на ее нетерпеливые вопросы. Розе с первого взгляда понравился Адам, она хотела все знать о нем.

Да, стопроцентный пролетарий из бедной крестьянской семьи, мальчиком отправился на заработки в Варшаву, уже через два года стал членом нелегального социалистического кружка, познакомился с Варыньским, вошел в «Пролетариат». Мархлевского свел с Адамом случай: летом прошлого года на лодочной пристани оказались в одной лодке, разговорились и сразу поняли друг друга. Через неделю были уже друзьями, даже некоторое время жили вместе: в целях конспирации Адаму часто приходилось менять квартиру.

— И на фабрике Фишера,— говорил Мархлевский,— Адам работает сейчас по конспиративным соображениям, он по специальности позолотчик.

В тесной комнате собралось человек пятнадцать. Розу здесь встретили как свою, Адам только сказал: «Это Роза, гимназистка. Она с нами». Были тут только рабочие, это Роза поняла сразу: усталые лица, натруженные руки, простая одежда; было несколько пожилых людей и даже один старик с седой бородой.

— Юлиан, тебе слово,— сказал Адам Домбровский.

Над столом поднялся Мархлевский.

— Прошлый раз,— начал он,— мы пришли к единому решению: жить и работать в тех условиях, в которых мы находимся сейчас, невозможно! Надо бороться за свои права. Но для успешной борьбы,— повысил голос Мархлевский,— нам необходимо объединение! Солидарность с рабочими других фабрик. И не только в Варшаве, но и в Лодзи, во всей Польше и — как главная задача — союз с пролетариями России. В этом единстве наша сила и залог победы...

Так Роза впервые попала на запятие нелегального рабочего кружка, который собирался на квартире Адама Домбровского. Она стала посещать эти занятия регулярно.

...Во Второй женской гимназии Варшавы шел последний экзамен на аттестат зрелости — по русской литературе.

Перед столом экзаменационной комиссии стояла Роза Люксембург. Только что она блестяще ответила на все вопросы. Не менее блестяще было написано сочинение на тему «Выражение русского национального духа в произведениях Державина и Пушкина».

— Отлично, пани Люксембург, отлично! — сказал преподаватель русского языка и литературы Евгений Самойлович Якушев, чрезвычайно довольный своей лучшей ученицей.

Закивали головами остальные члены комиссии. Сдержанно улыбалась директриса Грановская. Только хмурился седой господин — попечитель Второй женской гимназии Саховский, что-то рисуя остро отточенным карандашом на листе атласной голубоватой бумаги.

— Есть вопросы к пани Люксембург? — спросил Евгений Самойлович, победно поглядывая на членов экзаменационной комиссии.

Вопросов не было.

И тогда поднял голову попечитель гимназии. У него оказалось совсем безбровое лицо, водянистые выцветшие глаза, на дряблых щеках и лбу выступили старческие коричневатые пятна. Он повернулся к директрисе:

— А как сдала... э-э-э... воспитанница Люксембург остальные экзамены?

— По всем предметам великолепные знания, господин Саховский,— ответила Грановская.

— Похвально. Весьма похвально...— Теперь попечитель гимназии смотрел не мигая на Розу.— Что же... э-э-э... воспитанница Люксембург, выходит, преподавание на русском языке, в частности польской литературы, не повредило вашим знаниям?

— Польских писателей, пан попечитель,— сказала Роза,— я читала в подлинниках, на польском языке.

Как бы легкий ветерок колыхнул членов экзаменационной комиссии, и Роза встретила взгляд директрисы, в котором были осуждение и тревога.

— Ну хорошо...— справившись с некоторым замешательством, сказал господин Саховский.— У меня к вам вопрос... э-э-э... по русской литературе. Вам известно творчество, с позволения сказать, таких критиков... Я бы сказал, критиканов, как Белинский и Писарев?

— В нашей гимназической программе,— поспешил на помощь своей любимице Евгений Самойлович,— нет этих господ.

— Я читала и Белинского, и Писарева,— сказала Роза, и уже ожесточение было в ее голосе.

— В сем я и не сомневался,— печально сказал господин Саховский.— И как же вы оцениваете... э-э-э... писания этих...

— Белинский и Писарев,— перебила Роза,— замечательные представители критической мысли в русской литературе. При этом,— глаза ее сверкали,— я полностью

разделяю те взгляды, которые высказывали оба критика, особенно Писарев, не только на литературу, но и на общественную жизнь России.

Среди членов экзаменационной комиссии раздались негодующие возгласы, хотя и тихие.

— Понятно, воспитанница Люксембург,— сказал попечитель гимназии.— Все очень даже понятно.— Он повернулся к преподавателю русского языка и литературы Якушеву.— А сочинение нашей несравненной отличницы...

— Ни одной ошибки, господин Саховский,— заспешил Евгений Самойлович.— И содержание отменное.

— Да, да,— вяло сказал попечитель гимназии.— Я читал. Дайте-ка мне сюда сей труд.— Ему передали сочинение.— Так, так...— Он перелистывал страницы.— Однако, какая грязь! Каллиграфия явно хромает.— Сочинение было передано обратно.— Что же... э-э-э... воспитанница Люксембург, идите, вы свободны.

...Через час директриса Грановская в актовом зале зачитала оценки выпускниц Второй женской гимназии на экзаменах на аттестат зрелости.

Первая ученица класса, гордость Второй женской гимназии города Варшавы Розалия Люксембург получила две четверки — по русской литературе и русской истории.

«И по истории — тоже...» — У Розы от негодования и обиды потемнело в глазах.

После ее ответов на экзамене по русской истории Грановская в коридоре тихо сказала: «Браво, Роза! Спасибо!» И вот...

Выпускницы с шумом и смехом выходили из зала.

— Розочка, не расстраивайся! — теребила ее Ванда Каспашко.— Мы же все понимаем: это несправедливо. В нашем классе нет лучше тебя.

Ванда, добрая душа, готова была расплакаться, и Роза улыбнулась ей.

— Пани Люксембург, задержитесь, пожалуйста! — громко прозвучал голос директрисы.

В гулком и неприветливом актовом зале они остались вдвоем.

— Я ничего не могла сделать, Роза,— тихо, огорченно сказала Грановская.— Мы двое отстаивали вас: Евгений Самойлович и я. Слишком велика власть нашего попечителя, и он, оказывается, о вас кое-что знает...— Она запнулась.— Вот такие дела, девочка. Роза, Роза!.. Сколько раз я вас предупреждала: оставьте политику. Я и сейчас говорю вам это: оставьте...

— Не надо, Елизавета Гавриловна,— перебила Роза, и твердость, смешанная с отчаянием, была в ее голосе.

— Хорошо, я понимаю.— Елизавета Гавриловна Грановская оглянулась на закрытую дверь актового зала.— Только знайте, пани Люксембург...— голос ее дрогнул,— я вас считала и сейчас считаю лучшей ученицей нашей гимназии.— Она вдруг притянула Розу к себе и поцеловала в лоб.— Ступайте, голубушка! Да хранит вас бог!..

...Роза, кусая губы, быстро спускалась по железной лестнице с обтертыми сверкающими краями, и слезы катились по ее щекам...

Вечером этого же дня, 12 июня 1887 года, в доме Люксембургов собрались на семейное торжество. Не было Анны, которая вот-вот должна была родить; Миколая задержали в Лондоне срочные дела.

За столом (Лина приготовила праздничный ужин с бутылкой шампанского, не сомневаясь в победе дочери) сидело пятеро: старый Эдвард, глава семьи, Лина, Роза, Юзеф и Максимилиан, специально приехавший из Парижа, чтобы поздравить младшую сестру с окончанием гимназии.

Но праздник не удался: все были уверены, убеждены, что Роза получит золотую медаль. И вот... Даже шампанское не помогло.

— Ладно! — нарушил молчание Эдвард.— Аттестат есть. И более чем хороший — всего две четверки.— Он повернулся к Розе: — Чем же ты намерена заниматься дальше? Где думаешь продолжать образование?

В гостиной стало тихо, все смотрели на нее.

И она сказала:

— Только ты не перебивай меня, папа. Выслушай до конца спокойно. Я выбираю для себя политическую деятельность. Я буду заниматься политикой. Подожди! Сейчас я докончу. Если ты будешь по-прежнему препятствовать мне в этом, я уйду из дома.— Она представила комнату в рабочей семье, которую на этот крайний случай подыскал ей Юлиан Мархлевский.— Но, папа, я не хочу уходить. Я всех вас люблю...

Лина заплакала и, зажав рот руками, чтобы не вырвались рыдания, быстро вышла из гостиной.

Лицо старого Эдварда медленно наливалось бурой краской, сейчас он не сдержит себя, закричит...

Быстро поднялся из-за стола Максимилиан, положил руку на плечо отца, сказал тихо:

— Подожди, папа, успокойся. Ведь все мы знаем нашу Розу. Если она решила...— Он посмотрел на Розу и дружески улыбнулся ей.— И почему политикой должны заниматься только мужчины? Времена меняются. Может быть, политическая деятельность — ее призвание?

— А скорее всего,— заспешил Юзеф,— это порыв юности. Кончится юность и...

— Нет! — перебила Роза и бросилась к двери.— Нет!..

И она убежала в свою комнату...

Она легла на кровать и крепко сжала веки.

Все! Решено. Завтра же уйду из дома, буду жить в той рабочей семье. Вполне приличная комната, и окно

выходит в старый сад. Пойду работать. На фабрику. Юлиан поможет устроиться. И ничего. Даже интересно: жить и работать среди людей, которым принадлежит будущее.

Роза улыбнулась — предчувствие новой жизни до краев наполнило ее.

И внезапный, крепкий сон поглотил Розу.

...Она проснулась от стука в дверь, включила свет, часы показывали десять минут второго... Ночь... Сразу все вспомнилось, и черная тяжесть навалилась на нее.

— Кто там?

Вошел Юзеф, сел на край постели, осторожно погладил Розу по голове.

— Не вешай носа, сестренка,— сказал он бодро.— Мы уговорили отца. Оставайся дома, и можешь заниматься чем хочешь. Ему понравилась моя мысль.— Юзеф хитро подмигнул: — Кончится юность, и с нею кончится твое увлечение политикой.

Роза молчала.

Непрошеные, внезапные слезы лились из ее глаз.

Потом она улыбнулась брату:

— Многовато — дважды реветь за одни сутки.

Он порывисто обнял ее, прошептал:

— Успокойся, сестренка... Все наладится. Все будет как надо.

Она прижалась к нему и затихла; от Юзефа остро пахло лекарствами.

10

Январский вечер 1888 года. С Вислы несет свежестью, запахом стылой воды; редкие фонари освещают улицу Штацика; бесприютно, одиноко.

Роза, кутаясь в пальто, выходит из ворот своего дома, незаметно привычно оглядывается: все в порядке, хвоста нет.

Путь ее далек — в центр Варшавы, в тихий переулок, где в неприметном трехэтажном доме скромная квартира студента Высшей торговой школы Кроненберга Людвика Красуского.

Уже более года работает подпольный социалистический кружок, ядро которого состоит из учащихся школы Кроненберга. В него привел Розу Казимеж Щепаньский сразу же после того, как его группа, обескровленная арестами, перестала существовать. Среди кроненбергцев у Розы появились новые знакомые студенты: Людвик Кульчицкий, Станислав Кассиюш, Людвик Красуский, Владимир Назембло...

В целях конспирации собираются то в одном месте, то в другом. Вот сегодня — на квартире Красуского. И Розе передали: всех ждет чрезвычайное сообщение — из Женевы вернулся Людвик Кульчицкий; три месяца назад он поехал туда учиться и вдруг неожиданно вернулся с каким-то поручением чрезвычайной важности от эмигрантского центра.

Роза спешит.

Как долго нет конки!

Наконец за углом возникает цокот лошадиных подков, металлическое дребезжание.

Вагон пуст, только на задней площадке разговаривает с кондуктором подвыпивший старик. Кажется, жалуется на свою судьбу.

Кружок кроненбергцев... Много нового, принципиально нового получила там Роза. Пожалуй, именно в нем она нашла то, что давно искала. И одно из самых могучих постижений последнего времени — первый том «Капитала» Маркса. Она получила эту потрясающую книгу всего на неделю. Плотный темно-коричневый переплет, красивый обрез, убористый текст, немецкий, готический. Трудное, напряженное чтение, требующее волевого усилия, полной сосредоточенности. Какое это было наслаж-

дение: постепенно проникать в сложнейший механизм марксова анализа, его могучего мышления. И открываются тайные истины, сокрытые в недрах капиталистического производства: вот где основы узаконенной эксплуатации, вот каким путем хозяин предприятия присваивает себе часть труда рабочего. И с этой машиной обогащения сильные мира сего никогда не расстанутся добровольно. Путь в царство равенства и свободы один — революция! «Экспроприаторов экспроприируют...» Только так. И с этого начнется новая история...

Потом она идет по Краковскому предместью. Многолюдно, несмотря на ненастный вечер; ярко освещены витрины магазинов; нарядные кареты гремят по мостовой.

Навстречу — военный патруль: молоденький щеголеватый офицер и два солдата. Офицер с легкой полуулыбкой поглядывает на Розу:

— Добрый вечер, пани! Одна и так поздно? В городе неспокойно, пани.

В городе неспокойно...

Вчера было совершено неудачное покушение на адъютанта полицмейстера Варшавы — убит охранник и ранен случайный прохожий на улице.

И Роза знает, чьих это рук дело.

...Однажды на конспиративной квартире, где собирались члены кружка, появился Станислав Бжезовский.

Не появился — он ворвался в комнату, заполнив ее своим громким голосом, нетерпеливыми шагами, яростью и возбуждением. И было это 2 марта. (Есть, есть что-то в этом месяце для Розы особенное, не один день рождения. Сколько самых разных событий, и трагических в том числе, приходилось на март!)

Бжезовский метался по комнате и в первые несколько минут не мог говорить от волнения.

Его насильно усадили в кресло, громадный Владимир Назембло с силой сдавил его плечи:

— Да говори же! В чем дело?

— Только что в газетах...— голос Станислава прерывался.— В Петербурге вчера покушение на Александра Третьего... Народовольцы...

— Убит? — перебили его.

— Нет... Все сорвалось.— Теперь в голосе Бжезовского было отчаяние.— Опять неудача... Арестовано пятнадцать человек. И ядро заговора — Александр Ульянов, Андреюшкин, Генералов... Лучшие люди «Народной воли». Высочайшим повелением уже назначен суд...

...Еще один квартал, и Роза будет на месте: безлюдный, слабо освещенный переулок, трехэтажный дом, войти с черного хода, второй этаж, дверь направо, три звонка: короткий — длинный — короткий.

...Суд над народовольцами состоялся 15 апреля. Пятеро бесстрашных борцов во главе с Александром Ульяновым были приговорены к смертной казни через повешение. Их казнили 8 мая 1887 года в Шлиссельбурге.

На следующий день Станислав Бжезовский встретил Розу, когда она выходила из ворот своего дома.

— Мы продолжим их дело, мы отомстим за них,— быстро заговорил он...

И вот их первый удар: провалившееся покушение на адъютанта полицмейстера. Один невинный человек убит, другой ранен.

«В городе неспокойно, пани»...

Роза поднимается по темной лестнице. На площадке второго этажа резко пахнет кошками и угаром. Дверь направо, обитая кожей. Три звонка: короткий — длинный — короткий.

Щелкает замок. Перед ней хозяин квартиры Людвик Красуский, плотный, пышущий здоровьем; студенческий китель накинут на плечи, ворот белой рубашки расстегнут, и видна мускулистая волосатая грудь.



— Это Роза! — кричит он в глубину слабо освещенного коридора.— Проходи. Уже все в сборе.

— А Кульчицкий? — нетерпеливо спрашивает Роза.— Здесь?

— Да!

Они входят в небольшую комнату, в которой сразу бросаются в глаза книги. Всюду книги — в шкафах, на подоконниках, стопками у стен.

Здесь человек десять — двенадцать, сидят на диванах, на стульях, кто-то устроился прямо на полу, скрестив ноги по-турецки.

А у стола стоит Людвик Кульчицкий, большелобый, нервный, нетерпеливый, в модном коричневом костюме парижского покроя, с широкими бортами, и черный атласный галстук повязан бантом.

«Ну и щеголь!» — невольно улыбнувшись, подумала Роза.

— Собрались все,— говорит Красуский.— Можно начинать.

Людвик Кульчицкий откашлялся, в комнате стало напряженно-тихо.

— Друзья,— заговорил Кульчицкий, и теперь все увидели, как он волнуется: Людвик, не замечая этого, то застегивал, то расстегивал свой модный пиджак.— Да, студент из меня не получился. Занятия в славном Женевском университете пришлось прервать. Короче говоря, там, в Женеве, я встретился с эмигрантским центром партии «Пролетариат»...

— Наш «Пролетариат» жив? — перебил его страстный юношеский голос.

— Да, организация жива,— уже спокойно и твердо продолжал Кульчицкий.— Но жива в эмиграции. И перед нами поставлена задача: возродить ее здесь, на родине. «Пролетариат» должен действовать в Польше!

— Браво!

— Правильно!

— Да здравствует «Пролетариат»! — закричали со всех сторон.

— В Женеве,— говорил Людвик Кульчицкий,— я тесно сошелся с Александром Дембским, ведущим деятелем нашей эмиграции. От него мною получены все инструкции. Я уже не говорю о литературе, которую привез, нелегальщины теперь у нас достаточно. Впрочем, о литературе — потом. Итак, наша основная цель: объединить все разрозненные социалистические кружки Варшавы в единую организацию. И прежде всего мы должны найти пути в рабочие кружки, которые есть в городе. Так, уже несколько месяцев... об этом, к нашему стыду, я узнал в Женеве... уже несколько месяцев активно действует рабочий кружок, которым руководит Адам Домбровский...

— Я знаю Домбровского,— вставила Роза.— Знаю и многих членов его кружка. И уж наверняка в курсе всех дел этой группы Юлиан Мархлевский.

— Роза! Что же ты молчала?

— Расскажи!

— Да, Роза,— сказал Кульчицкий.— И подробно.

И она поведала друзьям о кружке Адама Домбровского, в который ввел ее Юлиан Мархлевский.

— Настроение там,— говорила Роза,— самое решительное. Рабочие, особенно молодые, рвутся к активной борьбе. Но они изолированы, одиноки, не знают, с чего начать. И очень им не хватает социалистической литературы. Адам каждый раз меня просит: достань книги...

— Теперь у этих парней книги будут! — перебил Розу Людвик Кульчицкий.— С кружком Домбровского мы обязательно свяжемся. Или через тебя, Роза, или через Юлиана Мархлевского.

Накурено в квартире студента торговой школы Кроненберга Людвика Красуского. Все возбуждены, накаленная, нервная атмосфера.

— В Женеве мне стало известно еще о нескольких рабочих кружках в Варшаве,— говорит Кульчицкий.— Мы обязательно наладим с ними связь. И есть человек, который поможет нам это сделать.

— Кто это?

— Ты с ним знаком, Людвик?

— Нет, я с ним незнаком. О нем мне тоже сказал Александр Дембский. В конце прошлого года в Варшаву нелегально прибыл некто Марцин Каспшак, эмиссар эмигрантского центра. Он — старый член «Пролетариата», бывший рабочий, профессиональный революционер. Перед ним поставлена та же задача: возродить организацию, прежде всего среди рабочих, которых Каспшак хорошо знает. Надо полагать, в Варшаве он не бездействовал.

— Нам необходимо с ним встретиться! — сказал Казимеж Щепаньский.

— Мы с ним встретимся сегодня,— несколько торжественно ответил Кульчицкий.— Если угодно, это мое второе важное сообщение. Сейчас без пятнадцати десять. Встреча с Марцином Каспшаком назначена на двадцать два часа.

Ровно через пятнадцать минут в передней прозвучало три звонка: короткий — длинный — короткий.

Людвик Красуский пошел встречать гостя.

Роза с нетерпением смотрела на дверь. Профессиональный революционер! Значит, то дело, которому она собирается посвятить жизнь,— профессия?

Первым в комнате появился Людвик, шагнул в сторону и пропустил вперед высокого молодого человека в поношенном, ветхом пальто и видавших виды ботинках. (Почему-то Роза обратила внимание на эти ботинки — огромные, со сбитыми каблуками и давно не чищенным бурым верхом; много же дорог исходили они!)

— Здравствуйте! — сказал вошедший.— Марцин Касп-

шак. Будем знакомы! — Голос у него был грубый, простуженный, резкий.

Продолговатое лицо в густой рыжеватой бороде, большой лоб, крупный нос, жесткий рот, волевой подбородок с ямочкой; по сильной шее двигался кадык, и вообще от Марцина Каспшака исходила сила, именно физическая сила, которой, очевидно, он был наделен природой с избытком. Было в этом человеке что-то новое, неожиданное, чего не знала, не чувствовала Роза в своих товарищах, и ее сразу потянуло к нему, захотелось понять его, постичь, научиться тому, что связано с этими волнующими, гипнотизирующими словами — профессиональный революционер.

Вскоре Марцин Каспшак уже полностью завладел инициативой в небольшой квартире Людвика Красуского. Говорил он отрывисто, властно, никто не пытался возражать ему. Впрочем, и не было поводов для возражений.

Да, наша общая задача — возродить организацию. На смену «Великому Пролетариату», или «Первому Пролетариату», как его называют в эмиграции, мы создадим новый, «Второй Пролетариат». Пока власти торжествуют победу. Но у истории свои законы, и ее поступательное движение невозможно ни затормозить, ни повернуть вспять. Выросли новые революционные силы. И прежде всего — в польском рабочем классе. Пока они разрозненны, неясно представляют цели борьбы, политически необразованны. Тем важнее соединить их с польской социал-демократией. (Впервые Роза услышала от Марцина Каспшака эти слова — польская социал-демократия.) И мы это сделаем! Мы создадим железную революционную организацию — с уставом и программой, с центральными органами правления, с партийными взносами и кассой, со своей печатью.

— Но я считаю,— говорил в напряженной тишине Каспшак,— что не сегодня, не сейчас родится наша пар-

тия. Это было бы формальным провозглашением. Необходим месяц или полтора месяца предварительной работы. Какой? Прежде всего разъяснительной: листовки, брошюры, если удастся — забастовки. Мы есть! Мы заявляем о себе. И рабочим, и властям...

— Но для листовок и брошюр нужна типография,— сказал кто-то.

Марцин Каспшак помедлил, потом тихо ответил:

— Пока есть печатный станок. И мне нужен помощник, человек, владеющий пером. — Он засмеялся. — Словом, писатель. О чем листовка или прокламация — это мы будем решать сообща, а вот написать так, чтобы проникло в самую душу...

— Роза Люксембург! — сказал Казимеж Щепаньский. — У нее просто блестящий слог. Лучше Розы у нас никто не пишет.

Горячий вал накрыл ее с головой. Неужели она будет работать с Марцином?

Каспшак уже стоял перед ней:

— И прекрасно. Встретимся завтра...— Он подумал.— Давайте в девять утра. Вы свободны?

— Для дела я всегда свободна!

— Завтра в девять, у гостиницы «Европейская».

11

Он был старше Розы на одиннадцать лет — ей шестнадцать, Марцину Каспшаку двадцать семь. Но странно: эта возрастная разница быстро стерлась, они стали друзьями. Марцин не подавлял ее своим опытом, авторитетом, напористой силой, которая буквально клокотала в нем. Он мгновенно оценил Розу, ее работоспособность, бесстрашие и хладнокровие, он завидовал ее начитанности и знаниям, которых ему очень не хватало.

— Роза,— говорил он,— все книги, которые ты прочи-

тала, я уже не успею прочитать. Поэтому при любой возможности ты мне пересказывай произведения самых знаменитых писателей. Вот я набираю текст листовки, для меня это дело привычное, почти автоматическое, голова свободна. Ты и рассказывай.

Она рассказывала: Шиллер, Гёте, Сенкевич, Пушкин, Толстой, Гоголь, ее любимый Адам Мицкевич, Гончаров.

Лицо Марцина светилось детским изумлением.

— Знаешь, это какое-то волшебство,— говорил он.— Вот так сесть за стол и написать, все придумать: людей, события, картины природы.

Ее он поразил, нет, не поразил — ошеломил в первый же день совместной работы.

...Они встретились у гостиницы «Европейская», в самом центре города, в аристократическом районе. Марцин был в том же поношенном пальто и разбитых ботинках, на глаза была надвинута фетровая шляпа с опущенными полями.

— Встречаться в таких местах безопаснее всего,— тихо сказал он.— За нашим братом шпики шныряют в рабочих кварталах.— Марцин засмеялся.— А живу я недалеко. Пойдем пешком.

Бродили долго, больше часа. Роза устала — давно она не ходила пешком так много.

— Запоминай,— сказал Марцин, незаметно оглянувшись в обе стороны: улица была пуста.— Хмельная, тридцать четыре дробь тридцать шесть.— Они прошли под сумрачной аркой.— Двор проходной. Если что, заворачиваешь за мусорный ящик, налево, и ты в соседнем переулке. Видишь флигель? Там я живу. На втором этаже. Внизу — склад, у хозяина бакалейная лавка. Очень удобно: фактически я один во всем доме.

Они поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж, оказались на тесной площадке. Марцин резким поворотом ключа открыл дверь, пропустил Розу вперед. Комната

была маленькая, сырая. Роза не успела ничего увидеть — Марцин сказал:

— Смотри!

Он подошел к стене возле двери, быстро, ловко вынул два кирпича — в стене образовалось отверстие.

— Подойди ближе. Видишь?

В отверстие хорошо просматривалась лестница.

— Предположим, ты не сумела отрубить «хвост», потеряла бдительность... — Голос Марцина прерывался от возбуждения. — Они идут по пятам. Через эту дыру... — он показал на отверстие в стене,— ты отстреливаешься.

— Отстреливаюсь? — прошептала Роза. — Чем?

— Чем? — Марцин буднично полез в карман и вынул револьвер. — Вот этой штукой. Шесть боевых выстрелов что-нибудь да значит.

Роза, пораженная, молчала.

И Марцин Каспшак понял ее состояние.

— Да, Роза, это надо иметь в виду. Не в бирюльки играем. — Он зло усмехнулся. — «Отречемся от старого мира...» Ты представляешь, как это будет выглядеть? Без выстрелов и крови не обойтись.

Роза смотрела на револьвер в руке Марцина...

Он взял ее под локоть, повлек во вторую комнату.

— Теперь предположим, что преследователей несколько, а у тебя кончились патроны. — Марцин подвел Розу к окну. — Видишь, оно выходит на крышу соседнего дома. Правда, высоко. И для этого... — Он полез под кровать, вынул канат, сложенный жгутами. К одному концу каната был привязан металлический крюк. — Пока они ломятся, ты цепляешь крюк за подоконник и по канату спускаешься на крышу. Выгляни в окно. — Роза выглянула. — Видишь трубу? За ней лестница ведет на соседнюю улицу.

Розу бил мелкий противный озноб.

— Но... но я не умею стрелять,— прошептала она.

— Я научу,— просто сказал Марцин. — И со временем у тебя будет личное оружие. А теперь займемся делом.

Его квартира состояла из двух маленьких комнат. В первой — стол у окна, два табурета и переплетный станок в углу.

— Для хозяина я переплетчик, работаю на дому.

Во второй комнате по стене — старая деревянная кровать, большой деревянный сундук с солидным замком.

— Тут мое имущество. — Марцин засмеялся. — Хозяин меня считает очень состоятельным и скупым человеком. Я такового и изображаю. — Он открыл сундук. Сверху было аккуратно расстелено несколько мешковин. Марцин неторопливо, осторожно снял их.— Вот мое богатство.

В сундуке лежал разобранный печатный станок. Через несколько минут он был на ходу. На столе в ячейках металлического ящика тускло поблескивал шрифт. Рядом стояла черная банка, от которой резко пахло краской.

— Сначала, Роза, текст. Короткая, броская листовка. О чем — мы вчера решили. Энергичный протест против циркуляра министра просвещения Делянова, воспрещающего доступ в высшие учебные заведения «детям прачек». Обратиться надо к рабочим, ведь это их детей хотят лишить высшего образования.

...Текст листовки был готов через полчаса. Прочитав его, Марцин сказал обрадованно:

— Молодец, Роза! Здорово! Просто здорово! Мне бы так научиться писать. Теперь я займусь набором, а ты вникай, думаю, скоро и ты встанешь к станку.

Работал Марцин быстро, азартно, с увлечением. Роза любовалась им. Работал, мелькали над набором его потемневшие от краски руки, но голова была свободна, и он рассказывал о себе.

Родился в крестьянской семье под Познанью, в местечке Срода. Сейчас Познань входит в состав Пруссии, и у

Марцина германское подданство. Немецким языком владеет в совершенстве, так же как родным польским. И это очень важно. Для дела.

— Понимаешь, в Германии самая сильная социал-демократия Европы: разветвленная организация, партийные газеты и журналы, огромное влияние на рабочий класс. Правда, в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году Бисмарк издал так называемый «Исключительный закон против социалистов». Принадлежность к социал-демократии по сему закону карается различными сроками заключения. В зависимости от твоей активности в движении. Между прочим, в восьмидесятом году я испытал его на своей шкуре.

— Как это было? — спросила Роза, неотрывно наблюдая за виртуозный работой Марцина у печатного станка.

— Понимаешь, я сразу после сельской школы стал пролетарием. В семье у нас куча детей, земельный надел с гулькин нос, хлеба до нового года едва хватало. Вот и решил, окончив школу: надо самому себя кормить. Ушел в Познань, сначала поступил подмастерьем в колбасное заведение пана Зацембо. Не понравилось. Освоил профессию кровельщика. И вот тогда же, было мне девятнадцать лет, познакомился с двумя немцами, социал-демократами. Прочистили они мне мозги. Оглянулся по сторонам: мать честная! Как же все несправедливо устроено!

— «Я взглянул окрест меня...» — перебила Роза...

— Что? — Марцин поднял голову от печатного станка.

— Это у Радищева,— сказала она. — В «Путешествии из Петербурга в Москву». «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человеческими уязвлена стала»...

— Ты подумай, как здорово! — изумился Марцин Каспшак.— Именно: душа уязвленна. Вижу, чувствую: жить дальше так невозможно!

«И я ощущаю себя в жизни так же»,— подумала Роза.

— Ну, включился в дело,— продолжал Марцин. — Ли-

стовки, выступления на собраниях. Одному шпику физиономию набили. Сцапали меня. Суд, сразу два обвинения: «посягательство на целостность существующего строя» и «оскорбление личности». Грозило мне пять лет «цейхгауза» — каторжные работы в централе. Что делать? Один выход: бежать! Пока следствие идет. Передали мне с воли пилки, чтобы решетку перепилить, особую серую бумагу тоже передали — закрывать перепиленные места. Пилил ночами. И, представь себе, бежал. — Марцин коротко засмеялся. — В ненастную холодную ночь. А на мне одно белье, да еще кожу на спине разодрал, за распиленную решетку зацепился, когда прыгал вниз. Весь кровью залился. Спасибо, товарищи под стеной тюрьмы ждали.

— А дальше? — нетерпеливо спросила Роза.

— Дальше? Переправили меня в Швейцарию, встретил там интересных людей, поляков... Роза, подойди-ка. Слово разобрать не могу.

— «...привилегией»,— прочитала Роза. — «Наука не может быть привилегией избранных».

— Понятно. — Марцин опять склонился над печатным станком. — Из Швейцарии — в Польшу, сюда, в Варшаву. Фу! Кажется, все, набор готов. Сейчас передохнем и будем печатать.

Марцин возбужденно прошелся по комнате, потягиваясь и разминаясь. Заглянул в тумбочку у кровати.

— Пусто,— виновато и огорченно сказал он. — Сейчас бы чего-нибудь перекусить.

— А вы... — Роза смутилась — ...вы завтракали?

— Честно говоря, нет. — Каспшак тоже смутился. — Если уж совсем честно, не ел два дня.

— Как же так? — ахнула Роза.

— Понимаешь, на жизнь я зарабатываю урывками; то ночью на вокзале грузчиком подряжусь, то... Короче говоря, на последние деньги пришлось купить вот краски, бумаги.

— Это безобразие! — возмутилась Роза. — Так относиться к себе. — Она уже рылась в своей сумочке. — Вот у меня есть немного мелочи. Где тут можно купить?

— Давай лучше я. — Марцин без церемоний ссыпал мелочь в ладонь.— Есть лавка за углом. У меня с женой хозяина контакт, а сейчас она за прилавком стоит. Дверь за мной — на оба засова.— Он уже спешил к выходу...

Скоро Марцин Каспшак и Роза Люксембург пили крепкий ароматный чай с теплыми булками, ливерной колбасой и сливочным маслом.

— Теперь вы будете сыты каждый день,— строго сказала Роза. — Я об этом позабочусь.

— Буду весьма признателен,— с полным ртом сказал Марцин. — Понимаешь, часто я просто забываю позаботиться о пище. — Он засмеялся. — Как русские говорят? Будет день — будет хлеб.

— По сегодняшнему дню этого не скажешь,— заметила Роза.

— Как это не скажешь? Смотри! — Каспшак показал на стол с булками, колбасой и маслом. Над чашками чая поднимался парок.

Оба рассмеялись.

Потом Роза убирала со стола, а Марцин быстро расхаживал по комнате, говорил:

— Почему я не спешу с объединением всех кружков? Надо проверить людей в деле. Кто на что способен. Пусть нерешительные и случайные отсеятся уже сейчас. А дел будет много: мы начнем с листовок и прокламаций, попробуем организовать несколько стачек. Проба сил, Роза... Необходимо наладить постоянный контакт с эмигрантским центром в Швейцарии и с Россией: пересылка людей, литературы. На каналах связи нужны свои люди. Пока, к сожалению, чаще всего приходится пользоваться услу-

гами контрабандистов. И будет много конспиративной переписки. Она и сейчас идет. Ведем мы ее шифром. Помоему, придумали здорово: у нас двойной шифр; если даже полиция перехватит, тут академик нужен, чтобы расшифровать. Сейчас я тебе покажу. Впрочем, нет,— остановил себя Марцин.— Давай все делать последовательно. Сначала отпечатаем листовки. — Он уже стоял у печатного станка. — Иди сюда, будешь под пресс подкладывать листы...

...Для Розы началось необыкновенное время: она была рядом с Марцином Каспшаком, помогала ему, где могла, следовала за ним, и этот человек изумлял ее все больше. Он буквально сгорал в опасной, напряженной работе, которая в любой момент могла обернуться арестом и судом, он успевал везде: ночью печатал листовки и прокламации; рано утром спешил на рабочие окраины и встречался там со множеством людей; днем исчезал куда-то и возвращался со свертками нелегальщины, выступал на собраниях, спорил в студенческих кружках... Он спал три-четыре часа в сутки, ел на ходу и был неизменно бодр, весел, целеустремлен, успевал шутить, был в курсе всех варшавских событий, расшифровывал письма из Женевы и тут же отвечал — сложнейшим шифром. Только на несколько минут — если они выпадали — он садился на стул, закрывал глаза, расслаблялся... Роза смотрела на его бородатое выразительное лицо и испытывала непонятный трепет, даже страх: ей казалось, что и через закрытые веки он следит за ней. Было в лице Марцина Каспшака что-то отрешенное, фанатическое.

Часто он говорил ей:

— Мы добьемся цели в единственном случае: когда все, буквально все будет ей подчинено. Тебе, Роза, в начале пути надо уяснить это до конца: все подчинено нашей цели — построению нового, социалистического общества. Жизнь, смерть, любовь, интересы близких, все блага и

удовольствия, которые люди напридумывали... — В его глазах вспыхивал лихорадочный блеск. — И никаких компромиссов.

...С февраля 1888 года неоднократно встречались кроненбергцы во главе с Кульчицким и Щепаньским с Адамом Домбровским (их познакомил Юлиан Мархлевский) и с Марцином Каспшаком. Шли переговоры о совместных действиях. И первые результаты скоро сказались: вспыхнуло несколько забастовок, состоялась большая стачка столяров Варшавы, на самых крупных текстильных предприятиях были созданы профсоюзы; листовки и прокламации, призывающие к борьбе с существующим строем, широко распространялись на фабриках и заводах; среди рабочих, студентов, учащихся гимназий создавались все новые кружки самообразования, работу которых, казалось, незримая рука направляла в социалистическое русло.

Зашевелилась полиция.

...Началась весна 1888 года. Пасмурным теплым днем на улице Ставки в квартире рабочего-кожевенника Шляковича, друга Марцина Каспшака, состоялось нелегальное собрание представителей различных социалистических кружков и групп. Были здесь Юлиан Мархлевский, Адольф Варский, Казимеж Щепаньский, Людвик Кульчицкий и другие кроненбергцы, был здесь Адам Домбровский со своими товарищами и еще несколько делегатов от рабочих кружков.

Рядом с Розой стоял Станислав Бжезовский, сильно исхудавший, с запавшими, воспаленными глазами.

— Итак, друзья,— сказал в наступившей тишине Марцин Каспшак. — Час пробил! Сегодня мы провозглашаем создание нашей организации и даем ей название «Социально-революционная партия «Пролетариат»! То есть мы возрождаем тот «Пролетариат», который был создан Варыньским!

Роза увидела, что Станислав Бжезовский хотел что-то сказать, но потом усилием воли остановил себя...

Создание организации «Пролетариат», вернее, возрождение ее было провозглашено.

Однако все лето шли споры вокруг устава и программы организации. Особенно вокруг программы... И так продолжалось до осени.

Однажды, в начале сентября, ядро «Пролетариата» собралось снова на квартире Шляковича.

— Пора поставить точку! — сдерживая раздражение, сказал Марцин Каспшак. — Мы не можем целенаправленно действовать без четкой программы. А суть ее — распространение марксистской литературы, призыв к совместной борьбе польских и русских пролетариев с самодержавием. И конечная наша цель — социализм...

— Прошу слова! — выступил вперед Станислав Бжезовский. — Итак, ближайшая программа действий... Если опять будет говорильня, споры, призывы к демонстрациям, опять бессмысленная трата времени и сил...

— Нет! — перебил его Людвик Кульчицкий.— В последнее время я дважды был в Париже, встречался там с Александром Дембским, членом заграничного центра «Второго Пролетариата». Он горячо поддерживает тактику террора...

— Браво! — вырвалось у Бжезовского.

— Более того,— перешел на шепот Людвик.— Мы вместе с русскими товарищами планируем покушение на царского министра просвещения Делянова... Все антидемократические и русификаторские акции в Польше в области культуры — его рук дело. И... — Кульчицкий помедлил,— ...намечено покушение на генерал-губернатора Гурко!

В комнате поднялся шум.

Роза взглянула на Марцина Каспшака — лицо его потемнело, обострились скулы.

— Тише! Тише, друзья! — Кульчицкий поднял руку; стало тихо. — Это еще не все. В Париже я познакомился с русской революционеркой Софьей Гинзбург, представительницей «Народной воли», которая, уверяю вас, не разгромлена окончательно! — На лбу Людвика выступили капли пота. — Так вот... Есть общий план: совершить два покушения на царствующих особ: на Александра Третьего и на Вильгельма Второго...

— Правильно! — перебил Станислав Бжезовский, и Роза увидела, что его бледное лицо свела судорога.— Пусть Вильгельм собственной жизнью заплатит за чрезвычайные законы против социалистов и за преследования поляков в Познаньском княжестве!

Опять поднялся шум, и тут его перекрыл властный голос Марцина Каспшака:

— Я категорически против тактики террора! И, думаю, не один я!

«А я?» — в смятении подумала Роза.

— Что до сих пор дал террор и «Народной воле», и «Пролетариату»? — продолжал Каспшак. — Ничего, кроме виселиц! Мы только возродили организацию, только что пришли к первым успехам...

— Эти успехи,— яростно перебил Бжезовский,— капля в море, черепашьи шаги к цели! А мы можем сделать стремительный бросок через пропасть! Мы мгновенно добьемся цели...

— Я абсолютно не согласен с вами! — закричал Адам Домбровский. — И заявляю: рабочие, которые нам доверяют...

— Рабочих надо вести за собой! — перебил Людвик Кульчицкий.

Все повскакивали с мест, кричали, начался общий яростный спор. Роза опять увидела непримиримое, ожесточенное лицо Марцина Каспшака, и вдруг предчувствие близкой, неотвратимой беды заполнило все ее существо.

Она проснулась внезапно, и было такое ощущение, будто кто-то встряхнул ее за плечи. Сердце глухо, нехорошо билось.

«Что-то случилось,— подумала Роза, привстала с кровати, потянулась к столу, зажгла лампу. — Сколько же времени?»

Часы показывали без двадцати шесть.

Оказывается, уже утро. Как поздно стало светать. Ноябрь, осень. Пушкин любил осень. «Очей очарованье...» А ее эта пора года угнетает. Впрочем, так сказать неверно. Если ясный, звонкий день, светит солнце, стоят багряные деревья, на душе легко и празднично. А когда дождь, слякотно, низкое тяжелое небо... Как сейчас. Роза подошла к окну. Темно, запотевшие стекла; там, на дворе, монотонно шумит дождь. В такую погоду жить не хочется...

Да что это я? Дело совсем не в погоде. Устала, и нервы напряжены. Нервы напряжены до предела.

Роза посмотрела на кипу газет, сваленную прямо на пол у кровати. Вчера читала до глубокой ночи.

Все варшавские газеты кричат, вопят: кровавые покушения социалистов, невинные жертвы.

Людвик Кульчицкий, Станислав Бжезовский и их сторонники настояли на своем: применена тактика террора. Правда, на Гурко и Делянова покушения пока не организованы, нанесены удары, как сказал Марцин Каспшак, «по сошкам», и это еще хуже. В руководстве партии «Пролетариат», в Варшавском рабочем комитете сделана попытка обосновать террористические акты. Так и записано: «Чтобы стимулировать рабочие выступления».

Она вспомнила лицо прокурора в траурной рамке: старый, уставший человек, печаль в глазах.



«К черту! Печаль я придумала сейчас». Оповещение о похоронах: безутешная вдова и дети...

Роза уже быстро ходит по комнате.

Марцин Каспшак и Казимеж Щепаньский — яростные противники тактики террора. А я?

Я тоже против! Категорически и навсегда. Ошибалась «Народная воля» в своей трагической борьбе. Ошибались террористы «Первого Пролетариата». На гибельном пути Станислав Бжезовский и его единомышленники. И всю партию они могут привести к гибели.

Роза опускается в кресло. Сердце продолжает глухо и неровно биться.

Далеко в передней раздаются три коротких звонка.

«Кто-то из наших»,— с непонятным испугом, даже ужасом думает Роза.

У нее был договор с родителями — они не интересуются людьми, которые приходят к ней. Впрочем, ее друзья появлялись в квартире на улице Штацика очень редко, в самых крайних, чрезвычайных случаях — Роза оберегала от полиции и внимания властей свой дом, родителей, брата Юзефа, медицинская карьера которого стремительно поднималась вверх.

«Да, я не ошиблась: что-то случилось.— Роза быстро одевалась, собираясь открыть дверь.— И я знаю, знаю что...»

В коридоре послышались быстрые шаги, и это мог быть только Юзеф. Дверь приоткрылась:

— Роза, к тебе...— У брата был испуганный голос.

— Ты не спал?

— Нет,— сказал Юзеф.— Вчера была интереснейшая операция, надо описать по горячим следам...

— Кто там? Проси! — перебила она резко.

Юзеф исчез, и тут же в комнату вошел... Марцин Каспшак.

Сердце ее упало — раз Марцин здесь (в целях конспи-

рации это было невозможно — появление Марцина у нее),
значит, случилось непоправимое.

— Что, Марцин?..

— Спокойно, Роза, сейчас.— Он грузно опустился на стул. С полей его фетровой шляпы стекала вода.— Даю тебе десять минут на сборы.

— Но что случилось? Говори же!

— Вчера поздно вечером Бжезовский и еще трое из террористической группы совершили покушение на военного коменданта Варшавы, прямо в центре города...

— Так...— Роза почувствовала, что ей не хватает воздуха.

— Комендант жив, здоров. Отделался легким испугом. А Станислав...— И голос Марцина сорвался.— Бжезовский убит в перестрелке, один наш товарищ ранен и двое арестованы на месте.

— Станислав убит...— Горячий сухой комок застрял в горле. Роза не справилась с собой: по ее щекам текли слезы.— Бедный Станислав...

— Это не все, Роза.— Марцин Каспшак уже нетерпеливо ходил по комнате.— Ты собирайся, собирайся. Самые необходимые вещи. Надо потеплее одеться.

— Да куда надо собираться?

— Ночью арестован Щепаньский...

— Как? — ахнула Роза.— А Юлиан? Ведь Казимеж живет у Мархлевского!..

— Юлиана не взяли. Наверно, у полиции на него нет данных. Но этой же ночью арестованы еще несколько человек. А три часа назад они взяли одну из наших типографий. Эх!..— Каспшак в отчаянии махнул рукой.— Только что пустили на полный ход!.. В перестрелке убиты наборщик и жандарм. Значит, кто-то из арестованных при покушении дает показания. Роза, в любой момент полицейские могут быть здесь. Поэтому — быст-

рее! Все бумаги, которые раскрывают нас,— уничтожить.

— И куда я? — беспомощно спросила Роза.

— Пока отправим тебя под Седлиц, извозчик за углом. Поживешь на лесном хуторе, там наш человек. Что дальше — решим. Быстрее, Роза, быстрее!..

Через десять минут Роза приоткрыла дверь и тихо позвала:

— Юзеф!

Брат появился сейчас же. Роза стояла перед ним в пальто и осенней шляпе. Марцин Каспшак легко держал в руке небольшой чемодан.

— Куда вы собрались? Что происходит? — На лице Юзефа было смятение.

— Тихо, Юзя.— Роза посмотрела в темную глубину неосвещенного коридора.— Что они?

— Мама, кажется, спит. Отец ходит по своей комнате.

— Мне надо уехать, Юзя. На некоторое время. Если нагрянет полиция...

— Что? — перебил Юзеф.— Полиция?

— Да, полиция,— спокойно сказала Роза.— Скажешь, что я ночую у подруги. У какой — не знаешь.

— Родителей успокойте,— добавил Марцин Каспшак.— Роза в полной безопасности. Вы будете в курсе всех ее дальнейших дел. И просьба к вам, Юзеф...— Они стояли в дверях, Марцин посмотрел в комнату. Там на полу в кучу были свалены бумаги, газеты, брошюры.— Все это надо сжечь. Немедленно, сейчас же.

— Хорошо...— прошептал Юзеф.— Но... но сначала я провожу вас.

— Нет, Юзя, не надо,— тихо сказала Роза, и голос ее дрогнул.— Простимся здесь.

Они молча обнялись.

...На дворе уже начинало светать. На Розу налетел резкий, холодный ветер, пропитанный влагой. Но холод-

но не было. Наоборот, хотелось подставить разгоряченное лицо этому ветру.

За углом стояла пролетка: понурая лошадь, застывшая фигура извозчика, завернутая в рогожу, по которой барабанил дождь. И по поднятому кожаному верху тоже стучал, скребся дождь.

Они устроились в глубине возка, там был овчинный тулуп, и Марцин укутал в него Розу.

Но ей почему-то было жарко и — вот странно! — не хватало воздуха, и немного кружилась голова.

— Трогай! — прозвучал, показалось ей, издалека голос Марцина.

Четко и мелодично застучали лошадиные подковы в пустой мокрой улице.

Непонятный звон родился в ушах, и вдруг захотелось спать — сон, как нечто живое, желанное, теплой тяжестью наваливался на нее.

— Я посплю немного,— сказала она виновато.

— Поспи,— приплыл издалека голос Марцина.— Ты перенервничала. Это хорошо — поспать сейчас. Спи, путь нам предстоит дальний.

Но последних слов Марцина Каспшака Роза уже не слышала — она провалилась в глубокое темное забытье.

...Старый Эдвард Люксембург в эту ночь уже давно проснулся и все слышал: как коротко трижды позвонили у парадной двери (так звонили только «ее друзья»), как быстро прошел по коридору Юзеф и кого-то впустил. Он слышал неясные голоса, движение, через какое-то время хлопнула дверь и стало тихо.

Эдвард отправился в комнату Розы,— там, у груды бумаг, газет и тощих книжек, потерянно стоял Юзеф.

— Что происходит? — спросил старик, чувствуя, что ноги его подкашиваются.

— Роза вынуждена скрыться,— прошептал Юзеф.— Сюда может нагрянуть полиция. Поэтому...— Он пока-

зал на бумажную груду.— Это нужно немедленно сжечь. Отец, ты представляешь... Если станет известно в клинике профессору Вахрушину...

— Не превращайся в подлеца, Юзеф! — резко прервал он сына.— Давай все это на кухню! И тихо, лучше, чтобы Лина не видела.

Они едва успели сжечь в плите последние листы, исписанные мелким убористым почерком Розы, когда в передней раздался требовательный звонок, потом в дверь посыпались удары кулаком, и энергичный голос сказал:

— Именем закона! Полиция!

— Я открою,— сказал старый Эдвард, сам немало удивившись своему внезапному спокойствию, и повернулся к Юзефу: — Пойди к матери, скажи, что с Розой все в порядке.

Неторопливо открывая дверь, Эдвард думал: «Все-таки есть судьба».

Вошли трое: два полицейских и один в штатском, молодой, с бледным лицом, на котором не было ничего примечательного, кроме багрового шрама возле левого уха.

— Нам нужна пани Роза Люксембург,— спокойно сказал молодой человек в штатском.

Эдвард не успел ответить, его опередил Юзеф, появившийся в передней:

— Роза сегодня не ночевала дома. С вечера ушла к подруге и сказала, что останется у нее.

— Кто эта подруга, она, конечно, не сообщила? — Молодой человек усмехнулся.

— Да, не сообщила,— ответил Юзеф.

— Разумеется.— Молодой человек внимательно смотрел то на Юзефа, то на Эдварда.

«Странные глаза,— подумал старик.— Никогда раньше не встречал таких: в них нет зрачков, они утоплены в темно-коричневой массе».

— Проводите нас в ее комнату,— последовал спокойный, но категорический приказ.

— Юзеф, проводи.

Полицейские пошли за Юзефом, громко топая сапогами. Молодой человек шел последним, совсем бесшумно, и Эдвард заметил, что он едва заметно волочит левую ногу.

Старик двинулся следом, однако остался в темном коридоре и, невидимый пришельцами, мог наблюдать за всем, что происходит в Розиной комнате.

Там начался обыск. Полицейские мигом перевернули все вверх дном, похоже, ничего их интересующего не обнаружив.

Молодой человек в штатском сидел на стуле, задумчиво наблюдая, как полицейские со знанием дела потрошат перину. Потом он повернулся к Юзефу:

— Наверно, ушла у нас из-под носа, а, пан Юзеф? Обидно, обидно... Я все-таки полагаю, что далеко не уйдет.— Он помолчал и продолжал, даже сочувственно: — Такая уважаемая семья, а младшую дочь упустили.

Полицейские громили книжный шкаф, на пол летели книги — Шиллер, Пушкин, Мицкевич...

Темная ярость поднималась в Эдварде Люксембург.

В это время мимо него быстро прошла Лина — он не успел задержать ее,— заглянула в Розину комнату, и рыдание сотрясло старую женщину.

Юзеф увел мать и тут же вернулся.

На пол тяжело падали книги...

Старый Эдвард не сдержался: он шагнул вперед и, встав в открытой двери, сказал Юзефу:

— Надеюсь, Роза умнее этих мерзавцев и уже далеко отсюда.

Ничего не отразилось на лице молодого человека, он продолжал невозмутимо сидеть на стуле, даже не повер-

нув головы в сторону Эдварда. Потом сказал без всякого выражения:

— Прекращай, Соболев! Скорее всего, дело дохлое. Опоздали. Однако останешься здесь... Скажем, до трех дня. Подождешь, пока пани Роза вернется от подруги.— Он опять усмехнулся.— Впрочем, ты здесь скорее дождешься второго пришествия, чем нашей подпольщицы. В три тридцать отправляйся домой. Тут уж все было подготовлено...— Молодой человек посмотрел на разгромленную комнату.— ...для нашего прихода.

Агент в штатском и один полицейский ушли. А тот, кто был назван Соболевым, промаялся весь день в передней в кресле и в три тридцать, сказав неизвестно кому: «Ну и собачья должность», тоже ушел.

13

...Жаркое, ослепляющее солнце стояло над головой, и было такое ощущение, будто огненный шар спускается на нее, все сильнее опаляя огнем. Но огонь был живительным, желанным. Хотелось раствориться в солнце и его сияющем свете. Потом, странным образом, она ощутила себя маленькой девочкой, на берегу Топорницы. Мокрая земля под ногами, ромашковый луг, цветы расплываются перед глазами на ярко-оранжевом шаре солнца. А солнце рядом: кажется, протянешь руку — и можно до него дотронуться.

— Не надо этого делать, детка,— ласковый, молодой голос матери.— Обожжешься.

Правда, жарко, душно, нечем дышать...

Она, маленькая девочка, тянется к вороту платья.

Ну вот, теперь легче. Даже холодно.

Холодно, холодно!..

Лица касается прохладная влага. Дождь. Разве может быть дождь, когда светит солнце? Дождь на берегу

Топорницы. Шумит в листве старых ракит с темными треснувшими стволами.

— Проснись, проснись, Роза! — говорит кто-то.

Как остро, свежо пахнет мокрыми листьями от ракит!

— Проснись, Роза! — Марцин Каспшак встряхивает ее за плечи.

— Да она вся горит! — женский испуганный голос.

Роза открывает глаза...

Опущен верх извозчичьей брички. Прямо перед ней мокро лоснится круп пегой лошади. Резко пахнет лошадиным потом, ошеломляюще, густо пахнет землей, прелыми листьями, грибами.

Роза откидывает полу овчинного тулупа, хочет встать, но горячий толчок в голову опрокидывает ее обратно, все странно плывет мимо: круп лошади, близкая гряда леса, окутанная яростными осенними красками, испуганное лицо Марцина Каспшака, незнакомая молодая женщина с темной шерстяной шалью на плечах.

— Вставай, Роза, мы тебе поможем,— ласково говорит Марцин.

Ее ведут по тропинке, засыпанной желтыми листьями клена. Осенний лес со всех сторон, шорох дождя. Несколько строений под соломенной крышей, высокий плетень из березовых жердин...

На цепи рвется, вставая на дыбы, огромная рыжая собака, исходит хриплым лаем.

Мы с тобой подружимся, псина. Жарко. Кажется, в груди раскаленное железо.

— Что со мной, Марцин?

— Ничего, Розочка.— Он не может скрыть страх.— Ты немного простудилась. Сейчас... Все будет в порядке.

Чистая горница, тусклый свет из окна, пахнет мятой.

Молодая женщина помогает ей раздеться.

— Вам надо лечь, пани.

Прикосновение прохладных простыней к пылающему телу. Какое наслаждение! Сладкое полузабытье, голова тонет в пуховой подушке.

— Нужно немедленно доктора, пани Ядвига.

— Да, да... Но это только в Седлице. Сейчас я скажу Миколаю, у нас лошади быстрые.

Роза с трудом разлепляет веки — из розоватой солнечной неясности и мглы постепенно проступает лицо Марцина Каспшака.

— Это ты, Марцин... Что со мной, Марцин? Я не умру?

— Что ты! Что ты говоришь, Роза! — Он протестующе, энергично машет рукой.— Сейчас приедет доктор. А тебе лучше всего поспать.

Верно! Спать! Как хорошо спать...

Розовая мгла становится фиолетовой, все темнеет, темнеет. И начинает играть музыка. Какая знакомая музыка! Да это же вальс! Бал знакомства в мужской гимназии. Через фиолетовую мглу, которая постепенно рассеивается (просторный зал, белые колонны, огнями сверкают люстры, отражаясь в паркетном полу), к ней идет стройный и прекрасный Ежи Мрожак: «Разрешите, пани Роза!» Боже! Ведь я не умею! Но рядом легко порхает Ванда с Тадеушем Ковальским, ободряюще подмигивает ей. «Пожалуйста, пан Ежи!» И они легко кружатся по бесконечному паркетному полу — все быстрее, быстрее, быстрее! Оказывается, на Розе длинное белое платье, и легкий ветер с ромашковых берегов Топорницы подхватил его. Быстрее, быстрее!.. Сейчас они оторвутся от пола. Захватывающее чувство полета. Кружится голова, нечем дышать...

Она падает, падает в черную бездну.

И Ежи Мрожек выпускает ее из своих объятий.

В бездонной бездне, в которую она стремительно падает, возникают приглушенные голоса.

О чем говорят люди в черном, с белыми масками вместо лиц?

— Сорок один и две десятых. Температура критическая.

— Что с ней, доктор?

— Сильнейшее воспаление легких, двустороннее.

— Доктор...

— Мне ничего не надо говорить. Примем все меры. Нужна горячая вода.

— Сейчас, сейчас...

...Она пришла в сознание через сутки.

В окна глядится ясный осенний день, и деревья, одетые в пурпур и багрянец, совсем рядом. Кто-то сидит у стола, читает газету, закрывшись ее листом от Розы.

Странная легкость во всем теле, хочется пить.

— Здравствуйте!

Человек у стола быстро опустил газету. Могучая, кряжистая фигура, одутловатое лицо с бородкой клинышком, пенсне на крупном носу.

— Ну вот! И слава богу.— Он встал, вместе со стулом подошел к кровати, на которой лежала Роза, сел, взял ее слабую, безвольную руку.— Одну минуту, сударыня. Так, так... Что значит молодой организм! Кризис позади. Но полежать придется порядочно.

Роза все вспомнила.

— А где Марцин? — спросила она.

Из соседней комнаты пришла молодая женщина, стройная, строгая, с характерным польским лицом: прямой короткий нос, мягкий овал лица с чуть-чуть запавшими щеками, серые грустные глаза под черными дугами бровей, высокий лоб, светлые волосы.

— Пан Каспшак уехал рано утром,— певуче сказала она.— Неотложные дела. Обещал приехать при первой возможности. Все будет хорошо, пани Роза.— Она лас-

ково, легко провела рукой по ее щеке.— Вы у нас поправитесь и отдохнете.

— Спасибо. Если можно, попить.

— Я уже приготовила чай с малиновым вареньем.

...На маленьком хуторе в семье лесника Миколая Щацкого Роза прожила до ранней весны 1889 года.

Силы постепенно восстанавливались. Она стала выходить во двор, много гуляла по зимнему сказочному лесу. Теперь все время хотелось есть. И пробудилась жажда деятельности.

В конце декабря, вьюжным холодным вечером, приехал Марцин Каспшак. Он исхудал, осунулся, синева под глазами, Роза заметила в нем пугающую странность: при каждом шорохе или звуке он резко поворачивался, и правая рука ныряла в карман за револьвером.

Они были вдвоем в горнице. Трещали дрова в печке, уютно, успокаивающе пел самовар на столе; за стенами, во дворе, свистела метель, и, когда в окна ударял сильный порыв ветра, пламя над фитилем в керосиновой лампе вздрагивало, начинало колыхаться, и над ним возникала черная струйка копоти.

— В Варшаве повальные аресты,— нервно и подавленно говорил Марцин.— Создано «дело Щепаньского и других». По нему уже арестовано более сорока человек...

— Кто же? — перебила Роза.— Неужели все наши?

— Почти,— Каспшак угрюмо смотрел перед собой.— Арестованы Станислав Кассиош, Людвик Кульчицкий...

— А Юлиан?

— Мархлевский скрылся, сейчас он во Влоцлавеке, у отца. Варский — за границей. Их обоих разыскивает полиция.— Каспшак невесело усмехнулся.— Как, впрочем, и меня.

— Марцин! Тебе тоже надо эмигрировать! — Роза испытала мгновенный страх за своего старшего друга.

— Нет, Роза,— жестко, непримиримо сказал Каспшак.— Я останусь в Варшаве! Партия на грани гибели. Надо во что бы то ни стало сохранить ее. Среди рабочих, членов организации, тоже аресты. Но все-таки не такие густые, как среди студентов и интеллигенции. Вот на рабочих мы и сделаем ставку — там будет жить «Пролетариат». Или, возможно, мы по-другому назовем партию.

— По-другому? Почему, Марцин?

— Почему? — Он смотрел на Розу устало, напряженно.— Похоже, что среди уцелевших «пролетариатцев» назревает раскол, есть очень сильная националистическая тенденция, и в руководстве тоже разногласия по «польскому» вопросу. Нет! — Ожесточение было в голосе Каспшака,— нам с националистами не по пути! Такие дела... Приходится бороться не только с властями и полицией, но и со своими. А точнее сказать, с бывшими своими.

— В таком случае...— Роза уже в крайнем возбуждении ходила по горнице.— Я сейчас же еду с тобой, я должна быть в Варшаве!

— Нет, Роза! — непреклонно сказал Каспшак.— Пока ты останешься здесь. И это решение рабочего комитета. Нам нужна твоя голова на свободе, а не за решеткой. Кроме того...— Теперь он смотрел на нее внимательно и добро.— Надо подумать о твоей дальнейшей учебе. Нам крайне необходимы высокообразованные люди. Каждому свое...— Он усмехнулся.— Кому-то заниматься практическими вопросами, кому-то двигать вперед теорию, политически просвещать массы.

— Можно совместить одно с другим,— возразила она.

— Не будем спорить,— Каспшак поднялся из-за стола.— Мне пора. Сейчас пиши короткое письмо родителям. Отдыхай, читай, больше бывай на свежем воздухе, набирайся сил. И — жди.

...Ждать ей пришлось до ранней весны.

Марцин Каспшак приехал за ней мартовским утром. Он спешил, был нетерпелив и хмур.

— Здорова? — спросил он, внимательно рассматривая Розу.

— Абсолютно.

— Собирайся, едем!

— Куда, Марцин? — Сердце ее часто забилось.

— Послезавтра мы с тобой должны быть на германской границе. Отправляешься в Швейцарию, в Цюрих.— Он обнял ее за плечи.— Ну что ты на меня так смотришь, Роза? В Швейцарии вся наша эмиграция, а в Цюрихе — один из лучших университетов Европы. Все приготовлено, рекомендательные письма, адреса у меня. Послезавтра вечером проверенный человек ждет нас на пограничной реке. Опаздывать нельзя. Поэтому — собирайся.

— Но, Марцин, разве мы не заедем в Варшаву?

— Ни в коем случае! — резко сказал Каспшак.— В Варшаве тебя разыскивает полиция.

Через час они прощались с Ядвигой и Миколаем Щацкими. Ядвига, обняв Розу, вдруг расплакалась. Возле них прыгала, отрывисто лая, рыжая дворняга — они с Розой давно стали друзьями. Предчувствуя разлуку, огромный Гектор начал скулить, все норовил лизнуть Розу в лицо.

— Миколай,— сказал Каспшак,— я или кто-нибудь из наших через неделю привезем литературу. Сейчас не удалось.

— Да, хорошо. Я буду ждать,— ответил немногословный Миколай.

Утро было морозное, ясное, на нежно-розовом небе четко прорисовались голые озябшие деревья. Пахло снегом, березовым дымом, теплыми коровами из сарая. У плетня стояли сани, запряженные крупным мерином

шоколадного цвета. Еще лежал слегка осевший снег, прозрачные сосульки свешивались с крыш. Но уже во всем: в небе, в звонком воздухе, в голых деревьях с крохотными каплями почек на ветках, в радостно-возбужденном щебете воробьев — чувствовалось присутствие робкой весны.

Сладкая, щемящая тоска захлестнула Розу: она успела полюбить этот маленький лесной хутор и его обитателей.

— Ну, с богом!

И они поехали.

...Путь оказался сложным, трудным, со многими пересадками и предосторожностями. Роза устала с непривычки, ее не покидали мысли о Варшаве, о родном доме и родителях, но вместе с тоской, тревогой, чувством вины в ней росло, ширилось будоражущее ликование: Швейцария, Цюрихский университет, Европа! Начинается новая жизнь.

Через день, под вечер, Марцин и Роза из маленькой деревни пешком шли по проселочной дороге, рассекавшей негустой еловый лес.

Смеркалось. Тишина лежала над округой. В глубине леса одиноко посвистывала какая-то птица. Здесь было немного теплее, чем на хуторе Щацких, в северной части страны: кое-где уже сошел снег, и обнажилась земля в прошлогодней бурой траве; воздух был влажный и теплый; где-то журчала невидимая вода.

Дорога стала подниматься довольно круто вверх и скоро вывела их на взгорок. Внизу была долина реки, берега которой поросли густым кустарником. Немного в стороне от дороги стояла корчма, и в ее окнах уже светился слабый огонь, дым волнистой струйкой поднимался над трубой.

— В корчме нас ждут,— сказал Марцин Каспшак.— А за рекой — Германия. Простимся, Роза, здесь. Там,—

он махнул рукой в сторону жилья,— разговоров никаких не будет. Мы закажем еду, и к нам подсядет человек с повязкой на левом глазу. С ним ты и уйдешь из корчмы, а я останусь. Ты все запомнила? Письма, адреса — все на месте?

— Да, Марцин, да!

— Посмотри по сторонам, Роза. На какое-то время ты прощаешься с родной землей.

Мягкая линия холмов, перелески, темные ели, проселочная пустынная дорога, запах оттаивающей земли, низкое серое небо над головой, одинокая корчма. Польша... Родина...

— Еще вот что, Роза.— Лицо Марцина стало хмурым.— Есть тебе ответственное и очень важное задание. Дело в том, что члены заграничного центра нашей организации не отказались от тактики террора. Упрямы...— Страдание прозвучало в его голосе.— Да и русские тоже. И вот совсем недавно, шестого марта, произошла трагедия. Они готовили покушение на царя, сделали бомбу. Шестого марта Александр Дембский и народоволец Якуб Исаак Дембо-Бринштайн... Вот такое длинное имя. Я не знал его.

— Ну, ну? — торопила Роза.

— Они вдвоем отправились в окрестности Цюриха, на гору Петерштоль, испытать эту чертову бомбу.— Марцин помрачнел.— Произошел неудачный взрыв, и Бринштайн, и Дембский были тяжело ранены. Исаак умер, не приходя в сознание. Александр сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

— Боже мой!..— прошептала Роза.

— Это еще не все,— сказал Марцин.— Началось громкое судебное разбирательство, из Швейцарии высылаются русские и польские политические эмигранты.— Каспшак пристально взглянул на Розу.— И вот, девочка, задание: вокруг тебя, в этом я уверен, постепенно собе-

рутся наши товарищи и единомышленники. Твоя задача заключается в том, чтобы сделать все, как только в Цюрихе начнет возрождаться организация... А она возродится, я верю! — страстно прервал он себя.— Твоя задача — сделать все, чтобы с тактикой террора было покончено навсегда. Надо закопать глубоко в землю эту пагубную идею.

— Я понимаю,— сказала Роза.

— А теперь пошли! Время нас торопит.

Они подходили к корчме.

— Какое сегодня число, Марцин? — спросила Роза.

— Пятнадцатое марта.

Март, снова март...

— Десять дней назад мне исполнилось восемнадцать.— Ее голос прервался, и по щекам потекли слезы.

Марцин встряхнул ее за плечи:

— Выше голову! Вот тебе и подарок от всех нас: ты едешь в Швейцарию, в Цюрих! Учиться... Как я завидую тебе! Впереди вся жизнь, Роза! — Марцин засмеялся.— И мы победим!

Им навстречу с веселым лаем бежала черная собака с белым пятном на груди.

14

Старый Эдвард Люксембург, как всегда, проснулся в середине ночи, встал, кутаясь в халат, походил по комнате, потом сел в кресло, раскурил трубку. Часы показывали двадцать минут четвертого, окна уже посветлели.

Да, теперь рано светает: весна, апрель.

Уже больше месяца от нее никаких вестей. Роза за границей, политическая эмигрантка. Одна среди чужих людей. В конце марта на улице к нему подошел незнакомый человек и быстро сообщил эту ошеломляющую

новость: их дочь благополучно переправлена за границу. (Он так и сказал тогда: «Переправлена».) «Куда?» — задохнувшись от волнения, спросил Эдвард. Но человек уже уходил, сказав тихо: «Скоро вы все узнаете. Она вам напишет».

Вечером того дня за ужином они с Линой и Юзефом пришли к общему выводу: это самое лучшее, что может быть. «Главное,— говорил он заплаканной Лине,— она вне опасности».

И больше месяца никаких вестей...

Трубка давно погасла. Эдвард выбивает пепел в морскую раковину, тянется к табакерке на столе, но в это время в передней звонит звонок. Дворник Антони. Принес газету. Что-то рано сегодня.

Торопливые шаги в коридоре.

— Элиаш! Элиаш! — В комнату врывается Лина. За ней — заспанный Юзеф.— Письмо! От Розы!.. Нашему Антони передал какой-то человек.

Продолговатый плотный конверт без адреса и марок. Написано коротко: «Люксембургам».

— Да читай же скорей, Элиаш!

Он опускается в кресло, дрожащими пальцами разрывает конверт.

Такой родной почерк, убористый, волевой, нетерпеливый. Письмо короткое.

«Мои дорогие! — читает Эдвард.— Все в порядке! Я в Цюрихе. Устроилась прекрасно. Вокруг меня друзья. Намереваюсь готовиться в университет. Обо всем подробнейше напишу в следующем письме. Завтра или послезавтра. А сейчас нет и минуты свободной. Иду с друзьями в полицейский участок, надо все решить с паспортом и прочими формальностями. Деньги пока есть, а там видно будет. Пишите мне по адресу: Нелькенштрассе, пять, Цюрих, Швейцария. Да здравствует жизнь! Всех целую. Ваша Роза».

— Все? — прошептала Лина.

— Все...— сказал Эдвард.— И прекрасно! Прекрасно! — Он вдруг почувствовал, как непомерная тяжесть, давившая его последние годы, падает с плеч.— Вот настоящая наука и отвадит ее от политики.

— Я тоже так думаю,— не очень уверенно сказал Юзеф.

Лина улыбалась мужу и сыну сквозь счастливые слезы.

— Надо послать ей денег,— сказала она.— Можно заложить мое колье. Я все равно не ношу его...

Часть вторая

В ШВЕЙЦАРИИ

> ...Если мне когда-нибудь захочется снять с неба пару звезд, чтобы подарить их кому-нибудь на запонки, то пусть не мешают мне в этом холодные педанты и пусть не говорят, грозя мне пальцем, что я вношу путаницу во все школьные астрономические атласы.
>
> *Роза Люксембург*

1

В шесть часов вечера 7 мая 1892 года на окраине Цюриха в огромном недостроенном здании угольного и дровяного склада должна была начаться репетиция студенческого симфонического оркестра. Другого подходящего помещения молодые музыканты снять не могли: не позволяли средства, было вообще трудно договориться с владельцами концертных залов, избалованных контрактами со знаменитостями. Это помещение, гулкое, погруженное во мрак, с длинными, во все стены, окнами, во многих из которых еще не было стекол, обнаружили случайно: на него, уже отчаявшись, набрел Отто Кун, студент третьего курса Цюрихского политехнического института, который дирижировал студенческим оркестром. Хозяином склада оказался некто Казимиж Лисовский, загорелый бородатый старик, холостяк, рыболов, страстный любитель музыки. И когда он узнал, что оркестр студенческий и много среди музыкантов его земляков поляков, когда Отто Кун, почувствовав, что его слушают внимательно и даже сочувственно слушают, поведал, как им приходится мыкаться с репетициями — то свободный актовый зал института, то пустая аудитория, то дальний угол университетского сада — и что всюду гонят,

а первый концерт назначен на 15 мая, Казимиж Лисовский, сильно хлопнув по плечу щуплого дирижера могучей рукой, сказал:

— Все! До пятнадцатого мая склад ваш. Как раз на две недели остановил работы, с материалами задержка. И — никакой платы! Я тоже был студентом, юноша!

И вот — первая репетиция в «арендованном» помещении на целых две недели, никто не будет подгонять, заглядывать в двери, многозначительно показывать на уши.

Уже за полчаса до назначенного времени весь оркестр был в сборе, музыканты раскладывали ноты, тихо переговаривались, слегка поеживаясь от весеннего сквознячка, который гулял по складу; однако царило приподнятое, праздничное настроение; Отто Кун именинником прохаживался между своими оркестрантами. Он сказал:

— Сегодня у нас на репетиции будут присутствовать двое. Видите два стула? — Действительно, в центре склада сиротливо стояли два стула со спинками, обтянутыми бордовым плюшем.— Прошу не обращать на слушателей никакого внимания. И в то же время знайте: мы играем для них. Прежде всего — для нее. Наша репетиция — подарок юной особе.

В это самое время около склада появилась молодая девушка в длинном платье, в шляпке с вуалью, опускавшейся на смуглое лицо; однако и через паутинку вуали мерцали большие оливковые глаза, прядь темных волос падала на высокий лоб. В руках девушка держала небольшую сумку, на плечах небрежно лежала шерстяная накидка с тирольским орнаментом; девушка была явно возбуждена, нетерпелива — она ждала кого-то, оглядываясь по сторонам.

Впрочем, ее ожидание было недолгим: из-за угла появился молодой человек в черной торжественной тройке, высокий, подтянутый, с бледным, нервным, немного про-

долговатым лицом, которое обрамляла аккуратная черная борода, маленькие усы были закручены на концах; высокий лоб, темно-карие жаркие глаза под черными бровями; пластичность, артистизм, непринужденность были во всем его облике; в левой руке он держал три красные розы.

Они увидели друг друга, молодой человек побежал к ней, они встретились в коротком объятии, и столько порыва и трепета было в нем, что пожилая женщина, которая шла по противоположной стороне улицы, остановилась и смотрела, смотрела, не в силах оторвать от них взгляда, невольно вслушиваясь в непонятную, быструю польскую речь.

— Ну, Рузя... Все хорошо, да? Ведь не могло быть иначе...

— Конечно. Вот, смотри.— Она достала из сумки глянцевый плотный лист бумаги с гербом Швейцарии наверху.— Торжественно вручено в ректорате. Свидетельство. С сегодняшнего дня я официально зачислена в Цюрихский университет на факультет общественно-политических наук. Вручено сенатом университета и самолично ректором.— Она засмеялась и прочитала: — «От имени цюрихского народа и его высокого правительства студентке Розе Люксембург из Варшавы, Русская Польша, изучающей философию, предписывается учиться с усердием и рвением». Каково?

— Поздравляю, Рузя! — Молодой человек поцеловал девушку в щеку.— Это тебе.

— Лео, милый! Розы!.. Где ты достал в мае розы?

— Подожди. Мой главный подарок впереди. Идем! Только ни о чем не спрашивай. Ты все поймешь сама. Скорее, мы опаздываем...

...Полумрак, ощущение большого пространства вокруг; сыроватый влажный воздух; хаотичные, резкие звуки самых разных музыкальных инструментов и голос скрип-

ки слышит Роза. Но непонятен, невидим источник этих звуков.

— Лео... Куда ты привел меня? — шепчет она.

— Садись вот здесь.— Он усаживает ее на стул с мягкой спинкой.

Глаза привыкли. Огромное помещение. Впереди, в таинственной неопределенности,— оркестр. Неужели оркестр?.. Белые листы нот, их освещают свечи, которые зажигаются одна за другой... Ветерок колышет зыбкое пламя, шатаются по сторонам причудливые тени. Какофония звуков.

— Что это, Лео? Мне немного страшно.

— Сейчас, Рузя, сейчас. Помолчим.

Отто Куп поднял дирижерскую палочку.

Мгновенно стало тихо.

— Итак, друзья! Начнем с Моцарта. Реквием, первая часть.

Дирижерская палочка взлетела над бездной.

— Лео! Спасибо... Как ты узнал?

— Ты забыла, Рузя. В тот день, в тот памятный день ты сказала мне... Вернее, спросила: «Это ущелье похоже на Реквием Моцарта, правда?»

— Да, да! И ты ответил: «Не знаю».

— Потом ты сказала: «Моцартовский Реквием — мое любимое произведение».

— И вдруг пошел дождь.

— Ну вот, ты все вспомнила.

— Я никогда не забывала тот день, Лео.

Сквозняк колыхнул язычок свечи, и на мгновение осветилось вдохновенное лицо Отто Куна.

...Горный обвал, вихрь и смерч неумолимо надвигались на чью-то судьбу, на человека, который не хотел, не хотел умирать... Как печально расставаться с миром, где дождь шелестит в деревьях, туманы плывут над лугами, прозрачная соленая волна набегает на песчаный

берег и чьи-то узкие следы оставлены во влажном песке... Неужели неумолимо расставание с солнцем, с шумом дождя, с запахом свежего сена, с косогором, по которому стелется ковер ромашек? Можно идти, идти по этому косогору, и ромашки будут осторожно касаться ног. Потом упасть в траву, смотреть в бездонное небо, где еле заметной точкой плавает одинокий ястреб.

Великая музыка сотрясала полуосвещенный дровяной склад. Роза незаметно взглянула на молодого человека, который сидел с ней рядом. «Господи! Это ты послал мне его?..»

28 июня 1890 года Роза запомнила навсегда. В тот день она занималась в библиотеке университета. Древняя история. Развал Римской империи. Вечные страсти, войны, раздоры сотрясают человечество. Неужели так будет всегда? Отец говорил: таков человек, и надо переделывать его, а не мир. «Познай самого себя...»

Кто-то тронул ее за плечо. Роза обернулась. Перед ней стоял Игнаций Дашиньский, студент естественного факультета Цюрихского университета, стройный, подтянутый, с тонкими шляхетскими усиками, крайне возбужденный. Они были знакомы, их объединяла общая борьба, хотя во многом их взгляды расходились, прежде всего в вопросах о ближайшем будущем Польши.

— Роза,— зашептал на ухо Игнаций.— Выйдем в коридор.

Они тихо покинули зал, наполненный шелестом страниц, остановились у широкого окна, за которым стояли старые деревья университетского сада, окутанного зелеными облаками.

— Ты знаешь, что царь разрешил перевезти останки Адама Мицкевича из Франции с кладбища Монморанси в Краков и там похоронить?

— Как?! — только и могла выговорить Роза.

— Да! Державный жест. И сегодня специальный вагон с гробом поэта...— Дашиньский спешил, захлебывался словами,— ...остановится в Цюрихе. Его сопровождает польская делегация, в ней Владислав Мицкевич, сын великого поэта, и еще куча всяких знаменитостей. Польской колонии в Цюрихе разрешено отдать почести. И, понимаешь, наша аристократическая молодежь поклялась взять в свои руки все торжества и не допустить рабочих-социалистов и русских. Адам Мицкевич, видите ли, принадлежит им!

— Это мы их не допустим к почестям,— сказала Роза, чувствуя, что бледнеет от волнения.

— Вот именно! — Игнаций сжал руку Розы.— Я уже кое-что предпринял, вызвал группу польских металлистов из Винтертура, ребята они крепкие, оттеснят наших аристократов. И от нас скажет речь, знаешь кто? Мархлевский!

— Юлиан в Цюрихе?! — воскликнула Роза. Она знала, что Мархлевский уже несколько месяцев в Швейцарии, как и она, бежал от преследования жандармов, но увидеться им еще не удавалось: Мархлевский был в постоянных разъездах или пропадал в Женеве, где работала их типография.

— Юлиан только что приехал и в курсе всех событий,— сказал Дашиньский.— Но это еще не все. В вагоне с гробом Мицкевича... Это спальный вагон первого класса, ведь публика едет вельможная, мы собираемся провезти через границу большой транспорт социалистической литературы. И есть человек, который взялся его сопровождать, разработав план, как это сделать. Некто Лео Иогихес. Удивительный парень. Правда, весьма неразговорчивый, может быть, потому, что плохо владеет польским языком, но дело свое знает. Больше он сотрудничает с русскими, с Плехановым. Но — согласился помочь.

Я побежал. Нужно еще многих предупредить. Не забудь, Роза: в пять вечера на станции.

— Как я могу забыть?

Сколько потрясающих новостей сразу! Гроб с останками ее любимого поэта возвращается на родину!.. А ей закрыта дорога в Польшу. Юлиан здесь. Наконец-то увидимся! Многое надо сказать друг другу! Интересное имя: Лео Иогихес...

В половине пятого она уже была на станции, возле железнодорожной ветки, на которой стоял вагон темно-коричневого цвета, с окнами, задернутыми шторами. У входа в вагон трепетали на ветру два польских национальных флага. Дверь была открыта, и виднелся край цинкового гроба, который опоясывала траурная лента из черного бархата. У Розы комок подступил к горлу: Адам Мицкевич, национальная гордость Польши, поэт, на стихах которого росло ее детское и юношеское сознание, возвращается в Краков. Это он бросил в ее душу первые семена жажды свободы и равенства.

Рядом с вагоном был наскоро сооружен деревянный помост, на нем несколько человек. И среди них — Юлиан Мархлевский, похудевший, с коротко постриженной бородой, в летней темно-серой тройке.

«Значит, все в порядке»,— подумала Роза и увидела, что помост тесным кольцом окружили рослые парни («Металлисты из Винтертура»,— поняла она); за их спинами негромко переговаривались, и Роза среди собравшихся сразу выделила студентов-поляков, главным образом детей из аристократических семей, ее постоянных оппонентов в спорах; они стояли отдельно, плотной кучкой. Розу заметил Игнаций Дашипьский, замахал ей рукой, что-то шепнул одному из парней. Она протолкалась вперед, ее пропустили через кольцо оцепления, и Роза оказалась рядом с Игнацием, у самого помоста.

— Выступать будут только наши! — радостно шепнул ей Дашиньский.— Этих,— он кивнул в сторону аристократов,— мы даже не подпустим к гробу.

И тут стало тихо.

На помосте вперед вышел представительный господин, высокий, широкоплечий, статный.

— Кто это? — спросила Роза.

— Министр Дроз,— тихо ответил Игнаций.

Речь господина министра была короткой, патетической, обтекаемой, в меру патриотичной, с реверансом в сторону русского царя за «столь чуткое понимание национального чувства», за «мудрое решение, скрепляющее единение двух народов...». И так далее и тому подобное. Выступление Дроза слушали в вежливом скучноватом молчании.

Вторым говорил Юлиан Мархлевский.

Роза вся подалась вперед...

— Да, Адам Мицкевич — великий польский поэт, и благодаря усилиям поляков сегодня он возвращается на родину, к своему народу! — Аплодировали все, а националисты, пожалуй, громче всех.— Мицкевич в своем могучем творчестве воплотил лучшие черты польской нации: ненависть к рабству, яростное стремление к свободе, самоотверженность, пылкое умение быть верным в дружбе и любви...— Голос Юлиана набирал силу.

— Слава!

— Слава! — закричали со всех сторон.

— Еще Польска не сгинела!

Мархлевский поднял руку, и снова стало тихо.

— Но Адам Мицкевич, как все великие поэты, принадлежит всему миру. Потому что ненависть к рабству — это естественное свойство каждого человека, осознавшего себя гражданином людского сообщества! Потому что свобода — это прекрасный идеал всех честных людей на земле! Вот почему творчество Адама Мицкевича сегодня

не безразлично международному рабочему классу и его передовому отряду — социал-демократии Европы!

— Браво, Юлиан! — закричала Роза.

— Долой! — закричали в толпе националистов.

Юлиан говорил... Потом от русских выступил студент Петров, яркую речь произнес болгарин, фамилию которого Роза не расслышала. Ей было ясно одно: этот торжественный митинг прошел под их лозунгами. Розу только удивило нахмуренное, напряженное лицо Игнация Дашиньского, которое несколько раз мелькнуло перед ней. Чего это он?

...Через день в маленьком студенческом кафе за столиком у окна сидели трое: Роза Люксембург, Юлиан Мархлевский и Игнаций Дашиньский. Игнаций пришел позже, Роза и Юлиан успели обо всем поговорить: дела в Польше (неважные дела: идут беспрерывные аресты), общие знакомые (Марцин Каспшак собирается переехать на время в Германию); Юлиан передал Розе записку от брата Юзефа: отец плох, все время болеет, замучил кашель...

Роза, тяжело задумавшись, представила свой покинутый дом, отца в прокуренной комнате, шаги матери по коридору...

Как раз в это время пришел Игнаций Дашиньский, нервный, хмурый, сел к столику и сразу бросился в атаку:

— Юлиан! Мы от тебя этого не ожидали!

— Чего именно? — спокойно спросил Мархлевский.

— Так блестяще начал свою речь... А потом? Ты оскорбил национальные чувства поляков! Кстати, в Лондоне уже известно о твоей... скажем так, концепции. Нет, мои дорогие! — В голосе Дашиньского было ожесточение.— Нашего Мицкевича мы международному, как вы требуете, пролетариату не отдадим!

Сейчас Розе не хотелось спорить. Мархлевский тоже

молчал: ему предстояло скорое возвращение в Варшаву — ждали неотложные дела и заботы в его «Союзе польских рабочих».

Ни Роза, ни Юлиан не знали в тот день, что слова, сказанные сейчас Игнацием Дашиньским, таят в себе семена скорого разрыва, образования двух партий в польском рабочем движении, семена непримиримой борьбы, на которую уйдут многие годы...

— Ты лучше расскажи,— сказала Роза,— все удалось с провозом литературы? Как план этого Лео Иогихеса?

Лицо Дашиньского просветлело. Он начал рассказывать.

И Роза зримо представила, как все это было тогда...

...Поезд, в конце которого прицеплен вагон с гробом Адама Мицкевича, останавливается на первой маленькой станции.

К вагону подкатывает роскошная карета, запряженная двумя лошадьми вороной масти. Из кареты выходит блестящий молодой офицер, подполковник.

— Господа! Я от властей моей страны буду сопровождать вас до места назначения. А это — мой багаж.

Два жандарма переносят в свободное купе несколько тяжелых чемоданов.

На пограничной станции к вагону идут швейцарские пограничники и таможенники.

В тамбуре вагона появляется подполковник. Пограничники почтительно козыряют ему.

— Господа, господа! — на чистейшем французском языке говорит подполковник.— Вы, очевидно, знаете, кто следует в этом вагоне...

И пограничники, и таможенники «знают», однако они выслушивают краткое пояснение офицера с еле уловимыми нотками негодования и, извинившись, удаляются, даже не заглянув в вагон.

Члены польской делегации благодарят офицера.

Поезд следует дальше и скоро останавливается уже на немецкой пограничной станции. К вагону идут немецкие таможенники и пограничники.

Все повторяется, как по нотам:

— Господа! Господа! — на чистейшем немецком языке говорит офицер.— Вы, очевидно, знаете...— И так далее.

И еще раз повторяется на немецко-русской границе, когда в вагон пытаются проникнуть представители власти кайзеровской Германии.

В Польше вагон с гробом Адама Мицкевича пограничники и таможенники встречают цветами... Краткий митинг. Почему у молодого офицера из гостеприимной Швейцарии слезы блестят в глазах? Или показалось?

...Ночью поезд останавливается на какой-то глухой станции.

— Господину Шаберу телеграмма!

— Извините, господа! Чрезвычайные обстоятельства вынуждают меня покинуть вас. Впрочем, вы уже на родине.

К счастью, на станции оказался извозчик. В бричку расторопный начальник станции и телеграфист грузят тяжелые чемоданы.

— Счастливого пути, господа!

Летняя ночь над польской землей. Слышно, как в ржаном мокром поле перекликаются перепела...

2

...Все это было прошлым летом. Лео Иогихеса представил Розе Владыслав Хайнрих, который серьезные занятия психологией и философией умудрялся блестяще сочетать с революционной деятельностью. Лео только что вернулся из Варшавы, где был несколько месяцев: он сопровождал в Польшу довольно солидный транспорт

нелегальной социалистической литературы, там надо было доставить ее по многим адресам; пароли, конспирация, встречи. Было что рассказать друзьям в Цюрихе.

На веранде старого дома, в котором Владыслав снимал квартиру, собралось человек пять-шесть.

— Сейчас придет Люксембург,— сказал Владыслав, взглянув на часы.— Рузя точна.

И действительно, внизу послышался звонок. Хозяин квартиры пошел встречать.

Лео Иогихес не был лично знаком с Розой. Он знал от товарищей, что уже больше года эта молодая революционерка в Швейцарии, многие отзывались о ней с восторгом, некоторые с иронией («Максималистка»,— услышал он от кого-то совсем недавно о Розе Люксембург).

«Любопытно»,— подумал тогда Лео Иогихес, прислушиваясь к нетороплившым шагам на лестнице.

Вслед за Владыславом на веранду вошла невысокая девушка, медлительная, с плавными, как ему показалось, движениями.

«Некрасивая»,— было первое впечатление Лео Иогихеса: на смуглом лице выделялся большой, с горбинкой нос; подбородок и губы воплощали силу и упорство, твердость характера. Густые темные волосы, двумя пышными волнами зачесанные назад, нежные — в полном контрасте с губами и подбородком — линии щек. На ней ладно сидело строгое, но модное платье, коричневое, с оборками на груди и глухим маленьким воротником.

— Знакомьтесь,— сказал Владыслав.— Роза Люксембург... Ее мы зовем по-свойски: Рузя... Лео Иогихес.

— Я рада,— сказала она, протянув руку и пристально разглядывая его. Рука у нее была маленькая и сильная. Он заметил: на среднем пальце, сбоку, мозоль от карандаша и ручки.— Представляла я вас другим.

«Значит, ей обо мне говорили»,— подумал он и спросил несколько угрюмо:

— Каким же?

Дело в том, что, посвятив свою жизнь революции, Лео Иогихес считал: для него не существует так называемого личного счастья. И тут он встретился со взглядом ее глаз — огромных, глубоких, наполненных непостижимым внутренним сиянием, как будто в их бездне был источник яркого света. И Лео физически почувствовал, как его сердце ухнуло вниз.

Роза молчала, продолжая пристально рассматривать его.

Тогда Иогихес повторил вопрос:

— Каким же вы меня представляли?

— Более суровым, что ли,— сказала она.— А вы...— В ее голосе прозвучало лукавство.— А вы нежны, как Нарцисс.— Что-то увидев в его лице, она быстро, даже порывисто коснулась руки Лео.— Не обижайтесь, пожалуйста! Воспримите мои слова как искренний комплимент.

Так они познакомились.

— Мы слушаем тебя, Лео, — сказал Владыслав Хайнрих.

— С литературой все в порядке,— начал рассказывать он, все время чувствуя на себе взгляд Розы.— Через границу провезли без особых осложнений. А вот в Варшаве возникли некоторые недоразумения.

— С полицией? — спросил кто-то.

— Нет. В том-то и дело.— Определенно его смущал взгляд этой Рузи.— Ведь теперь в Польше фактически две наши организации: продолжает действовать «Второй Пролетариат», хотя и сильно поредевший, и, как вам известно, создан «Союз польских рабочих» во главе с Мархлевским...

— Вы встречались с Юлианом? — перебила его Роза

Люксембург, и Лео показалось, что в голосе ее прозвучало волнение. Внезапный, беспричинный укол ревности на несколько мгновений спутал его мысли.

— Нет, мы не виделись,— спокойно продолжал он.— Мархлевский большей частью бывает в Лодзи, туда сейчас перенесен центр тяжести работы «Союза». Так вот... При распределении литературы возник конфликт между членами «Союза» и «пролетариатцами», особенно бушевал Каспшак.

— Он такой,— улыбнулась Роза.— Марцин хочет прочитать все сам, хотя времени на самообразование у него, конечно, не остается.

«Всех-то она знает!» — подумал Иогихес с непонятным облегчением.

— Короче говоря,— продолжал он, теперь с азартом,— мне кажется, что для польской социал-демократии двух организаций многовато. Вроде бы одни цели и задачи, а начинаются споры, разлад. Так и до сведéния личных счетов недолго.

— Совершенно верно! — сказала Роза.

Иогихес увидел, что все почтительно повернули головы в ее сторону. «Она уже авторитет»,— подумал он, пожалуй, с некоторой неприязнью.

— И хуже всего, что в польском рабочем движении формируется третья сила — наши господа националисты с лондонским эмигрантским центром во главе,— голос Розы зазвучал взволнованно.— По всем признакам они близки к объединению, вот-вот создадут свою партию, у нас есть сведения, что все у них подготовлено для издания газеты. А вы представляете, что это значит? В сознание польских рабочих систематически будет внедряться всякий националистический бред. Мы не должны забывать, что почва в этом смысле в родном отечестве давно удобрена во всех слоях общества. И в среде пролетариата — тоже. К сожалению.


WAE

— И что же из этого следует? — спросил Лео, теперь тоже открыто рассматривая Розу... «Ей идет волнение».

— Из этого следует, что нам необходимо создавать свою организацию, с четкой марксистской программой. И мы исключим из нее борьбу за отделение Польши от России как первую задачу социал-демократии.

— Но Маркс и Энгельс тоже поддерживали идею борьбы за независимость Польши! — перебил Розу кто-то.

Теперь Роза Люксембург ходила по комнате и, показалось Иогихесу, была полна гнева и сарказма.

— Да, да! Поддерживали! — говорила она быстро и страстно.— Но это было в сороковых годах. Маркс и Энгельс считали, совершенно справедливо, что Польша в ту пору являлась очагом восточноевропейской демократии.

Лео Иогихес встретился с ее взглядом и вдруг почувствовал, что Роза уже не замечает его: полемика всецело захватила ее.

— В практической деятельности необходимо руководствоваться реальными экономическими и политическими отношениями в их развитии. Россия нашего времени — не Россия Николая Первого. Сегодня она уже не является угрозой для Западной Европы и революционного движения в ней. Наоборот! — Роза была — порыв, страсть и убежденность.— На наших глазах в России выросла огромная армия пролетариев, там подспудно зреют революционные силы, которые все чаще заявляют о себе.

Из разных концов комнаты послышались голоса:

— Правильно, Рузя!

— И все-таки мы не можем отмахнуться от польской национальной проблемы!

— Нам нужна своя газета!

— Верно, надо завоевывать рабочих Варшавы и Лодзи на свою сторону!

Начался общий спор. Он, как всегда, затянулся: уже

вечер был в Цюрихе, зажигались огни, и только на снежных вершинах гор, обступивших город, лежал алый отсвет зари.

Наконец, так и не придя ни к каким решениям, стали расходиться. И вот тогда Роза подошла к Иогихесу и просто сказала, прямо глядя ему в глаза:

— Вы не откажетесь проводить меня, Лео?

— Конечно, конечно! — непривычно засуетился он, презирая себя за эту суету и одновременно чувствуя, как трубы неизбежного рока, запевшие в нем, заставляют сильнее биться сердце.

В тот вечер Лео Иогихес долго, бесконечно провожал Розу Люксембург. Они блуждали по пустым улицам, говорили, молчали, она читала ему стихи Гёте, Пушкина, Мицкевича, и под черным небом, усыпанным звездами, в расплывчатой темноте ночи так волшебно, неповторимо звучал ее голос, произнося бессмертные немецкие, русские и польские строки. Она рассказывала ему о своем детстве, о гимназии в Варшаве, требовала от Лео рассказов о себе.

По характеру он был замкнутым человеком; в последние годы это свойство его натуры усугублялось революционной деятельностью, требовавшей осторожности, осмотрительности, и поэтому, возможно, Лео рассказывал Розе о себе мало, неохотно, коротко отвечал на ее вопросы. Вернее, происходило нечто странное. Да, он отвечал на ее вопросы, сам слушал себя и одновременно чувствовал, что в его жизни необратимо начинаются перемены, которых он не хочет, не желает. «Надо разобраться, разобраться»,— твердил он себе, вглядываясь в лицо Розы, которое в ночном мраке плохо освещенной улицы казалось загадочным и прекрасным.

...Лео Иогихес был сын богатого купца из Вильно. Еще после окончания шестого класса гимназии он порвал со своей средой и тогда же решил всю свою жизнь по-

святить революции. Он ушел из семьи, устроился в слесарную мастерскую: не хотел зависеть от родителей. Арестован в 1888 году, приговорен к четырем месяцам тюрьмы и году гласного надзора полиции; однако, отсидев в каталажке, бежал в 1890 году в Швейцарию, вступил в контакт с группой «Освобождение труда», которую возглавляет Плеханов,— на материальной основе, попросту, финансировал некоторые их издания.

Потом произошел конфликт с Плехановым — на той же материальной основе. Разрыв. А он жаждал деятельности. Революционной деятельности. Вот тогда Лео и сблизился с польскими социалистами, находящимися в эмиграции. Удивительно быстро он овладел польским языком. Возможно, потому, что еще в Вильно постоянно общался с поляками. Вообще иностранные языки ему даются легко. Теперь он занимается транспортировкой в Польшу нелегальной литературы «Пролетариата». Революционная деятельность — смысл его жизни. И единственная цель: борьба за социализм. После смерти отца он получил порядочное наследство. Все средства пойдут на революцию. Лео Иогихес в постоянных переездах; конспирация (кстати, в Швейцарии он живет под именем Казимежа Грозовского), опасность, нервы напряжены, и в любой момент Лео готов к отпору. Это — для него. И он давно принял решение: пока не победим, никакой личной жизни. Вернее, не так. Никакой семьи...

— О чем вы так мрачно задумались, Лео?

— Простите...

— Уже начинается утро,— она легко, празднично засмеялась,— и надо хотя бы немного поспать. Я живу в этом доме.

Они стояли у крыльца, увитого диким виноградом; крутые ступени вели к темной террасе.

— Я знаю этот дом,— сказал Иогихес.— Тут живет Карл Любек.

— Верно. Я у Любеков снимаю комнату, уже третий месяц. Что же, Лео, давайте прощаться? — И тут она порывисто сжала его руку.— Ой! Смотрите! Какая божественная красота!

В еще ночном темном небе проступали вершины гор, покрытые снегом, и сейчас эти белые шапки медленно розовели, прямо на глазах — за Альпами вставало солнце.

— Когда мы встретимся, Рузя? — спросил он, и голос его прервался от волнения.

— Сегодня,— тихо сказала она.— С двенадцати я буду заниматься в публичной библиотеке, в историческом зале...

...И они встречаются. Каждый день: у друзей, в парках города, в маленьком кафе, в университетской библиотеке. Они идут в театр, в музей или просто так бродят по городу, и при каждой встрече Лео видит, как ему навстречу сияют ее счастливые глаза. О чем они только не говорили тогда! И лишь одного избегал Лео Иогихес — объяснения. Он видел ее вопрошающий взгляд, но противился, сопротивлялся, он все еще пытался сохранить образ жизни, который определил для себя во имя революции. Он запутался в самом себе: в мыслях называл ее женой, томился, первые фразы объяснения были продуманы до запятой. А при встречах молчал, твердя про себя, сжав зубы: «Дело, прежде всего дело!»

Неопределенность, неясность, бессонные ночи, все валится из рук, душные грозовые дни — лето 1891 года.

...Однажды была загородная прогулка — их собралось человек шесть или семь, польских студентов, они ушли в горы, устроили на зеленой влажной поляне пикник — легкое вино, закуски, смех и споры, разгоряченные лица, песни. Было душно, собиралась гроза и все никак не могла собраться; вершины гор были окутаны лиловыми тучами.

Роза тронула его за плечо, сказала тихо:

— Хотите погулять, Лео?

И они пошли к горному перевалу. Они молчали, и у Иогихеса было предчувствие, что сейчас, сейчас произойдет нечто важное, громадное, и понимание этого громадного и неизбежного томило не только его, но и Розу.

Сразу за перевалом неожиданно открылось ущелье — они стояли на его краю. Внизу клокотал и пенился горный поток, потряхивая седой гривой; один склон ущелья был пологий, зеленый, и белые точки каких-то цветов выткали его бархатный ковер.

— Кажется, это ромашки,— сказала Роза.— Ромашки — цветы моего раннего-раннего детства, даже младенчества. Когда-нибудь я расскажу вам.

Другой склон ущелья был обрывист, крут, завален большими, острыми глыбами гранита, и среди этого коричневого хаоса кое-где росли одинокие деревья. Картина, открывшаяся перед ними, была полна контрастов — праздничный ярко-зеленый ковер в крапинках ромашек, мрачные гранитные глыбы, наваленные в диком беспорядке, как в первый день творенья; клокочущий, седой от пены поток.

— Это ущелье похоже на Реквием Моцарта, правда? — спросила она.

— Не знаю,— сказал Лео. Он был удивлен этим сравнением.

— Моцартовский Реквием — мое любимое произведение,— тихо сказала Роза.

Неожиданно стемнело, и пошел дождь.

— Рузя, вы промокнете,— сказал он.— Идите сюда, моей накидки хватит на двоих.

...Ее лицо совсем рядом, частое дыхание, опаляющий жар маленького тела, легкость нежных рук кольцом вокруг его шеи...

— Лео, я люблю вас...

Их первый поцелуй был долог, томителен и горек — как предзнаменование...

Полетели дни, недели, месяцы — с ней. Это было захватывающее, оглушительное счастье. И удивительно, их любовь, такая пылкая, всепоглощающая, особенно в первое время, не мешала революционной работе, не отодвинула ее на второй план. Наоборот, никогда раньше Лео Иогихес не делал для революции так много, увлеченно, целенаправленно, как тогда. И он понимал, в чем тут дело: у них была единая основа, общая страсть — борьба за социализм, сокрушение зла, в котором погрязло человечество.

И Лео Иогихес заметил, что может влиять на Розу. У них постепенно стали появляться пункты разногласий, прежде всего в политических проблемах. Так, Иогихес считал, что первейшая задача — революционное движение в Русской Польше; Роза соглашалась: да, борьба за социализм в Польше, но не следует замыкаться только в польские рамки. Поляки живут в Пруссии и Австрии, многие из них влились в рабочий класс этих стран, поэтому проблемы Польши нельзя рассматривать изолированно. И отсюда простирался ее интерес на европейское социал-демократическое движение, прежде всего на Германию. Порой Иогихесу казалось это всеядностью. Они много спорили.

Тем не менее он все-таки влиял на нее. Роза всегда внимательно слушала, если Лео ей что-то советовал, или спрашивала: «Лео, как тут быть? Скажи. Ты мужчина, ты сильный, ты все можешь».

3

...Музыканты отдыхали. Роза в слабом, колеблющемся свете свечей видела их лица; шелестели белые нотные листы; негромкие голоса. Было прохладно в недостроен-

ном складе для дров и угля. Она поежилась. Это увидел, а может быть, почувствовал Лео: он снял пиджак, накинул на ее плечи.

Роза осторожно посмотрела на него. Тонкий нервный профиль, высокий лоб, волевая складка губ. Шквал нежности обрушился на нее. Мой любимый!.. Что бы было, если бы я не встретила тебя? Роза содрогнулась от этой мысли: она живет, а его нет рядом...

А этот подарок в день зачисления в Цюрихский университет — розы и Реквием Моцарта! Значит, какие-то незримые нити соединяют их, если Лео смог выбрать этот единственный подарок.

...Кажется, шел уже второй месяц ее эмигрантской жизни. А может быть, третий? Она по каким-то неотложным делам поехала в Женеву и возле концертного зала увидела большую афишу: «Моцарт... Реквием». С трудом Роза достала билет и вечером сидела в третьем ряду, рядом с оркестром, ей хорошо было видно лицо дирижера, освещенное снизу,— худое, с аскетически запавшими щеками, с резкими морщинами на лбу, который обрамляли седые жесткие волосы; это старое лицо с печатью страстей и усталости было вдохновенно.

Странно: первая часть Розу только заинтересовала, взбудоражила, но вторая... Она вдруг ощутила, именно вдруг, внезапно, как при вспышке молнии и грохоте горной лавины, весь трагизм жизни: неизбежно, неумолимо на тебя надвигается рок, с каждым днем ты все ближе к трагической черте. (Тогда она вспомнила строку: «Тернистою стезей к могиле всяк спешит»...) К могиле!.. Как страшно... Но бушевали вокруг нее, в сумрачном концертном зале и другие, могучие, солнечные стихии. Ах, гениальный Моцарт! Да, жизнь трагична, потому что каждому из нас предстоит покинуть этот мир, нашу земную юдоль. Но жизнь и прекрасна. Оглянись вокруг! Солнце, деревья, ветер. Человеческие лица.

Бескорыстие, борьба, приступы счастья... И помни: каждый день бытия — великий подарок. Так сумей прожить его достойно, не пусто и суетно. В этой жизни человеку, настоящему человеку, предстоит многое сделать. Наш мир несовершенен, зло в разных проявлениях подстерегает тебя в пути. Так борись с ним! «Стучи в барабан и не бойся!» Ты прав, Гейне! И — спеши творить добро! Какие точные, единственные слова... Но это не все, не все! Еще любовь... Моцарт говорил ей: еще любовь. Без нее жизнь теряет смысл. Где ты, где ты, мой любимый? И ей показалось тогда, что она поняла... Нет, не поняла — приблизилась к пониманию смысла жизни. Только так: жить, чтобы ни один день не пропал даром. Бороться со злом. О, она знает терпкий, соленый вкус борьбы. И она знает самые разные обличья зла. Но еще любить, любить! И тогда смерть не будет казаться чудовищным финалом твоей жизни.

Она вышла из концертного зала — новая. Остановилась у афиши. На следующий день концерт повторялся. На следующий день она опять сидела в третьем ряду. И Роза перечувствовала первую часть: Моцарт готовил ее к тому, что будет сказано во второй части и финале.

«Этот гениальный Реквием для меня»,— сказала она себе тогда...

— ...Все готовы? — спросил Отто Кун.— Через минуту начинаем.

Роза сжала руку Лео Иогихеса.

— Ты что, Рузя?

— Сейчас будет вторая часть.

Музыканты настраивали инструменты, шелестели листами с нотами. Этот подарок и тебе, Лео. Ведь это ты настоял, чтобы я официально поступила в университет.

Роза усмехнулась при этом воспоминании.

...Она вела занятия кружка на студенческой кварти-

ре. Собралось человек пятнадцать, в основном первокурсники, поляки и русские, появившиеся в Цюрихе совсем недавно.

Пришел Лео, все занятие мрачно просидел в углу у окна, не сказав и слова даже во время довольно ожесточенного спора.

Провожая ее к дому Любеков, спросил:

— Как называлась сегодняшняя тема?

— «Экономическое развитие Польши»,— сказала она.

— Великолепно.— И он надолго замолчал.

— Что великолепно? — спросила Роза.

— Вот это и будет темой твоей дипломной работы в университете — «Промышленное развитие Польши»...

— Но, Лео...— Она даже остановилась.— Ведь я хожу на лекции. Слава богу, в Цюрихском университете посещение лекций открыто для всех желающих. Я бываю на семинарских занятиях по истории, философии, политэкономии и статистике, по обществоведению...

— Да, да! — перебил он.— Кроме того, твои увлечения — математика и естественные науки, педагогика, история литературы, искусство древнего мира. Не многовато ли?

Роза угрюмо молчала.

— Я уже не говорю о том, что ты пропадаешь в библиотеках, просиживая, не знаю сколько часов, над политическими трудами...

— Лео, прекрати! — перебила она.— Ты же знаешь, что значат для меня библиотеки Цюриха и Женевы! На полках — книги Маркса и Энгельса, русских народников Воронцова, Михайловского, труды Плеханова, все комплекты журнала «Нойе цайт»! Работа с этими книжечками в зеленых переплетах — мое самое любимое напряженное чтение, а Карл Каутский, да будет тебе известно, мой кумир! Разве я могу отказаться от такой блестящей возможности: систематически читать и штудировать

марксистскую литературу? Я вырвалась в совершенно другой мир: люди могут, ничего не опасаясь, высказывать, где угодно, свои политические взгляды. Нет, я не понимаю, чем ты раздражен!

— ...Я вовсе не раздражен, Рузя. Но в одном я убеждаюсь с каждым днем: ты распыляешься. Еще кружки. Сколько их у тебя? Три? Четыре? А ведь главное для тебя и меня — диплом...

— Но, Лео, если поступить в университет, как ты говоришь, официально, за все надо платить: за слушание лекций — двести пятьдесят франков, за экзамены уж не помню сколько, за получение диплома еще двести франков. Что мы, капиталисты?

— Рузя! Согласись, что сейчас ты говоришь ерунду. Что, все наши друзья, которые учатся в университете и в политехническом,— капиталисты? Не упрямься. И уже есть практика: деньги на образование товарища мы собираем всей польской коммуной.

— Лео, я...

— Все. С завтрашнего дня ты начинаешь готовиться.

И он настоял на своем. Он подчинил твердому контролю ее время. Четыре часа в сутки она готовилась к вступительным экзаменам в университет.

...Отто Кун поднял дирижерскую палочку.

— Внимание! Вторая часть!

Жизнь и смерть, добро и зло, низменные страсти и нравственные высоты духа, столкновение стихий. И через этот хаос, дебри и горы, окутанные лиловыми тучами, продирается Человек. Куда? К Истине, к Истине! К Истине? Но ведь — «тернистою стезей...»

Роза взглянула на Иогихеса. Напряжение на лице, даже капли пота выступили на лбу. И он умрет? Мой Лео умрет? Это прекрасное лицо будет отдано во власть тленья?..

— Лео!

— Что, моя хорошая?
— Мы всегда будем вместе, правда?
— Всегда, Рузя.
Всегда, всегда.

...О нем все говорят: виртуозный конспиратор, выдающиеся организаторские способности, хладнокровие, резкий, глубокий ум, поступки, контролируемые волей и всесторонним анализом обстоятельств, выдержка, бескомпромиссность и прочее. А для нее Лео — это еще нежность, трепетность, легкоранимая душа, не защищенная от зла и мерзостей жизни. Она-то знает, чего ему стоит хладнокровие и выдержка, когда приходится иметь дело с подлостью, трусостью или предательством.

...Поздний майский вечер в Цюрихе. Прохладно, редкие огни. Цветет миндаль, смутно-розово выделяясь во мраке. Деревья в молодой нежной листве, и воздух полон запахов пробуждения: мокрой земли, первых цветов — «эфимеры», прочитала Роза недавно в какой-то книге; жизнь их мгновенна: пять-шесть дней раннего весеннего цветения...

Они медленно, обнявшись, бредут по пустой улице.
— Лео, сегодня второй самый счастливый день в моей жизни.
— А первый?
— Первый... Впрочем, это не день, а ночь. Когда я осталась у тебя.
— Я люблю тебя, Рузя!

4

Лео опаздывал. Было уже четверть седьмого, а занятия кружка всегда начинались в шесть. В том, что поезд больше чем на час задержали на германской границе, он не был виноват, но все равно нервничал: любая неточность — в себе ли, в других (чаще в других) выводила

его из равновесия. Точность и еще раз точность — таков был девиз его жизни. Тем более сейчас, когда он спешил к друзьям с такой важной и радостной новостью... Надо было войти в комнату Владыслава Хайнриха за несколько минут до начала и сообщить...

Лео взглянул на часы: двадцать минут седьмого. Он поднимался вверх по крутой улочке на окраине Цюриха. С близких гор летел холодный влажный ветер, пахнущий снегом и прелыми листьями. Ветер забирался за ворот пальто, теребил волосы. Промозгло, неприютно. Конец ноября...

Ну, вот теперь рядом, за углом.

Уже третий месяц в квартире Владыслава Хайнриха собирался их социалистический кружок, магнитом и центром которого была Роза Люксембург, его Рузя. В просторной комнате со старинным камином, в котором всегда завораживающе пылали березовые поленья, собирались молодые эмигранты из Русской Польши, главным образом студенты, в прошлом, на родине, связанные с «Пролетариатом». Разве только он, Лео Иогихес, выходец из Вильно,— исключение.

Лео повернул за угол, поднялся по каменным ступеням под сводом дикого винограда, который упрямо не сбрасывал побуревшие листья, позвонил, и сразу же ему открыл дверь хозяин квартиры, явно чем-то взволнованный:

— Наконец-то! Заждались тебя! — Владыслав, обняв Лео за плечи, вел его через темную террасу.— Тут такая новость! Только что из Парижа приехал Адольф Варский.

«И у них новость»,— подумал Иогихес, входя в комнату с камином.

Накурено, душно, хотя открыты окна в темный осенний сад. Он сразу увидел Розу — она стояла у камина, смотрела на него, лицо ее снизу освещалось малиновым,

колышущимся огнем, и взгляд темных глаз совершил некое чудо: он мгновенно сократил расстояние в несколько метров, разделявшее их. Лео растворился во взгляде этих единственных для него глаз (что-то говорили вокруг, возбужденно-страстно, он пожал кому-то руку), и все это длилось несколько мгновений, никто ничего не заметил.

Перед ним стоял Адольф Варский — нетерпеливо энергичный, крупные губы расплылись в улыбке. Лео знал, что он под залог выпущен из тюрьмы, в которую угодил в полосу массовых арестов «пролетариатцев», эмигрировал во Францию и теперь поддерживает тесный контакт с их кружком.

— Рад тебя видеть, Лео! — Варский все улыбался.

— И я тебя, Адольф!

— Все, друзья! — сказал хозяин квартиры.— Роза, продолжай!

А Роза все еще смотрела на Лео не отрываясь, и слабый румянец волнения и нежности проступил на ее щеках.

Она подошла к столу, взялась руками за его край. «Какие у нее музыкальные, длинные пальцы»,— подумал он впервые.

— Событие в Париже мы уже обсудили,— заговорила Роза. Иогихес отметил, что она сильно волнуется.— Еще раз, Лео, очень коротко, для тебя. Адольф привез из Франции, прямо скажем, огорчительное известие: несколько дней назад в Париже состоялся съезд наших социалистических националистов, назовем их так. Собственно, это учредительный съезд. Образована Польская социалистическая партия, ППС. Они приняли устав и программу. Ты, Лео, понимаешь, конечно, что это значит. Их первейшая цель — самостоятельность польской буржуазии эксплуатировать свой народ.

— Именно,— сказал Адольф Варский.— Ваш друг Да-

шиньский по этому поводу произнес страстную и, не скрою, блестящую речь.

— Наши бывшие друзья,— усмехнулся Лео.— Игнаций, так тот вообще со мной давно не здоровается. Я для него не существую.

— Они начинают выпускать свою газету,— продолжала Роза.— «Пшегленд социалистычны». Тут никаких пояснений не требуется. Теперь сознание польских рабочих будет систематически отравляться националистической пропагандой.

— Пока мы тут рассуждали,— сказал Вацлав Берент,— они действовали.

Лео посмотрел на Вацлава. Одухотворенное, нервное лицо, высокий чистый лоб. Какая блестящая личность! Наверно, никто из них не знает так полно и глубоко мировую литературу. А польскую Вацлав не только знает, он в нее ревниво влюблен, готов часами спорить о поэзии Мицкевича или о прозе Крашевского. И сам пишет великолепные короткие рассказы — афористичность, точность деталей, народный меткий язык. Говорить с ним о литературе —наслаждение. Может быть, наш Вацлав Берент станет писателем? Может быть... Но уже сейчас его перо очень бы пригодилось газете, которой у нас нет...

— Словом, мы поставлены перед фактом,— говорила Роза.— Создана партия, с которой наши пути разойдутся неизбежно и неотвратимо.

— Почему, Роза? — спросил Казимеж Ратыньский.— Ведь у них программа социалистическая. И они такие же яростные враги царизма, как и мы.

— Верно, Казимеж.— В голосе Розы Иогихес услышал знакомые непримиримые нотки. —Но первое для них — отделение от России. А это значит, что пепэсовцы по законам логики неизбежно пойдут на союз со всеми, кто поддержит их националистическую програм-

му, включая буржуазию. Будет размыт классовый принцип нашей борьбы! Так начнется прямое предательство интересов пролетариата с их стороны.

— Среди... Как ты их назвала? — Ратыньский посмотрел на Розу.— «Пепеэсовцы»? Среди них у меня много друзей.

Лео Иогихес увидел, что, сказав это, Казимеж смутился. Казимеж Ратыньский, студент Цюрихского политехнического института... Весельчак и балагур и в то же время удивительно застенчивый человек, до сих пор краснеет от взглядов девушек.

...Ни Лео, ни его друзья по кружку еще не знали, что очень скоро Казимеж Ратыньский и его друг по институту Бронислав Весоловский, который сейчас стоял у открытого окна, уедут в Варшаву, чтобы там вести подпольную работу, будут организаторами первого съезда Социал-демократии Королевства Польского, через несколько месяцев попадут в лапы царских жандармов, по этапу уйдут в многолетнюю ссылку в Сибирь, откуда Казимежу Ратыньскому уже не суждено будет вернуться на родину...

— Я хочу обратить ваше внимание,— продолжала Роза,— еще на одну силу, которая, как мне кажется, только формируется уже непосредственно в Польше. Я имею в виду еженедельный журнал «Глос». Если к нему присмотреться пристально, он, по существу, выражает интересы польских господствующих классов: умеренная демократия с поправкой на национализм, «все для народа, силами народа», осторожная борьба с русским правительством, которая в последнее время больше похожа на торг с самодержавием. Есть все признаки того, что вокруг «Глоса» формируется ядро будущей партии польской буржуазии и крупных землевладельцев...

— Правильно, Роза! — перебил Феликс Висьлицкий.— А мы теряем время!

Горячность Феликса, студента того же политехнического института, давно была известна Иогихесу. У этого молодого человека, чем-то неуловимо похожего на молодого Костюшку, каким его изображали современники на гравюрах, было две страсти: политическая борьба и занятие химией, которой он предсказывал в скором будущем невероятные открытия.

Лео Иогихес обвел взглядом собравшихся. Бронислав Весоловский и Казимеж Ратыньский стояли рядом, словно уже соединенные общей судьбой; Вацлав Берент помешивал кочергой угли в камине; Владыслав Хайприх, эрудит, умница, блестящий знаток современной философии и психологии, сидел в кресле, прямо вытянув ноги; Адольф Варский полусидел на подоконнике, контрастно выделяясь в своем светлом костюме на фоне черного окна, Роза нервно прохаживалась по комнате...

И Лео вдруг подумал: каких прекрасных, ярких, необычных и незаурядных людей собрала воедино общая борьба, идеи социализма. И чувство братства, горячей симпатии и любви к друзьям и единомышленникам сухим жарким спазмом сжало горло Лео Иогихеса.

— ...Ты прав, Феликс,— говорила Роза,— мы потеряли много времени. Пора наверстывать, друзья! — Знакомый взгляд: она смотрела на Лео и не видела его.— Мы создадим свою партию!

— Правильно, Рузя!

— Браво!

— У нас есть три силы,— говорила Роза, нервно прохаживаясь по комнате,— которые мы должны соединить в одну организацию: «Союз польских рабочих», «Пролетариат» и...— Она обвела всех, кто был в комнате, воспаленным взглядом.— И наш кружок. При этом от каждого слагаемого мы отбросим все ошибочное и возьмем лучшее. Что мы возьмем от «Союза польских рабочих»?

Массовость, умение работать в пролетарской среде, знание интересов рабочих, популярность. А что «Союз» популярен у польских пролетариев, подтвердили майские события этого года в Лодзи. Вы только вдумайтесь в сам факт: лидеры «Союза» за решеткой. В том числе первый из них — Юлиан Мархлевский...— Лицо Розы мгновенно потемнело.— Уже год как Юлиан в тюрьме... Так вот. Тем не менее в майские праздники рабочие Лодзи выходят на демонстрацию под лозунгами «Союза»! И скоро демонстрация превращается во всеобщую стачку: десятки тысяч пролетариев на улицах, правительство вводит в город войска, баррикады, военные столкновения. Да, результат трагичен: около трехсот убитых и раненых, массовые аресты, восемьдесят два человека отданы под суд... Разгром? Разгром... Но, друзья, эта десятидневная борьба рабочих с правительством, «лодзинский бунт», как теперь говорят,— первое массовое выступление рабочих в польской истории. Пусть много стихийности, неорганизованности, но камнем, который сдвинул эту лавину, была агитация «Союза», его призывы выйти на первомайскую демонстрацию! Итак, у «Союза польских рабочих» мы берем его популярность в среде пролетариев и знание их стремлений. Но опыт политической борьбы мы возьмем у «Пролетариата». Он у него, друзья, немалый. Но мы должны категорически отвергнуть тактику, которую поддерживали и в Польше, и здесь, в эмиграции, некоторые члены организации,— тактику террора.

И стало тихо в комнате со старинным камином, в чреве которого угли уже покрылись прозрачным налетом пепла.

— Будем считать,— тихо сказала Роза,— что взрыв на горе Петерштоль, смерть Исаака Бринштайна и раны Дембского — это последнее эхо порочной террористической тактики.

— Ну а на что же годны мы? — спросил Феликс Висьлицкий.— Для новой организации?

— Мы? — Роза помолчала.— Польский рабочий класс надо вооружать и теоретически, разрабатывать программу борьбы. Рабочие должны учиться, осваивать прежде всего марксову теорию. Тут наши головы пригодятся! Но есть у нас слабость — оторванность от родины, от польского рабочего движения. Мы ее преодолеем. Нашу партию мы подчиним строжайшей дисциплине и железному уставу. Мы обязаны все время помнить, что ей придется действовать в условиях неконституционной страны, лишенной всяких политических свобод. А начать мы должны с создания своей газеты. Но для этого необходимы средства. Я уж не говорю, что нужны опытные люди...

— Средства, я думаю, у нас найдутся,— перебил Розу Лео Иогихес.— А знающие люди...— Он смотрел на Розу.— У меня тоже есть для вас новость: неделю назад условно, до конца следствия, под залог в четыреста рублей выпущен из Варшавской цитадели Юлиан Мархлевский.

— Что же ты молчал, Лео?! — Роза, всегда сдержанная при других, бросилась на шею Иогихеса.— Что же ты молчал?!..

И Лео испытал знакомый укол ревности. Обнимая Розу за плечи, он подчеркнуто спокойно сказал:

— У меня есть письмо от него. Кстати, Юлиана снедают те же идеи: объединение всех наших сил в одну организацию и создание своей газеты.

— Он не собирается в Швейцарию? — спросила Роза.

— В письме об этом ничего нет,— излишне жестко сказал Лео Иогихес.

Глаза Розы светились лукавством: «Лео, Лео! Неужели ты ревнуешь?»

5

Иогихес всегда хорошо ориентировался в чужих городах. Но странно, здесь, в Париже, попадая в Латинский квартал, в путаницу узких переулков, он с трудом находил этот четырехэтажный мрачноватый дом — с потемневшими от времени кариатидами, с мансардами, окна которых смотрели на восточную сторону, и в них отражалось утреннее солнце, слепя глаза. Почему-то уже третий раз он приезжал в Париж именно ранним утром.

Лео наконец обнаружил нужный подъезд и тут только понял, что уже два или три раза проходил мимо него. Ерунда какая-то...

В подъезде пахло кошками, консьержка на него не обратила никакого внимания — в этом доме жили в основном студенты, и беготня по лестницам была постоянная — утром, днем, ночью...

Роза снимала комнату на третьем этаже. За дверью Лео Иогихес услышал возбужденный басок.

«Варский»,— узнал он голос, и настроение, подавленное и неопределенное («Почему, собственно?» — спрашивал он себя еще в вагоне поезда), начало таять, сменившись радостью: сейчас он увидит Рузю и Адольфа...

Он вошел без стука.

Узкая комната с окном во двор (черепичные крыши в хаотической путанице, голубое небо, нежная зелень деревьев — апрель на дворе); стол, заваленный книгами, газетами, журналами; на тарелках какая-то еда, кипит кофейник на газовой горелке, и утренне, бодро пахнет кофе. На старом диване с протертыми валиками сидит Адольф Варский — в летней рубашке с расстегнутым воротом, в клетчатых легкомысленных брюках. А Роза что-то быстро пишет, низко склонившись над листом бумаги.

Оба резко оборачиваются на скрип двери.

— Дзедзя...— Роза бросается к нему.

Он успевает заметить: исхудала, синие тени под глазами. Конечно, недосыпает.

В несколько мгновений, пока Роза что-то жарко шепчет ему в ухо, Лео успевает, укоряя себя, подумать: «Вот... Невольно получается, что все основные заботы по изданию газеты взвалены на нее».

Да, да, именно так. Хотя главным редактором считается он. Еще бы! Лео, легко, нежно отстранив Розу, усмехнулся: ведь он финансирует выпуск газеты. Впрочем, их трое, соредакторов: он, Варский и Роза.

— Как вы тут? — спрашивает он.

Быстро, вспять прокручиваются последние месяцы, с самого начала 1893 года: ее бесконечные поездки в Париж, поиски издателя и наборщиков, знающих польский язык, споры о статьях, которые необходимо поместить в первый номер, хлопоты с бумагой.

— Мы нашли типографию,— говорит Адольф Варский,— с двумя наборщиками, знающими язык, один из них поляк.

— Да,— говорит Роза, и голос ее становится подчеркнуто спокойным.— Маленькая типография недалеко от площади Этуаль. Хозяин, мсье Шамон, оказался покладистым человеком, цена более чем сносная, так что некоторая экономия средств в твою пользу есть.

— В нашу пользу! — резко говорит Лео.

— Тебе налить кофе? — легко спрашивает Роза.

— Пожалуйста.

— И выкладывай новости.— Адольф Варский нетерпеливо прохаживается по комнате.

Лео маленькими глотками пьет горячий ароматный кофе.

— Новости...— Он устало проводит рукой по глазам.— Первое: твое предложение, Рузя, назвать газету «Справа роботнича» все одобрили.— Он видит ее сияющие глаза.

«Все-таки ты ребенок, Рузя».— Второе. Конгресс Интернационала предположительно состоится в Цюрихе в июле или августе. И поэтому, если мы хотим принять в нем участие как самостоятельная организация, в противовес пепезсовцам...

— Мы примем участие в работе конгресса! — страстно перебивает Роза.

— Для этого,— спокойно говорит Лео Иогихес,— необходимо организационно оформиться в партию и начать выпуск газеты. Не забывайте: наши идейные противники систематически выпускают свою «Пшегленд социалистычны». Их знают во Втором Интернационале. А нас...

— У нас с Рузей все готово,— перебивает Варский,— но возник спор: какие материалы поместить в первый номер. Я считаю, что упор надо сделать на польские дела и четко изложить нашу позицию по национальному вопросу. Далее...

«В этих смешных брюках,— невольно думает Иогихес,— он похож на опереточного актера».

— Подожди, Адольф! — напористо перебивает Роза.— Позволь мне высказать Лео свою точку зрения.— Звонкие льдинки перекатываются в ее голосе.— Я убеждена, что в первом номере нашей газеты должны быть точно и полно изложены читателям позиции нашей партии — Польской социал-демократии — по основным проблемам, и не только польским. Нет возражений?

— Я тебя слушаю.— Лео внимательно смотрит на Розу. «Опять она как будто не замечает меня».

— Первое! — Щеки Розы покрыл румянец.— Мы отмежевываемся от националистической политики пепэсовцев, которые в этой проблеме первоочередной задачей считают отделение Польши от России, отторжение польских земель от Германии и Австрии и создание буржуазного польского государства. При этом для борьбы с само-

державием лидеры ППС готовы объединить все националистические силы, включая буржуазию и земельных магнатов. Мы категорически против такого решения национального вопроса!

— Согласен,— говорит Лео Иогихес и уже сам наливает себе вторую чашку кофе.

— И для этого,— продолжает Роза,— я предлагаю опубликовать в первом номере «Справы роботничей» статью «Об искоренении национальной принадлежности»! Она уже почти готова. В ней мы — против национального угнетения поляков. Но! Сначала — свержение самодержавия во всей России, сначала — революция. Она решит вопрос о национальной независимости — не только поляков, но и всех народностей, входящих в состав империи. Мы — если считаем себя последователями Маркса — должны национальный вопрос решать, подходя к нему с классовых позиций!

— Полностью с тобой согласен,— говорит Лео Иогихес.

— Теперь...— Роза устало провела рукой по глазам.— Действительно, мы тут поспорили с Адольфом. Он предлагает весь номер посвятить только польским делам. А я считаю...— Она смотрит то на Лео, то на Варского, и лихорадочный блеск мечется в ее глазах.— С самого начала мы должны, просто обязаны заявить: истинные польские социал-демократы — за тесный союз с русскими рабочими. Совместная борьба с самодержавием на классовой основе — вот наша задача! Это тем более необходимо заявить в первом же номере нашей газеты...

— Почему же? — перебивает Варский.

— Потому что пепеэсовцы утверждают, что в России нет сил, способных бороться с деспотическим строем! — Роза от волнения, не замечая этого, перебирает на столе исписанные листы бумаги.— Они все помнят Морозовскую стачку, застой в рабочем движении после ее подав-

ления. Будто история остановилась па восемьдесят пятом году!

— Так...— Лео Иогихесу передалось волнение Розы.— Дальше!

— Я постоянно слежу за событиями в России. Вот! — Роза показывает на стопу газет и журналов.— Все говорит о том, что в России начинается новый подъем рабочего движения.

— И что же из этого следует? — спрашивает Иогихес.

Адольф Варский стоит у окна и напряженно, хмуро смотрит на Розу.

— Из этого следует... Прошу! — она передает Иогихесу несколько листов бумаги, исписанных ее убористым волевым почерком.— Я подготовила к публикации программу «Южнороссийского союза» с некоторыми сокращениями. Отличный документ! Рабочая Россия поднимается! — говорит каждая его строчка. Я написала небольшое пояснение с проекцией на польские дела.

— Это называется дразнить гусей! — говорит Варский.— Перед конгрессом нам не следует раздражать ППС!

— Адольф! — В голосе Иогихеса удивление.— Не собираешься же ты идти им на уступки?

— Тем более,— страстно говорит Роза,— в принципиальном вопросе о союзе с русскими пролетариями в совместной борьбе!

Варский собирается что-то возразить, но его опережает Лео Иогихес:

— Хорошо, хорошо! Все обсудим вечером. Я прочитаю материалы. А сейчас, друзья, в типографию!

...Они едут к площади Этуаль через апрельский Париж — фиолетовый, бледно-зеленый, серовато-розовый — и молчат. Каждый думает о своем.

— А что Юлиан? — нарушает молчание Варский.— Ведь он собирался быть в Швейцарии еще в феврале.

— Никак не вырвется.— Лео Иогихес быстро взглянул на Розу. Лицо ее было непроницаемым («Как меня угнетают твои подозрения, Лео!» — думает она).— Возможно, наш Мархлевский объявится на днях.

— Очень хочется его увидеть,— с некоторым напором говорит Роза.

6

Юлиан Мархлевский приехал в Швейцарию в первой половине мая: держали дела «Союза» в Варшаве и Лодзи. На перроне в Цюрихе его встречали трое: Роза, Иогихес и Адольф Варский. Роза волновалась. Юлиан был ее первым учителем в революционной борьбе, настоящим большим другом. Именно эти отношения связывали их: дружба, общие интересы, опасности. А Лео подозревает что-то... И что особенно непонятно, непостижимо — она пытается разубедить его в нелепости подозрений и вдруг начинает сбиваться, путаться...

...Поезд подходил к перрону, тяжко и жарко ворча, мимо прокатил паровоз, замелькали окна вагонов.

— Вон Юлиан! — крикнул Варский.

Мархлевский стоял в дверях вагона в летнем легком пальто, со шляпой в руке; непривычная бородка с явной сединой окаймляла его бледное лицо.

— Юлиан! — Роза быстро пошла к вагону. В руке она держала букет белой сирени.

— Роза! — Мархлевский уже бежал ей навстречу.

Среди шумной и праздничной толпы они обнялись.

Подошли Иогихес и Варский. А рядом с Юлианом оказался невысокий полный человек в котелке, с саквояжем из крокодиловой кожи, он все улыбался Розе, и лицо его показалось ей очень знакомым.

Когда закончились приветствия, Мархлевский сказал:

— Разрешите представить, друзья,— Ганс Лидеман,

технический секретарь Правления Германской социал-демократической партии. Прибыл в Цюрих, чтобы специально познакомиться с вами...

— Да, да! — заспешил Ганс Лидеман.— В Германии начинается предвыборная кампания, мы очень заинтересованы в голосах поляков, которые живут на землях, входящих в территориальные владения Пруссии.— Он больше смотрел на Розу, улыбался ей.— А вы меня не узнаете, фройлен Люксембург?

Ганс Лидеман...

— Как же, как же! Вспомнила!

Да, Роза вспомнила.

...Она совсем недавно приехала в Цюрих, только осваивалась в непривычной обстановке, в пестрой эмигрантской среде, и, хотя ее сразу окружили заботой и вниманием новые товарищи, чувствовала Роза себя на новом месте не очень уверенно. Тогда она еще не жила у Любеков, снимала скромную комнату с верандой, выходящей в сад, на Нелькенштрассе, пять.

У нее стали часто собираться польские и русские друзья: они хотели, чтобы она поскорее отрешилась от напряженной варшавской жизни, вошла в их круг.

Однажды Роза принимала гостей; было человек семь, все студенты Цюрихского университета, кто-то принес бисквитный торт, она разливала по чашкам кофе, и тут появился Вацлав Берент и ввел на веранду молодого человека, худого, напряженного, с белесыми бровями вразлет, с безвольными пухлыми губами; на нем был черный суконный костюм-тройка, несмотря на жаркий день, тугой крахмальный воротник подпирал длинную шею; было в нем что-то испуганное и жалкое.

— Друзья! — сказал Вацлав по-немецки.— Прошу любить и жаловать: Ганс Лидеман из Берлина.— Ганс отвесил всем общий поклон.— Социал-демократ, только что вырвался из лап бисмарковского суда, скоро отправляется

в эмиграцию в Бразилию. У нас пробудет недолго. Ганс много пережил, сидя в тюрьме.— Некая суровость мелькнула на лице Ганса Лидемана.— Мы согреем его вниманием и любовью! — Гости радостно зашумели.— Розочка, ты и хозяйка дома, и лучше всех из нас знаешь немецкий язык. Передаю тебе Ганса с рук на руки!

Она усадила Ганса рядом с собой. Вначале он стеснялся, ерзал на стуле, коротко отвечал на вопросы, вздрагивал от громкого смеха; потом освоился, стал с удовольствием есть торт. Недавний узник отличался завидным аппетитом, щеки его раскраснелись.

— Скажите, Ганс,— спросил кто-то,— условия в тюрьме суровые?

— Ужасные, ужасные! — ответил немецкий гость с набитым ртом.— Кормят отвратительно, передача с воли только раз в неделю, грубая охрана.— Голубые глаза Ганса наполнились страхом.— Словом, скажу откровенно: упаси бог!

Потом все отправились на прогулку. Ганс окончательно стряхнул неловкость и стеснительность: рассказывал о казуистике «Исключительного закона», об арестах и судах, о том, в каких неимоверно трудных условиях приходится им бороться; его внимательно и с почтением слушали.

В горах все растянулись по узкой тропе, поднимаясь вверх; Ганс и Роза шли рядом.

Возле старого платана, в его прохладной тени они остановились.

— Отдышимся немного, фройлен Роза,— сказал Ганс, вытирая платком вспотевшее лицо.— Знаете,— вдруг понизил он голос,— я хочу кое-что у вас спросить. Смотрите: наши судьбы сходны, оба мы социал-демократы, и обоим пришлось эмигрировать под давлением своих правительств. Ну... я уже почти в эмиграции. Так вот, фройлен Роза, не кажется ли вам, что мы несколько по-

спешили? — Ганс смотрел на нее беспокойно и внимательно.

— В каком смысле поспешили? — не поняла Роза.

— Поспешили,— уже зашептал Ганс Лидеман,— выбрав этот жизненный путь, связавшись с социал-демократией. Как вы считаете?

Она была ошеломлена вопросом и соображала, как лучше ответить.

— Ведь, согласитесь,— быстро говорил ей попутчик,— нет никакой гарантии, что дело социализма победит. Судя по России и Германии, так скорее наоборот.

— По-моему,— сказала Роза спокойно, с трудом сдерживая себя,— вам, Ганс, надо покинуть ряды социал-демократии.

— Легко сказать! — Берлинский страдалец всплеснул возбужденно руками.— А вдруг все переменится? Вдруг Бисмарк скоро умрет, ведь он совсем старик...

...Именно этот разговор вспомнила сейчас Роза, вглядываясь в располневшего Ганса Лидемана. Интересно, помнит ли тот разговор он?

— Вот что,— сказал Лео.— Нашего немецкого гостя надо устроить в гостиницу. Сейчас возьмем извозчика и поедем.

Скоро все расселись в извозчичьей пролетке; застучали лошадиные подковы по булыжной мостовой. Разговаривать при тряской езде было трудно, все молчали...

...Они сидели в кафе при гостинице «Арион»: Роза, Лео, Адольф, Юлиан и их немецкий гость.

— Что же,— сказал Лео Иогихес,— мы всеми силами поможем вашей предвыборной кампании в польских землях. Выступим в газетах. Вот Роза — наш признанный журналист. Можно будет подумать об агитационной поездке по польским городам, у Мархлевского, да и у Варского, есть определенный опыт в такой работе.

— Юлиан! А у тебя какие ближайшие планы здесь, в Швейцарии? — спросил Иогихес.

— Я хочу поступить в университет,— сказал Мархлевский.— Надо наконец завершить образование, получить диплом.

— Тогда на наш факультет,— сказала Роза.— На наш с Лео.

— Правильно, Роза! — Иогихес смотрел на нее открыто, и ничего, кроме любви, не было в его взгляде.

— Я заметил,— сказал Ганс Лидеман,— у поляков, вообще у славян, как только они попадают за границу, появляется чрезмерное влечение к наукам.

— Это хорошо или плохо? — шутливо спросила Роза.

— Даже не знаю, что ответить,— развел руками немецкий гость.

Все засмеялись.

— Господа! — Ганс стал серьезным, даже что-то настороженное появилось в его облике.— Нам...— Он одернул полы пиджака.— ...руководству немецкой социал-демократии, нужно выяснить еще один, я бы сказал, щепетильный вопрос. Собственно, это вторая цель моего визита. Как вам известно, в августе этого года здесь, в Цюрихе, состоится конгресс Второго Интернационала. Нам небезынтересно знать, как будет представлена на нем Польша. До нас дошли слухи, что вы не разделяете взглядов Польской социалистической партии.

— Да, не разделяем... И мы, социал-демократы Русской Польши,— сказала Роза Люксембург,— пошлем на конгресс своих делегатов, то есть на конгрессе будет два польских представительства.

— Но кто вам выдаст мандаты? — всплеснул руками Ганс Лидеман.— У вас нет партии, нет газеты...

— Партию мы создадим,— сказал Лео Иогихес.— А газета... Как наши дела, Роза?

— Все в порядке,— сказала она, прямо смотря в гла-

за Лео.— Думаю, что не позднее июля первый номер газеты «Справа роботнича» увидит свет.

— Вы оперативны,— сказал Ганс Лидеман.— И где же издается ваша газета? Здесь?

— Нет,— сказал Варский.— В Париже.

— Ты сегодня в Париж с вечерним поездом? — тихо спросил Лео Розу.

— Да...— Она смотрела на него, и взгляд ее говорил только одно: «Люблю, люблю, люблю...»

Ганс Лидеман что-то записывал в блокнот.

7

Накануне конгресса Второго Интернационала, который открылся в Цюрихе 6 августа 1893 года, они успели выпустить первый номер «Справы роботничей». От редакции газеты были вручены мандаты на конгресс Розе Люксембург и Адольфу Варскому. Юлиан Мархлевский имел два мандата — от «Справы роботничей» и от пролетариев Лодзи и Варшавы, то есть формально от ППС...

Вечером 5 августа в гостиничном номере, где жил Лео Иогихес, собрались четверо: сам Лео, Роза, Мархлевский и Варский.

Номер был просторный, прохладный, с широким окном на тихую зеленую улицу. Горничная принесла ужин: крепкий чай, бутерброды, фрукты. Но никто не притронулся к еде, все были взволнованы, и больше всех Лео Иогихес, хотя он всячески старался скрыть свое состояние.

— Давайте еще раз все проанализируем,— говорил он, меряя комнату быстрыми шагами. — Примут ли нашу позицию на конгрессе? Думаю, нет. Упущено время. Да, идея правильная: мы объединили в одну организацию «Союз польских рабочих», «Пролетариат» и цюрихскую, точнее сказать, швейцарскую эмиграцию поляков, кото-

рая разделяет наши взгляды. Но партия еще не создана, не было учредительного съезда!

— Нам не хватило буквально двух недель,— тихо сказала Роза.

— И все-таки партия уже есть! — Страсть звучала в голосе Мархлевского. — Съезд состоится потом. Партия есть, и «Справа роботнича» в своем номере заявила об этом!

— И делегаты конгресса знают о нас,— сказала Роза, чувствуя, как волнение Лео по невидимым нитям передается ей. — Ведь мы изложили свои взгляды в отчете.

Да, она написала этот отчет конгрессу — в противовес отчету пепеэсовцев, который насквозь был проникнут националистическим духом. «О состоянии и ходе социал-демократического движения в Русской Польше (1889—1893)» — так называется этот документ. В нем дана объективная картина борьбы рабочего класса в Королевстве Польском за последние годы и заложены программные установки новой партии, в том числе по национальному вопросу. Вчера отчет был распространен среди делегатов конгресса.

— Все это так,— жестко сказал Лео. — Но не забывайте: отчет пепеэсовцев более обширный и... Как бы поточнее сказать? Более привычный для европейских социал-демократов. К тому же идея независимости Польши весьма популярна среди лидеров социал-демократии.

— За последнее десятилетие в Королевстве Польском произошли принципиальные перемены. Да и в других польских землях тоже,— перебила Роза.

— Это нам с тобой известно,— сказал Лео,— но не делегатам конгресса.

— Я все-таки не могу понять,— заговорил Варский, хмуро поглядывая на Лео,— чего ты мечешься? Нам что, отказаться от участия в конгрессе?

— Нет, нет и нет! — Роза вскочила со стула, кулаки непроизвольно сжались.

— Участвовать мы будем,— сказал Лео. — Но надо быть готовыми к поражению. Констатируем факт: завтра на конгрессе Второго Интернационала польский рабочий класс будет представлен двумя делегациями — пепеэсовцами и нами. Нас никто не знает, их знают все, там давнишние связи, особенно с русскими, с Плехановым. А!.. — Иогихес безнадежно махнул рукой. — Короче говоря... Скорее всего, наши мандаты забаллотируют. Может быть, только Юлиан устоит — со вторым мандатом, из Польши.

— Лео! — воскликнула Роза. — Меня удивляет твое пораженческое настроение.

— А ты бы помолчала! — неожиданно резко сказал Иогихес. — И вообще... Не женское это дело — драка с нашими национал-патриотами. Да еще на трибуне международного конгресса...

— Но, Лео! — Щеки ее пылали. — Ты так и не хочешь понять меня до конца... Я не могу не быть там! Ведь...

— Все, все! — перебил Мархлевский. — Кончаем дебаты. Надо перед завтрашней схваткой хорошенько выспаться. А сейчас — ужин. — Он стал разливать чай по чашкам. — Прошу! — Никто не двигался с места. — Прошу, и больше никаких споров!

...В огромном зале — подумать только: более четырехсот делегатов! — они тесно сидели рядом — Мархлевский, Люксембург, Варский. Впрочем, в мандатах они значатся иначе: Роза — Крушиньская, Юлиан — Карский, Адольф — Варшавский.

От пепеэсовцев их отделяла бельгийская делегация, но Роза хорошо видела своих противников: они занимали места у окна, и яркий солнечный свет освещал их напряженные непримиримые лица.

— Сейчас мы... — прошептал рядом Мархлевский.

Председательствующий зазвонил в колокольчик: стало тихо.

— Теперь,— сказал он громко,— мандаты, как это ни странно, от второй польской делегации. Два мандата у господина Карского — от рабочих Лодзи и Варшавы и от газеты «Справа роботнича». — В рядах пепеэсовцев послышалось шиканье. — От этой же «Справы роботничей» мандаты выданы Крушиньской и Варшавскому!

Теперь в рядах пепеэсовцев поднялся шум, раздались выкрики:

— Мы не знаем этих людей!

— Что это за газета «Справа роботнича»? Кто ее читал?

— И кто ее редактор?

— У польских рабочих есть одна газета — «Пшегленд социалистычны»!

Роза чувствует, что кровь горячим потоком приливает к лицу. Врут! Как нагло врут!.. Игнаций Дашиньский, Станислав Грабский, Витольд Иодко не знают нас? Не знают, что «Справу роботничу» финансирует Лео Иогихес и он ее официальный редактор?

— Прошу слова! — Игнаций Дашиньский вскакивает с места.

Понятно... Ведь ты, Игнаций, теперь признанный лидер ППС. А давно ли мы с тобой сидели в кафе, и ты рассказывал мне о Лео, с которым я тогда еще не была знакома...

Игнаций Дашиньский идет к трибуне — подтянутый, стройный, со шляхетскими усиками-стрелками на бледном продолговатом лице. В зале наступает тишина.

— Мы категорически отвергаем мандаты так называемой «Справы роботничей»! — звучит его бархатный уверенный голос.— Я хочу знать, кто ее анонимный редактор? Может быть, это социалист, а может быть — подо-



зрительная личность! Польская делегация заявляет: мы имеем веские основания настаивать на отклонении этих мандатов! Наша делегация постановила любой ценой не допустить их! Мы слишком уважаем конгресс, чтобы делегировать на него эти таинственные мандаты! — Румянец волнения проступил на щеках Игнация Дашиньского.— Повторяю: мы не знаем этих людей! — И он, торжественный, полный достоинства, покидает трибуну.

«Еще узнаете, господа патриоты!» — думает Роза.

И просит слова.

Трибуна была высока для Розы — еле-еле виднелась голова над ее полированным краем. Конечно же в рядах пепэсовцев послышались ехидные смешки.

— Поставьте ее на стол! — закричали из зала.

И чьи-то сильные руки водрузили ее на стол.

...Роза смотрела в зал — лица, лица, лица. Она физически ощущала взгляды, обращенные на нее. Первое выступление на подобном форуме, боевое крещение. «Сейчас впервые некую неизвестную особу, по имени Роза Люксембург, услышат корифеи международной социал-демократии: Бебель, Вильгельм Либкнехт, Плеханов, Карл Каутский... Как жаль, что в зале нет Энгельса!»

Несколько мгновений от волнения она не могла говорить.

— Товарищи! Сейчас вам сказали: газета, выдавшая нам мандаты, анонимна, редактор ее неизвестен и, возможно, он — подозрительная личность... Я не буду говорить здесь, что Игнаций Дашиньский прекрасно знает редактора «Справы роботничей»... — Шумок прокатился по залу. — Да, редактор нашей газеты анонимен! Он состоит на нелегальном положении и хочет еще возвратиться в Польшу для того, чтобы там отдаться нашей работе. — Голос ,ее креп. — Но если наши патриоты настаивают, мы телеграфно попросим редактора «Справы

роботничей» раскрыть свое имя для делегатов конгресса. Хотя, по моему мнению, о газете судят не по фамилии редактора, а по ее содержанию. Пишем же мы для польских рабочих, и они понимают нас!

Зал разразился аплодисментами...

— ...Четыре года социал-демократическое движение в Королевстве Польском,— продолжает Роза,— идет по новому, социал-демократическому пути. Движение охватило широкие массы и стало силой. Первый раз социалистические рабочие Варшавы и Лодзи прислали своего представителя на ваш конгресс. — Она имела в виду Мархлевского.— Первый раз мы основали свою газету, которая защищает интересы именно польских рабочих, и эта газета выдала нам мандаты. — Зал слушал ее с напряженным вниманием. — И вот наше представительство оспаривается польскими социал-патриотами. Те, кто настраивает конгресс против нас, имеют совсем иные цели, весьма далекие от социализма. Единство Польши в интересах эксплуататорских классов — вот их заветная мечта. И для ее осуществления они намерены использовать рабочее движение во всех польских землях, входящих в состав трех государств. — Шиканье, выкрики в рядах польской делегации. — Наша же ближайшая цель... — Она сама чувствовала, как звенит от напряжения ее голос,— иная: мы боремся не за независимое польское государство. Наша цель — борьба за политическую свободу. Для этой борьбы мы протягиваем братскую руку русским товарищам! — Шиканье и свист пепэсовцев утонули в аплодисментах. — Наша цель и наша борьба совпадают с деятельностью международной социал-демократии. Я призываю высокий конгресс голосовать за наши мандаты!..

...Она не помнила, как оказалась на своем месте. Ее трепала нервная лихорадка. Зал, лица, потоки солнца в широкие окна — все расплывалось перед глазами. Она

обнаружила себя рядом с Мархлевским и Варским, Юлиан тряс ей руку, лицо его было в красных пятнах от пережитого возбуждения.

— Молодец, Рузя! — Он не выпускал ее руку. — Молодец!

...Но все равно они с Адольфом Варским проиграли. В перерыве пришла телеграмма от Лео, раскрывающая имя редактора «Справы роботничей». (Он отправил ее из почтового отделения, которое находилось рядом с его гостиницей в центре Цюриха.) И тогда пепеэсовцы пошли на открытую подлость: они заявили, что Лео Иогихес — подозрительный человек в смысле политической честности.

...Роза сжала виски. Мой Лео — «подозрительный человек»!..

...Был объявлен очередной перерыв.

— Мы вынуждены уйти, Юлиан,— сказала она. Голова уже раскалывалась от боли. — Теперь здесь нашу партию представляешь ты один... — Голос ее сорвался.

— Все будет в порядке, Рузя! — Мархлевский сжал ее плечи. — Главное ты сделала.

— Идем, Рузя,— тихо сказал Адольф Варский. Она только сейчас увидела неестественную бледность, покрывавшую его лицо. — Тебе надо отдохнуть. Идем!

В длинном гулком коридоре их настиг звонкий голос:

— Фройлен Люксембург! Один момент!

К ним быстро шла молодая женщина в длинном платье. Высокий лоб, густые волосы зачесаны назад, быстрые, горячие глаза, порывистость, нетерпение во всем облике.

— Простите,— заговорила женщина, подходя к ним. — Я понимаю ваше состояние. Но... Просто не могла не подойти к вам... Давайте знакомиться: Клара Цеткин.— Пожатие руки было сильным и быстрым. — Вы замечательно выступили, фройлен Роза! Среди немецкой деле-

гации много ваших сторонников. Вы не огорчайтесь... Все еще у нас впереди!

— Спасибо... — Голос Розы дрогнул.

— И вот что,— Клара Цеткин улыбнулась, сразу став еще привлекательней и милее. — Мой адрес в Штутгарте. — Она протянула Розе визитную карточку. — Пишите, приезжайте. Нам есть о чем поговорить. Потом... Я просто уверена, что вы будете сотрудничать в нашем женском журнале «Глайхайт». — Клара Цеткин опять улыбнулась. — Я его редактор.

— Еще раз спасибо,— сказала Роза. И подумала, вернее, почувствовала: с этой женщиной судьба свела ее надолго, может быть, на всю жизнь...

...Она лежит на диване в своей комнате. Головная боль не проходит — слишком уж огромного напряжения стоило ей сегодняшнее выступление на конгрессе.

«Как там сейчас Юлиан? Наверняка трудно ему приходится».

На лестнице быстрые легкие шаги. Лео. Господи, как он сейчас набросится на нее: «Я прав! Не женское дело...»

Лео вбегает в комнату, стремительный, порывистый, в белой рубашке с широким расстегнутым воротом, на лице — тревога, боль...

— Рузя! Ты умница! Ты... Я горжусь тобой! — Он бросается на колени перед диваном, на котором она лежит пластом, целует ее, тормошит. — Я горжусь тобой, цыпленок несчастный!

Роза пытается что-то сказать, но он не дает ей произнести ни слова.

— Молчи! Я все знаю! Среди делегатов конгресса только и разговоров что о твоем выступлении. Я прошу тебя, не огорчайся так сильно. Ты еще будешь делегатом тысячи конгрессов! Ну, Рузя! Не огорчайся!

— С чего ты взял? — говорит она. — Я и не думаю огорчаться! — А слезы текут у нее из глаз. Но это особые слезы, они не вызваны ее поражением на конгрессе.

Вот он какой, ее Лео, ее единственная любовь...

— А теперь, Рузя, о будущем... Мы сегодня заявили о себе. — Лео пристально смотрит ей в глаза. В них она читает: «Не расслабляться!» — Теперь у нас есть газета, есть партия, надо только организационно оформить ее. И надо завоевывать на свою сторону в Польше рабочих, в Европе — социал-демократов.

— Прежде всего немецкую социал-демократию,— загорается она.

— Верно, Рузя. Ты умница. Ловишь мою мысль на лету. И тебе, нашему ведущему журналисту... Помолчи! — твердо говорит он, видя, что она собирается протестовать. — Надо знать себе цену: ты на голову выше многих, и не только у нас в Варшаве... Так вот. Тебе надо сотрудничать в партийной прессе немецких социал-демократов. Они абсолютно не представляют польских дел, большинство из них, действительно, не знают, кто мы такие, чего хотим, за что боремся, что это за Польская социал-демократия. Кстати, название мне кажется неточным, надо подумать. Необходимо подчеркнуть, что мы социал-демократическая партия именно Русской Польши... Мы постановили: Весоловский и Ратыньский едут в Варшаву для организации учредительного съезда нашей партии.

— Они сами рвутся туда,— тихо говорит она. — Особенно Казимеж.

— Ратыньский — человек действия. — Жесткие нотки звучат в его голосе.— Я понимаю его. Надо действовать. Но...— Лео останавливает Розу, которая порывается что-то сказать, ласковым прикосновением руки к ее пылающей щеке. — Каждому свое, Рузя. Итак, тебе предстоит, не сразу, конечно, постепенно, на страницах европей-

ских газет и журналов растолковывать всем: и врагам, и друзьям — наши позиции, программу, взгляды на все проблемы рабочего движения и социализм.

— Я напишу Каутскому,— выпаливает она. — В его журнал «Нойе цайт». И есть еще один журнал, куда я приглашена: «Глайхайт».

— Пожалуй,— спокойно говорит Лео,— со временем. — Сейчас надо ставить на ноги нашу «Справу робітничу». Кстати, немедленно, буквально сейчас надо готовить выпуск следующего номера. Юлиан сразу после конгресса напишет статью обо всем, что произошло. Название я одобрил: «Открытое письмо к моим доверителям из Лодзи и Варшавы». У Мархлевского... — он лукаво взглянул на Розу,— тоже блестящее перо. О позорном поведении делегации ППС он расскажет во всех деталях. Надо, чтобы в Польше скорее узнали, что здесь было сегодня. Словом, Рузя, завтра — за работу.

— Я готова,— говорит она.

— Готова... — Лео вдруг стал хмурым. — Скажи, а как продвигается твоя диссертация?

— В эти месяцы перед конгрессом,— виновато говорит она,— диссертацию пришлось отложить. Наша газета...

— Я понимаю. — Он смотрит на нее, и что-то таится во взгляде Лео, пока непонятное. — Учти, прослежу, чтобы при первой возможности вернулась к польской экономике.

— Я согласна, Лео,— покорно говорит она. — Проследи...

8

Лео Иогихес размеренно ходил по номеру гостиницы. Был поздний апрельский вечер, в открытую форточку тянуло острой прохладой со снежных альпийских вершин; мерцали за окном редкие огни.

Роза в Париже...

Газета поглощает все ее время. Газета, статьи. Работа. И он не может вырваться в Париж. К ней. Чтобы помочь. Нет, глупости. Чтобы увидеться, обнять ее, взглянуть в два темных омута ее оливковых глаз.

Лео подошел к столу. Под лампой лежала стопка ее писем. Он сел в кресло, взял первый конверт, вынул из него плотный лист бумаги, исписанный мелким, твердым, торопливым почерком. Он уже несколько раз читал эти письма.

«...Любимый мой! Когда я тебя увижу? Мне так не хватает тебя, что просто душа иссохла! Знаешь, золотой мой, сейчас почти полночь, а внизу вокруг дома гомон, шум, крики газетчиков, как в полдень».

Лео откинулся на спинку кресла, попытался представить свою Рузю в ночном Париже, в пестрой толпе на Елисейских полях.

«Ах, золото, если бы ты сейчас был со мной! Мы прокатились бы поздним трамваем до Булонского леса и обратно. Посмотрели Трокадеро, Триумфальную арку, Эйфелеву башню и Гранд-опера. Я оглушена криком. А сколько здесь прелестных женщин! Собственно, все они прелестны или, по крайней мере, так выглядят. Нет, решительно не приезжай сюда. Сиди в Цюрихе...»

Лео грустно усмехнулся.

Нет, в другом письме хотел он сейчас перечитать одно место.

Вот это письмо. Вверху плотного листа дата (Роза, как всегда, точна): «Четверг, вечер, 5.IV. 1894».

Лео читал...

«...Дзедзя, когда же все это кончится — я начинаю терять терпение. Речь идет не о работе, а о тебе! Почему ты не приехал ко мне? Если бы ты был рядом со мной, я не боялась бы никакой работы. Сегодня у Адольфов в самый разгар беседы и работы над прокламацией я внезап-

но почувствовала такую усталость и тоску о тебе, что чуть не взвыла. Боюсь, как бы в мою душу не вторгся прежний дьявол (как было в Женеве и Берне) и неожиданно в один прекрасный вечер не привел бы меня на Gare de L' Est *».

Иогихес читал дальше, и жар нетерпения и темная тоска все больше наполняли его грудь.

«...Чтобы утешиться, я рисую себе картину, как засвистит паровоз, как я буду прощаться с Ядзей и Адольфом... (И в этом месте Лео испытал мгновенный приступ зависти к Варскому и его жене: может быть, сейчас они видят его Рузю)... как тронется поезд и я поеду к тебе. Ах, боже, мне кажется, что меня от этой минуты отделяет по меньшей мере стена из Альпийских гор. Я представляю себе, как буду приближаться к Цюриху, как ты будешь ждать меня, как я выйду из вагона и помчусь к дверям вокзала, а ты будешь стоять в дверях, в толпе, и не сможешь побежать ко мне навстречу — а вот я к тебе побегу».

Все. Больше так невозможно. Пусть будет: поезд приходит из Парижа и привозит ее. В конце концов есть причина: четырнадцатого мая в Цюрихе намечается празднование знаменитого юбилея — столетие польского восстания под руководством Костюшки. Пепеэсовцы собираются превратить его в трибуну для проповеди своих идей. Кто, как не Роза, должна ответить им? И вроде бы приглашен выступить Плеханов...

...Зал был переполнен, становилось душно, хотя все окна были распахнуты, и за ними блистал ослепительный майский день, цвели старые каштаны, бело-розовые свечи горели в яркой зеленой листве.

* Вокзал в Париже, откуда отправлялись поезда в Швейцарию.

Лео Иогихес стоял возле окна, и ему казалось: протяни руку — и можно сорвать нежный цветок.

«...Странная у меня привычка,— подумал он, глядя на цветущий каштан. — В момент напряжения, когда надо принять ответственное решение, возникает потребность хоть на мгновение отвлечься».

Лео смотрел на старые деревья за окном, но боковое зрение фиксировало все происходящее в зале: восторженные лица, портрет Тадеуша Костюшки на сцене, обрамленный гирляндой из лавровых веток; он видел в президиуме Георгия Плеханова, величественного, в щегольской темно-зеленой бархатной куртке. Ему на ухо что-то возбужденно шептал Игнаций Дашипьский...

Уже выступило несколько ораторов от разных группировок, несколько пепезсовцев, и общий тон единодушен: Тадеуш Костюшко — гордость Польши и ее национальный герой. Уже тогда, сто лет назад, он боролся за единство польских земель, возглавил восстание народа против сил, разделивших страну. Что же, все это так, Костюшко действительно выдающийся деятель польской истории. Но есть сегодняшний день, современная Польша, вернее, польские земли в составе трех государств, и есть борьба польской социал-демократии за интересы рабочего класса. И, значит, есть оценка личности Костюшки с позиций нашей партии...

Может быть, сейчас нет смысла выступать Розе — ее голос утонет в протестующих криках большинства этого зала. И завтра же газеты раструбят по всей Европе о поражении лидеров новой партии — СДКП.

Лео посмотрел на Розу. Она сидела в третьем ряду, спокойная, казалось, даже безразличная ко всему происходящему. О, ему знакомо это ее спокойствие: после него может последовать буря. Подойти и сказать: «Не выступай!» Сейчас надо решить, немедленно... Ну! Идти к ней? Лео опять посмотрел на Розу. Нет, ее не остановишь...

— Слово предоставляется... — В голосе председательствующего зазвучала ирония.— ...от партии СДКП... Простите, господа, расшифровать не могу. — В зале послышались смешки.— Слово предоставляется Розе Люксембург!

Она поднялась со своего места, неторопливо пошла к трибуне.

А он мгновенно увидел: ночной поезд приходит из Парижа, паровоз, окутанный клубами пара, жарко проплывает мимо него, мимо толпы встречающих. Тусклые фонари, сеется мелкий теплый дождик. Скрежет тормозов, поезд останавливается. И он сразу видит ее в дверях вагона: в длинном темном платье, в шляпе с широкими полями, с маленьким саквояжем в руке. Порыв, нетерпение, устремленность вперед — к нему. Он пробирается к вагону через гудящую праздничную толпу. И их мгновенное объятие среди чужих людей. Если есть на земле счастье, то оно слагается из таких мгновений...

...А Роза уже на трибуне. Зал утих.

— Я выступаю здесь как социалистка,— начала она.

— Мы тоже социалисты! — закричали из рядов, где сидели пепеэсовцы.

— Нет, господа, вы — национал-патриоты. Вернее, сначала вы национал-патриоты, а потом — немножечко социалисты. И те признанные лидеры международной социал-демократии, которые сегодня поддерживают вас... — Она открыто взглянула в сторону Плеханова. — ...со временем поймут это. У истории свои неумолимые законы. А теперь маленькая справка для господина председательствующего. Я социалистка и выступаю здесь от имени партии... Расшифровываю для вас, господин председатель, таинственные буквы. От имени Социал-демократии Королевства Польского. В прошлом году здесь на конгрессе Второго Интернационала мы заявили о себе, а в марте этого года в Варшаве состоялся первый учредительный

съезд нашей партии, которым руководили Казимеж Ратыньский и Бронислав Весоловский. Весоловский теперь является секретарем Главного правления. Непосвященных я адресую к органу нашей партии — газете «Справа роботнича», которая регулярно выходит. Там изложены наши программа-минимум и программа-максимум.

«Умница, Рузя! Только ты умеешь так использовать для дела любую трибуну». И Лео Иогихес подумал, что он не догадался бы так начать выступление на этом юбилее.

— Именно с позиций нашей партии,— продолжала Роза в нервной наэлектризованной тишине,— я хочу сказать несколько слов о Тадеуше Костюшке. Да, он герой польской истории, безусловно! Сто лет назад под его руководством произошло самое грандиозное восстание в Польше за последнее столетие. Но сейчас я рассматриваю этого выдающегося деятеля нашей истории с позиций того класса, интересы которого защищает моя партия, и руководствуясь исторической ситуацней в польских землях сегодня...

— Долой! — послышались крики из зала.

— Позор!

— Да здравствует Тадеуш Костюшко!

Постепенно шум утих, и Роза сказала:

— Успокойтесь, господа! Мне понятны ваши патриотические чувства. Я разделяю их. Но... Повторяю еще раз: я рассматриваю личность Костюшки и восстание под его руководством с позиций нашей партии, с социалистических позиций! Сначала о личности юбиляра. С юных лет Тадеуш готовил себя к военной карьере. Офицер из разорившегося мелкого шляхетского рода, он в 1775 году в поисках работы — в Польше он ее не находит — отправляется в Америку: там идет война Соединенных Штатов и Англии, требуются офицеры. Костюшко встает на сторону рождающегося нового государства, обнаруживаются

его незаурядные способности военного деятеля и инженера. Война закончена, Костюшко возвращается в Польшу в чине генерала, но только через пять лет получает назначение в королевскую армию, участвует в войне с Россией 1792 года, разделяя прогрессивные взгляды шляхты, группировавшейся вокруг Чарторыйских. Поражение Польши побуждает Костюшко эмигрировать.

Во Франции в это время разражается величайшая революция. В кипящем невиданными ранее политическими страстями Париже сменяются правительства. Еще до основных революционных событий, после переворота 10 августа 1792 года французский министр иностранных дел Лебрен встречается с Тадеушем Костюшкой: он послан польскими патриотами во Францию для переговоров. Цель их конкретна: помощь революционной Франции польским силам, которые готовят восстание. Когда в Париже к власти приходят якобинцы, Тадеуш спешит покинуть Францию. На родину он возвращается в 1794 году. И с какими убеждениями и выводами? Это покажут скорые события. Трубит рог судьбы. Польская шляхта положение в Европе считает весьма благоприятным для того, чтобы поднять восстание. Какое? Во имя каких целей? И вот здесь мы подходим к главному...

Зал напряженно слушал. Лео Иогихес взглянул на Плеханова. Георгий Валентинович слушал Розу с интересом и вниманием.

— Да, восстание 1794 года, длившееся почти восемь месяцев, было самым крупным, какое знала Польша за минувшее столетие. — Роза поправила прядь черных волос, упавшую на лоб. — В нем приняли участие самые широкие круги общества и преимущественно крестьяне. И хотя по своему характеру оно было общенародным, польская земельная знать стремилась восстановить Польшу в ее старых пределах и на базе старых общественных отношений. Нужен был военный руководитель,

популярный в народе. И он нашелся в лице Тадеуша Костюшки, за которым сохранялась слава героя войны в Америке.

Костюшко пытался улучшить положение крестьян, что зафиксировано в Поланецком универсале, который, впрочем, не отменил полностью крепостничества и откровенно игнорировался помещиками. Обращаю ваше внимание, господа, на примечательный факт... Именно во время восстания Тадеуш писал княгине Чарторыйской: «Мы не затеяли новой французской революции».

В зале было разлито нервное молчание.

Лео Иогихес смотрел на Розу.

— Мы, социалисты,— подчеркиваю это еще раз — расцениваем личность Тадеуша с позиций рабочего класса! И еще раз хочу сказать: Костюшко — величайший деятель польской истории. Его девизом было: единство Польши, объединение отторгнутых . польских территорий...

— Правильно! — закричали из зала.

— Браво!

Шум волной прокатился по рядам.

Роза спокойно выждала, когда наконец наступит тишина.

— Более того, господа! — Теперь в ее голосе была твердость.— Костюшко жаждал и добивался независимости Польши. И для того времени это была прогрессивная, прекрасная идея. Но сегодня другая ситуация! Судя по речам, которые мы слышали здесь, этого не хотят понять наши национал-патриоты! И вполне естественно, что для пепеэсовцев сейчас Тадеуш Костюшко первый национальный герой Польши! Потому что для них главное сейчас — объединение польских земель в единое государство. Что же, на здоровье! Но при чем тут социализм? Мы же, члены Социал-демократии Королевства Польского, говорим: сначала свержение самодержавия и революция в

тесном союзе с русскими рабочими и уже потом решение польского национального вопроса!

Роза сошла с трибуны под шум, выкрики: «Позор!», аплодисменты.

Она не успела еще сесть на свое место, как прозвучал голос председательствующего:

— Теперь я с большим удовольствием предоставляю слово нашему уважаемому русскому гостю господину Плеханову.

Зал разразился овацией.

Лео Иогихес смотрел на Георгия Валентиновича. Плеханов что-то тихо сказал Игнацию Дашиньскому, тот энергично закивал головой.

«Неважно,— подумал Лео.— Роза сделала главное: не дала им превратить этот юбилей в националистическую вакханалию».

Он посмотрел в окно. Как роскошно цветут каштаны! Напряжение, в котором он находился во время выступления Розы, отпустило.

Плеханов поднялся на трибуну.

Зал затаил дыхание.

— Господа! — Голос у Плеханова был твердый, властный, уверенный. — Признаюсь: я впервые попал на подобный юбилей. Здесь нет торжественных речей, нет, я бы сказал, атмосферы праздника. Идет полемика, дискуссия. Мы услышали две диаметрально противоположные точки зрения на личность Тадеуша Костюшки и то восстание, которое он возглавлял. Мне предоставлено слово, и этим я невольно становлюсь участником спора. Но я не хочу прямолинейно вставать на ту или иную сторону. Я говорю сейчас как русский социал-демократ. Так вот... Как русский, я всей душой за независимость Польши!

— Виват!

— Спасибо!

— Да здравствует Плеханов! — неслись голоса со всех сторон.

Роза повернулась к Лео. Лицо ее было бледно и замкнуто, она улыбнулась Иогихесу и показала взглядом на дверь. Он кивнул ей.

Зал неохотно утих.

— Как социал-демократ, я заявляю: чем больше царствует порядок в Варшаве, тем больше вешают в Петербурге. И поэтому я приветствую борьбу за отделение Польши от России!

Восторженная овация горным обвалом прокатилась по залу, в ней потонули отдельные негодующие выкрики.

Плеханов поднял руку. Стало тихо.

— И поэтому для меня тоже Тадеуш Костюшко — польский национальный герой...

Они дослушали выступление Плеханова до конца, как раз был объявлен перерыв.

После душного зала майский воздух, пропитанный весенним цветением, показался особенно свежим, будто в нем был разлит живительный нектар. Сквозь зелень каштанов ослепительно сияли на солнце снежные вершины Альп.

Роза глубоко, с наслаждением дышала.

— Ты сделала большое дело, Рузя,— тихо сказал Иогихес. — Мы не можем превратить имя Костюшки в знамя борьбы польского рабочего класса. Жаль, что сейчас нас не все понимают.

— Не огорчайся.. Жизнь есть борьба, верно? Мы дали бой и изложили свою позицию. Ничего, Плеханов — могучий ум, со временем он поймет, что от ППС и не пахнет социализмом...

Они шли под зеленым шатром каштановых веток, под ногами трепетали солнечные блики.

— Рузя,— вдруг, неожиданно улыбнувшись, спросил он,— чего ты сейчас очень хочешь?

— Сейчас? — Она пытливо посмотрела на него. — Оказаться в Женеве и посидеть на берегу озера. Есть там у меня любимая скамейка.

— Так едем!

— Когда?

— Немедленно!..

9

3 августа 1896 года пассажирский паром пересекал Ла-Манш, направляясь из Англии во Францию. День был пасмурный, низкие тяжелые тучи висели над морем, тугой влажный ветер гнал на паром серо-зеленую боковую волну; сильно качало.

На верхней палубе никого не было, кроме молодой невысокой женщины в летнем светлом плаще, с непокрытой головой. Она стояла у задней кормы, держась рукой в лайковой перчатке за влажный поручень. Женщина смотрела на неспокойное море, на рваные тучи, которые спускались все ниже, и похоже было, вот-вот хлынет дождь. Она подставила лицо ветру, остро пахнущему морскими водорослями, йодом, рыбой.

К ней подошел молодой матрос со шваброй в руке (он драил палубу), спросил участливо:

— Вас укачало, мадам? Может быть, проводить в салон?

— Нет, благодарю! — быстро сказала Роза Люксембург. — Я хочу здесь побыть одна.

Матрос ничего не сказал, отошел в сторону, опять взялся драить палубу.

«Какое у него славное лицо,— подумала Роза. — Открытое, доверчивое. И эта смешная рыжая борода. Наверно, отпустил для солидности. Ведь он еще совсем мальчик. А я уже «мадам». Двадцать пять лет. Можно подвести некоторые итоги».

За паромом летела стая чаек. Иногда какая-нибудь из них с резким неприятным криком стремительно пикировала вниз, мгновенно касалась воды, что-то выхватывая из нее.

Подвести некоторые итоги... Надо подвести итоги только что случившегося. Позавчера в Лондоне закончился очередной конгресс Второго Интернационала. На этот раз поляки были представлены двумя делегациями: многолюдной и шумной от ППС и четыре человека представляли СДКП — она, Роза Люксембург, Мархлевский, Варский и представитель лондонской секции Станислав Воевский. Итог трехлетней борьбы с пепэсовцами... Конгрессу были предложены две резолюции по польскому вопросу — от ППС и от СДКП. Главное требование пепэсовцев: поддержка борьбы за создание независимого польского государства как первоочередной задачи пролетариата польских земель. Наше: сначала революция в союзе с рабочими других стран, и прежде всего России, потом решение вопроса о национальной независимости, ибо сейчас создание самостоятельного польского государства просто невозможно по экономическим и политическим причинам; конечно, имеется в виду Польша, в которой торжествуют интересы рабочего класса.

И что же? Роза горько усмехнулась. Лондонский конгресс вообще исключил из политической резолюции пункт о польском вопросе. Общие формулировки. Эту фразу из резолюции она запомнила наизусть: «Конгресс объявляет, что он стоит за полное право самоопределения всех наций, и выражает свое сочувствие рабочим всякой страны, страдающей в настоящее время под игом военного, национального или другого абсолютизма...» И все. Выходит, ни вашим, ни нашим...

Значит, Лео, ты был прав, утверждая, что и на этом конгрессе мы проиграем. Я помню твои слова: «Уж больно ты бескомпромиссна, Рузя». Но в нашем деле нужно

быть принципиальным! Если мы социалисты и последователи Маркса.

Она давно заметила в себе эту странную особенность: разговаривать с Лео, когда его нет рядом.

Ты не прав вдвойне, Дзедзя! Все, что сделано, не напрасно. Какая была полемика в газетах и журналах накануне конгресса! И теперь наши взгляды, нашу программу знают социал-демократы Европы. Ты даже ни разу не поздравил меня. А ведь я столько написала и опубликовала в последние месяцы! И где? Во Франции, Италии и, самое главное, в Германии, у Каутского, в его журнале «Нойе цайт». Ты же не станешь отрицать, что этот журнал самый популярный и авторитетный у социалистов всего мира?

Она живо вспомнила свою работу над статьями для «Нойе цайт», бессонные ночи над ними, переписку с редакцией, волнения и чувство неудовлетворенности при вынужденных сокращениях... И все-таки эти большие статьи — «Новые течения в польском социалистическом движении в Германии и Австрии» и «Социал-патриотизм в Польше» — появились в журнале накануне Лондонского конгресса. В них страстно и аргументированно критиковалась позиция пепезсовцев по польскому национальному вопросу и отстаивались взгляды на эту проблему СДКП. Статьи привлекли всеобщее внимание, вызвали дискуссию в социал-демократической прессе Европы, а в газетах ППС поднялся настоящий переполох.

Роза едко улыбнулась. Ты не забыл, Лео, что они обо мне писали в своей газетке «Напшуд»? «Г-жа Роза Люксембург — истерическая и сварливая особа...»; «Г-жа Роза Люксембург, которая покинута в Польше всеми, у кого голова и сердце находятся на надлежащем месте...» Каков стиль, Лео! Как их ослепили националистические чувства! А помнишь последнюю фразу в этом опусе? «Польский социализм еще не пал так низко, чтобы г-жа Роза

Люксембург с тихой компанией бердичевских «русских» имела бы право говорить от его имени».

Нет, в полемике со своими оппонентами она не унизилась до сведения личных счетов.

Да, Лео! Ты не знаешь самого главного. В перерыве между заседаниями, кажется, двадцать девятого июля ко мне подошла жена Карла Каутского. Она сказала, что муж заболел и остался в гостинице, однако передала мне его слова: статьи ему нравятся, хотя он не со всем согласен, тем не менее просит новые. И добавила: «Будете в Берлине, обязательно заезжайте». Так-то, мой друг!

...Теперь за паромом летела только одна чайка, и, глядя на нее, Роза вдруг почувствовала тоску, темное одиночество, чувство неудовлетворенности.

Да, это так. Она одинока и в своей личной жизни, и в борьбе. Маленькая горстка единомышленников. И то... Вон Юлиан считает, что я слишком резка, прямолинейна. Он тоже не понимает, что не может быть отклонений и виляний в сторону, когда мы отстаиваем свои позиции. Пытался языком дипломатов говорить с немецкими социал-демократами, которые живут в эмиграции в Англии, разъясняя им наше понимание польского национального вопроса, и что же? Никого не убедил. А ведь специально за три недели до конгресса приехал с Варским в Лондон завоевывать сторонников. Так-то... И с друзьями приходится спорить. А что у нас с тобой, мой Лео? Что произошло? Почему ты стал другим? Нет, не надо сейчас... Отложим разговор до встречи.

До встречи... А встретимся и будем молчать...

Чайка все летела над морем, будто преследуя огромный пассажирский паром.

Одиночество, неудовлетворенность... Есть тут другие причины этой душевной депрессии. Надо честно смотреть правде в глаза. Приходится закрывать «Справу роботничу». Накануне Лондонского конгресса Интернационала

вышел последний, двадцать пятый номер газеты. Ее детище, ее ревнивая любовь. Сколько газете отдано сил и жара сердца! Наверно, более полусотни статей и заметок опубликовала в своей газете ее бессменный редактор пани «Крушиньская». И вот... На родине после повальных арестов в 1895 году партия Социал-демократия Королевства Польского фактически перестала существовать. В Польше нет сил, которые распространяли бы газету...

Так что же, Лео, мы сложим крылья? Нет, любимый. Остается борьба международной социал-демократии. Мы с тобой принадлежим ей. А ближайшая задача... В этом ты прав: надо заканчивать университет, защитить диссертацию.

— Роза! Вот ты где! Мы с Адольфом всюду тебя ищем.

К ней быстро шел Юлиан Мархлевский.

«Чудак,— с теплотой и нежностью подумала она.— Зачем он завел эти кайзеровские усики?»

— Подплываем,— сказал Юлиан, подходя к ней.— Вон она, Франция.

Паром делал крутой левый поворот, и впереди открывался холмистый берег, окутанный туманом, сквозь который яркой красной звездой мерцал маяк.

— Тебя встретит Лео? — спросил Мархлевский.

— Нет,— спокойно сказала она.— У него неотложные дела. До Цюриха я доберусь в гордом одиночестве.

Теперь целое белое облако чаек с пронзительными криками кружилось над паромом. Наверно, это были французские птицы.

10

1 мая 1897 года. В малом зале Цюрихского университета идет защита диссертации Розой Люксембург. Зал переполнен, за открытыми окнами прохладный весенний де-

нек, то солнце, то облака. Лео Иогихес сидит в последнем ряду, и ему смутно видно лицо Розы. Только что она кончила говорить, отвечая на вопросы двух оппонентов.

Ее диссертация «Промышленное развитие Польши» ошеломила высокий ученый совет. Что же, так и должно быть. Он не сомневался в полном успехе: Лео дважды читал работу Розы. Чем она поражает? Глубокое, всестороннее исследование предмета, огромное количество привлеченных источников; схемы, диаграммы, таблицы подсчетов; экскурсы в экономическое прошлое Польши и России; анализ сложных переплетений политики и экономики, прогноз на будущее. И форма изложения — свободная, раскованная, страстно-публицистическая, лишенная традиционного унылого академизма, которым мечено подавляющее большинство диссертаций. Прав Варский, когда говорит, что эту работу надо издавать отдельной книгой: в ней обоснована экономическая политика нашей партии, глубоко анализируется процесс промышленного врастания Польши в экономическое тело России и делается обоснованный вывод о невозможности — по экономическим причинам — отделения Королевства Польского от России. И главный итог: у рабочего класса Русской Польши, который эксплуатируют и «свои» и иноземные капиталисты, общий с российским пролетариатом враг: самодержавие. А значит — союз и совместная борьба.

Как она работала! Особенно в последний год, после Лондонского конгресса Второго Интернационала. Приступ знакомой ревности к ее делу испытал сейчас Лео Иогихес. Просто нечеловеческая работоспособность. «Я так не могу»,— подумал он, слушая оппонента.

Трибуну уже занимал представительный профессор, несколько барственного вида.

— Сегодня на нашей кафедре праздник,— торжественно говорит он. — По существу вопроса мне нечего возразить нашей уважаемой диссертантке. Могу только вы-

разить изумление, что такая блестящая работа написана столь молодой особой...

В основном она работала в Париже, уезжая туда надолго, целые дни проводила в Национальной библиотеке и в библиотеке Чарторыйских, выискивая материалы о промышленном развитии Польши. Однако ее хватало на длинные письма, которые он получал регулярно,— о парижских выставках, о нравах Монмартра, о ночной жизни Елисейских полей, о том, что Париж в вечерние часы становится фиолетовым, а Сена розовой, о последних политических новостях французской столицы...

— ...Розе Люксембург из Варшавы, Русская Польша, присваивается степень доктора юридико-экономических наук!

Аплодисменты, восторженные крики. Розу обнимают друзья.

Он, Лео, тоже хлопает ей, но не поднимается со своего места.

Как определить это чувство? Зависть? Нет... Роза переросла меня, вот в чем дело. Она сильнее, выше. Надо мной.

...Розе что-то говорит старый профессор, темпераментно жестикулируя, а она ищет взглядом его. Подойти. Встать и подойти к ней. Но Лео Иогихес по-прежнему сидит не шевелясь. Страшная преграда: ее успех, ее достижения, карьера... Так вот в чем дело! Успех. Да, да! Это так. Женщина, пусть любимая, ведет за собой, как учитель в классе отстающего ученика. Нет уж, увольте...

Лео встает и, проклиная себя, выходит из зала.

Но на улице останавливается, усилием воли приказывает себе вернуться. «Нет, так нельзя,— говорит он.— Низко. Мелко. Сейчас поздравлю, обниму, приглашу вечером отметить».

...Вечером этого же дня они сидят в ее любимом кафе на окраине города.

Лео борется с глухим раздражением, которое постепенно наполняет его. Непонятно, что хорошего она нашла здесь: мрачная отвесная стена скалы в потоках воды, и от нее несет сыростью; чуть ли не под ноги вытекает ручей, и от него слякоть; несвежие скатерти, да и кухня оставляет желать лучшего.

Роза оживлена, порывиста, глаза сияют. Только синие тени переутомления под ними говорят о беспощадной работе, которой она себя изнуряла в последние месяцы. Но она уже почувствовала его состояние.

— Что с тобой? — нежно, мягко, осторожно спрашивает она.

— Со мной ничего,— отвечает он и не может погасить резкость в голосе.

— Ты ничего не хочешь сказать мне? Не хочешь поздравить?

— Я просто подумал, что ты устала от поздравлений. И потом, зачем повторяться?

— Ничего, я вытерплю. Повторись.

— Твоя диссертация прекрасна, могуча и прочая и прочая,— иронически говорит он и опять ничего не может сделать с собой. — Поздравляю вас, доктор! Вы почти на грани гениальности! Браво!

Они молча пьют шампанское. И Лео видит, что ее глаза повлажнели.

«Черт меня возьми!»

— Ты извини, Рузя, что я без цветов. Ни у одной цветочницы не было роз.

— Я бы согласилась и на гвоздики,— говорит она сквозь слезы, но уже благодарная улыбка освещает ее лицо.

Некоторое время они молчат. Потом Роза говорит:

— Все мне твердят в один голос, что диссертацию надо издать отдельной книгой.

«В один голос...» Мутная тяжелая волна опять поднимается в нем.

— Действительно, Лео, книга может быть полезной для экономического образования молодежи, особенно в кружках Польши, в ней собраны данные, которых в России или нет, или к ним закрыт доступ. И я уже предприняла в этом смысле кое-какие шаги.

— Какие же, интересно? — Он пристально смотрит на нее.

— Я написала домой, попросила взаймы денег. Ведь на издание нужны средства? — Теперь Роза, тоже пристально, смотрит на него.— Думаю, Юзеф мне поможет, дела у него в клинике идут хорошо.

— И где же ты думаешь издавать книгу? — спрашивает он.

— Не знаю... Может быть, в Германии. Может быть, в России.

— Мы подумаем, как быть. Я помогу тебе с изданием.

— Спасибо, Лео! — Глаза ее сияют. — Господи! Какая я счастливая! Ты со мной... Университет окончен...

— Тобою! — срывается у него.

— Что ты нервничаешь, милый? — Она осторожно гладит его руку. — Тебе только взяться, и будет диплом.

— А дальше? — перебивает он и убирает со стола руку.

— Лео,— говорит Роза, и он слышит, пока далекое, раздражение в ее голосе. — Последнее время я не понимаю тебя. Что происходит? Если я в чем-нибудь провинилась перед тобой — скажи.

— Что за глупости! «Провинилась»... — И он не может унять раздражения в голосе.

— Ну хорошо... Давай попробуем говорить спокойно. — Роза открыто смотрит на него. — Ты закончишь университет, я подожду, поработаю пока в Цюрихе, я хочу еще кое-что написать для «Нойе цайт». Будет у тебя диплом, и вместе подумаем, что делать дальше.

— У тебя есть конкретный план? — спрашивает он.

— Пока мне ясно одно,— тихо говорит Роза. А он, взвинчиваясь все больше, думает: «Прямо как с больным со мной». — Из Швейцарии надо уезжать, здесь уже нечего делать. Твоим дипломом мы завершим образование, газета наша закрыта. Необходимо найти поле деятельности, чтобы не сидеть праздно, сложа руки. Итак, куда ехать? В Варшаву возвращаться невозможно. Во-первых, арестами последних лет партия опустошена, фактически прекратила существование, и возможности для работы там резко сократились. Во-вторых, царские опричники нас с тобой знают. Стоит мне только где-нибудь на Краковском предместье высунуть свой длинный нос...

«Все это верно,— думает он. — У нас есть информация из недр тайной полиции. И что мы ее получили — моя заслуга. На нас давно заведены дела».

Его память мгновенно выстраивает в ряд известные факты: на Розу полиция завела дело в 1890 году, сразу же после ее эмиграции в Швейцарию. Молодую особу, как говорится, ждут в родных пенатах. Все эти годы полицейские ищейки, шнырявшие вокруг них здесь, в Цюрихе, поставляли в центр сведения. Перехватывалась и перехватывается переписка. Правда, информация у них разрозненная, случайная. Но... Вполне достаточно. В Розином досье хранятся свидетельства о ее контактах с немецким социал-демократом Любеком (Еще бы! У Любеков Роза снимает комнату), с женой Адольфа Варского Ядвигой Хшановской (Странно... О самом Адольфе и его тесном контакте с Розой в том «донесении» ни слова. В вашей работе, господа осведомители, отсутствует логика); Роза причислена к окружению Плеханова, Засулич и других русских политических эмигрантов, им, безусловно, известна ее роль в издании газеты «Справа роботнича», и, кажется, полиции удалось перехватить ее переписку с киевским «Союзом борьбы за освобождение рабо-

чего класса» — группой польских социал-демократов в Киеве, объединившихся в марте 1887 года с русскими социал-демократами. Словом, действительно, стоит ей только появиться в Польше — очень легко сразу угодить под военный суд и со скамьи подсудимых прямиком отправиться в Сибирь.

— ...И что же ты предлагаешь? — спрашивает он.

— Надо думать о том, как перебраться в Германию,— говорит Роза.

— То есть прусское подданство?

— Да... Очевидно.— Роза пристально смотрит на него. — Мы, впрочем, можем и без этого подданства поехать с тобой в Германию, а уж там подумать, как получить его. Наверняка есть разные пути. Включая фиктивные документы. В революционной практике дело обычное. И, я думаю, немецкие товарищи помогут.

— Что-то новое.— Беспокойство охватывает Лео Иогихеса.

— Все это в будущем. А сейчас, Дзедзя... Нам, по-моему, надо уладить наши отношения.— Ее голос начинает дрожать от волнения. — Может быть, тогда ты успокоишься, перестанешь брюзжать, заниматься совершенно непонятным мне самоедством...

— Что ты имеешь в виду? — отрывисто спрашивает он.

— Почему бы, Лео,— тихо, почти шепотом говорит она,— нам не зарегистрировать наш брак? Стать мужем и женой... ну...— Румянец вспыхивает на ее щеках.— ...по закону?

И он срывается почти на крик:

— Вот она, женская логика! Ты забыла? Ты забыла, что я уже предлагал тебе это?.. — Он весь накрыт тяжелой волной, задыхается в ней.— Ты мною играешь, как мячиком, вперед — назад! Кто высмеял меня тогда?

Он кричит, на них оглядываются за соседними сто-

ликами; испуганное лицо официанта, кто-то дергает Лео за рукав, оказывается, он стоит; у него такое ощущение, что резко потемнело вокруг. Ведь это впервые с ним: никогда, ни при каких обстоятельствах он не срывался на крик.

Из темноты, окружающей его, спокойный, властный голос Розы:

— Я не привыкла, чтобы со мной разговаривали в подобном тоне.

И она резко поднимается из-за стола, уходит.

Он четко, контрастно видит, как заметно она прихрамывает.

Пятна лиц вокруг.

— Догоните ее! — говорит ему кто-то.

Он стоит истуканом.

...На следующий день Лео Иогихес узнал, что Роза уехала из Цюриха. Ее не было почти месяц. Он извелся, все валилось из рук. Он проклинал себя. Где она? Что с ней? Наконец пришла открытка с берега Женевского озера с единственной фразой: «Решила позволить себе маленькое путешествие по Швейцарии...»

Ах, она путешествует, развлекается! Что же, очень похоже на Розу Люксембург, доктора юридико-экономических наук... Опять он полетел в бездну, где бушевала мутная вода ожесточения и уязвленного самолюбия.

Она приехала в конце июня, похудевшая, загорелая, с воспаленным сухим блеском своих огромных глаз — он увидел ее в студенческом клубе. Роза не подошла к нему. Но и он не сделал шага ей навстречу. В этот же день они издалека смотрели друг на друга в студенческой столовой, потом в университетской библиотеке.

Прошло несколько дней: Роза и Лео помирились. Но что-то произошло в их отношениях, что-то необратимо сломалось. Роза часто плакала, стала нервной, раздражительной. Ссоры, примирения, слезы. В одном Роза

Люксембург оставалась прежней: она много, неистово работала.

Семнадцатого июля Лео Иогихес получил письмо и очень удивился: письмо было от Розы, хотя они жили рядом, в двух шагах друг от друга.

Он сел в кресло, вскрыл конверт ножом из слоновой кости.

Листы, исписанные ее торопливым убористым почерком, еле уловимо пахли духами.

«В этом она вся»,— подумал Лео с грустью. И с непонятным раздражением стал читать письмо:

«Дзедзя, милый, знаешь, почему я пишу тебе письмо, вместо того чтобы высказать все при встрече? Я больше не умею, я больше не могу говорить с тобой свободно о таких вещах. Я сейчас впечатлительна и подозрительна, как заяц. От самого незначительного твоего жеста или ничего не значащего слова у меня сжимается сердце и немеет язык. Я могу лишь в том случае говорить с тобой откровенно, если чувствую себя в атмосфере теплоты и доверия, а это бывает у нас теперь редко!

Сегодня я была переполнена удивительным чувством, которое вызвали у меня несколько дней одиночества и размышлений. У меня накопилось так много, о чем рассказать тебе, а ты был рассеянным, насмешливым и считал, что не нужна тебе «лирика», то есть именно все, чем я была занята в ту минуту. Мне это причинило боль, а ты рассудил, будто я просто недовольна, что ты так быстро уходишь. Я бы и теперь не решилась написать это письмо, но мне придало смелости то небольшое участие, которое ты проявил ко мне при прощании, на меня повеяло прошлым, тем прошлым, при воспоминании о котором я каждую ночь, перед тем как заснуть, зарываюсь в подушку и плачу. Мой дорогой, мой милый, ты, наверное, уже с нетерпением пробегаешь глазами по строчкам — «чего же она хочет, наконец?»

Знаю ли я, чего хочу? Хочу тебя любить, хочу, чтобы у нас царила та мягкая, полная доверия, идеальная атмосфера, которая была когда-то. Мой дорогой, ты меня часто понимаешь чересчур упрощенно. Ты думаешь, что я вечно «дуюсь» потому, что ты уходишь или что-нибудь в этом роде. И не можешь себе представить, как глубоко переживаю я, что наши отношения стали для тебя чем-то чисто внешним. О, не говори, дорогой мой, что я этого не понимаю, что они не стали внешними, что мне это кажется. Я знаю, я понимаю, что́ все это значит, и понимаю потому, что чувствую. Раньше, когда ты мне говорил об этом, слова эти были для меня пустым звуком, сейчас — тяжелой действительностью. О, я прекрасно ощущаю, я чувствую все, наблюдая, как ты, нахмурившись, молча и в одиночестве переживаешь свои хлопоты и неприятности, говоря мне взглядом — «не твое дело, смотри себе свои дела», чувствую, когда вижу, как после какой-нибудь крупной ссоры ты переживаешь случившееся и обдумываешь наши отношения, как приходишь к каким-то выводам и принимаешь какие-то решения, поступая со мной таким образом, что я остаюсь вне твоих мыслей, и только собственным умом могу понять, о чем ты думаешь; чувствую после каждого нашего примирения, когда ты вновь отстраняешь меня и, погруженный в свои мысли, принимаешься за работу; чувствую, наконец, когда мысленно охватываю всю свою жизнь, все свое будущее, которое мне представляется будущим куклы, управляемой каким-то механизмом. Мой дорогой, мой милый, я не жалуюсь и ничего не хочу, хочу только, чтобы ты не считал каждую мою слезу бабьей сценой.

Откуда мне знать? Наверное, я во многом, а может быть, в первую очередь сама виновата в том, что между нами нет ровных и теплых отношений. Но что же мне делать — я не умею, не умею вести себя! Я не знаю как,

я никогда не сумею даже обдумывать создавшееся положение, не сумею делать выводы, не сумею выдерживать по отношению к тебе какую-нибудь определенную линию поведения — каждый раз я поступаю так, как мне подсказывает чувство. Когда у меня накапливается избыток любви и обиды, я бросаюсь тебе на шею, когда ты отталкиваешь меня своим холодом, сердце у меня разрывается, и я ненавижу тебя так, что убила бы. Золотой мой, ведь ты все можешь понять и рассудить. В наших отношениях ты всегда это делал за нас обоих! Почему же сейчас ты не хочешь сделать этого вместе со мной?.. А может быть, это правда — я чувствую все чаще, что ты меня любишь уже не так, как раньше? Правда, правда — я чувствую это так часто...»

...Он метался с этим письмом по комнате, он целовал его... Только ответить. И все вернется, опять они будут вместе, снова любовь станет их крыльями.

Но Лео промолчал, не ответил на это письмо. И при встрече не заговаривал о нем, чувствуя, как каменеет его лицо. Дико, непостижимо, но он не мог переломить себя.

И прошел почти год. Неопределенность, противоестественность их отношений совершенно измучили, истерзали Лео Иогихеса. И Розу, конечно. Они постоянно виделись — в библиотеке, на занятиях кружка, даже принимали участие в общих разговорах, касающихся политических дел, и тогда, случалось, обменивались несколькими фразами. Но — и только...

Лео не узнавал себя. Он, достаточно решительный человек, не размазня, ему претит неопределенное положение, безволие; он понимал, что именно ему, мужчине, необходимо сделать первый шаг, чтобы нарушить это неестественное положение, прекратить их мучения. И — не мог. Впервые в жизни не мог пересилить себя.

...Первый шаг сделала Роза.

18 апреля 1898 года он получил от нее короткую записку, в которой говорилось, что завтра, то есть 19 апреля, она оформляет фиктивный брак с младшим, третьим сыном Карла Любека, Густавом; брак этот дает ей германское подданство. Регистрация состоится в Базеле, и сразу же после «этой церемонии», как писала она, по получении необходимых виз «фрау Люксембург-Любек» уедет в Германию. Она писала, что расторгнет брак при первой возможности. Записка кончалась приглашением принять участие «в этой маленькой комедии» и наконец договорить, «выяснить отношения», вместе подумать о будущем. В конце сообщалось время утреннего поезда, в котором «свадебная кавалькада» отбудет из Цюриха в Базель.

Так... В каком-то тупом обалдении он сидел над этой запиской.

Густав Любек... Лео представил этого высокого, нескладного парня рядом со своей Рузей. Нехорошо представил... И заметался по комнате. Потом остановил себя: «Что за бред! Конечно, это только фикция, получение чертового прусского подданства». Густав Любек... Он хорошо знал эту семью, бывал у Карла Любека еще до знакомства с Розой. Это был разбитый параличом человек, прикованный к постели, германский социал-демократ, бежавший в Швейцарию от бисмарковского «Исключительного закона» со своей многодетной семьей. Жена его, Олимпия, была полькой, и с ней особенно сдружилась Роза, когда стала снимать комнату у них. Жили Любеки бедно, в постоянной нужде, единственным источником существования были гонорары за статьи, которые писал глава семьи для социал-демократических газет. Вернее, он их диктовал, так как сам не мог держать карандаша в руке. Когда Роза поселилась у них, диктовал Карл Любек только ей. Карл был человеком широких знаний, острого, глубокого ума, проштудировал всего Маркса, был

лично знаком с Энгельсом; Роза благоговела перед ним, не упуская, впрочем, возможности поспорить со своим старшим другом. После знакомства с Розой Лео Иогихес стал бывать у Любеков и видел, как она постепенно становится своеобразным центром этой несколько безалаберной, разваливающейся семьи, где дети, человек шесть или семь, были каждый сам по себе, комнаты, похоже, никогда не убирались, на всем лежал слой пыли, постоянно что-то подгорало на кухне, и оттуда валил чад. Явилась Роза, и все стало преображаться,— она умела незаметно вносить целесообразность в жизнь вокруг себя.

Теперь на обед или ужин все собирались за круглым столом, водруженным в гостиную. Любеку-старшему было приобретено специальное кресло-коляска (раньше каждый ел, когда и где ему вздумается); начинались споры и разговоры, пани Олимпия тащила из кухни огромную миску с какой-нибудь едой. И центром этого застолья, за которым и Лео оказывался теперь часто, была Роза — затевала серьезный разговор с Карлом, толковала о хозяйственных делах с Олимпией, интересовалась школьными успехами младших представителей рода Любеков, смеялась, шутила, все как бы освещалось ее улыбкой, спрашивала Густава, двадцатичетырехлетнего парня (он всегда сидел рядом с ней), какие новости в мастерской, где он работает. Густав таращил на Розу восторженные глаза, начинал что-то рассказывать.

И вот этот Густав завтра станет ее «мужем»... Черт знает что! Надо было на что-то решиться, что-то предпринять. Лео вдруг подумал, что сейчас же пойдет к Розе, потребует, чтобы она не вздумала... И тут же остановил себя: «Что не вздумала? Что я могу предложить ей взамен?» У него не было никакого варианта решения «их» проблемы.

«Что же,— подумал он,— поеду с ними в Базель, в

этой истории наверняка принимает участие целая куча наших друзей. И мы поговорим спокойно, помиримся наконец, все встанет на свои места».

Но тут же Лео остановил себя: да это унижение! Прибежать по первому зову... И еще выяснять отношения в этой ложной, фарсовой ситуации с фиктивным браком. И кто знает, как поведет себя «муж», этот Густав Любек...

Нет, не поеду!

Но, собственно, почему не поехать?..

Уже рассвет занялся над горами, а он так и не принял никакого решения.

В семь утра, разбитый, с тупой головной болью, Лео Иогихес пошел завтракать в кафе — ничего не лезло в горло; до их поезда было меньше часа.

«Не поеду!»

Однако, когда времени фактически не оставалось, он помчался на вокзал и сразу увидел их в густой толпе на перроне, и поезд уже подходил. Роза и Густав были окружены веселой, пожалуй, чрезмерно веселой компанией друзей, было человек пять или шесть. Владыслав Хайнрих, Вацлав Берент, Феликс Вясьлицкий, присутствовала и пани Олимпия, по такому случаю надевшая свое лучшее платье из синего бархата. А Роза была в строгом черном платье, высокий белый воротник закрывал шею, хрупка, напряжена, с бледным, усталым лицом, с букетом сирени, который кто-то сунул ей в руки. Ее взгляд лихорадочно метался по лицам, по толпе. Она ждала его...

А Лео Иогихес, как последний трус, затаился у цветочного магазина, воровато выглядывая из-за него. Почему он не подошел? Не поехал с ней? Он снова не мог пересилить себя, непонятное, тупое злорадство, что она мучается, страдает, поднималось в нем. И в то же время никогда раньше он не любил ее так, не желал так страстно быть с ней...

Подошел поезд, они стали подниматься в вагон, и последней встала на его ступеньку Роза — все оглядывалась, оглядывалась, оглядывалась...

11

«Посмотри в окно и успокойся»,— говорила она себе.

Как стучат колеса! Как волшебно стучат колеса! Скорее, поезд! Скорее! В новую жизнь...

А за окном — зеленые горы, солнце, синее-синее небо, альпийская свежесть..

Я кричу вам: «Прощайте, горы! И цветы в университетском саду, и озера, и старые каштаны, и наша шумная студенческая коммуна. И вы, друзья, прощайте! И Лео»... Неужели и Лео?..

Спокойно, спокойно, Розалия Люксембург-Любек, больше достоинства, вы теперь замужняя женщина. Нет, «Любек» мы вычеркнем. Все-таки я молодец, что настояла на своей фамилии. В паспорте написано: «Роза Люксембург, муж Густав Любек, прежде машинист, в настоящее время купец. Германское подданство». Купца, впрочем, мы придумали. Для солидности.

— ...Ты что на меня так смотришь, Густав?

— Могу же я посмотреть на свою жену.

— Ты снова, Густав...

— Хорошо, не буду. Прости.

Опять. Нет, когда же это началось? Ведь упирался, не соглашался, не мог понять, зачем мы затеяли «комедию». И если бы не властная Олимпия, ничего бы из этого «брака» не вышло. Густав не смог ослушаться матери. Польско-немецкое воспитание. В этой сумбурной семье одно оставалось незыблемым: дети почитают родителей. И вдруг эта перемена! Кажется, Роза ее заметила еще в Цюрихе, во время «помолвки», когда обсуждались подробности и детали предстоящей «операции». Густав,

после того как все было решено, начал вдруг пристально ее рассматривать, будто приценивался к дорогой вещи, которую ему предстояло приобрести. Или нет... Перемену в Густаве она заметила, вернее, ощутила в Базеле, в соборе.

Вот странно, в соборе...

Они вышли из мэрии, из тусклой комнаты, от чиновника, вежливого, унылого, с вытянутым лицом (он регистрировал их гражданский брак), оказались на площади. Уходили в ослепительно синее небо острые пики собора. Густав неожиданно сжал ее локоть и прошептал:

— Зайдем!

Роза испугалась неизвестно чего. Они с Густавом и все, кто сопровождал их, открыли тяжелые двери, и сумрак собора, его таинственная глубина, как иной мир, поглотила их...

— ...Роза, мы на германской границе.

— Спасибо, Густав.

На германской границе... Какая-то маленькая станция, черепичные крыши в густой зелени, туча наползла на солнце, и уже накрапывает дождик; девочка в белом переднике продает ландыши, маленькие букеты аккуратно уложены в корзине.

Роза, не отрываясь, смотрит в окно.

Прощай, Швейцария!.. Нет, нет, не так! До свидания, Швейцария, добрая колыбель моей молодости.

Дверь открывает сдержанный, корректный пограничник.

— Добрый день! Ваши документы, господа!

Густав протягивает паспорта. Роза следит за лицом пограничника. Он, не торопясь, читает. Сейчас он читает: Роза Люксембург, германское подданство, муж Густав Любек.

Он возвращает паспорта. На симпатичном лице улыбка:

— Прошу! Свадебное путешествие? Счастливого пути, господа!

Свадебное путешествие...

Стучат колеса, за окном — Германия. Ничего не изменилось: зеленые горы, долины, кажущиеся темно-синими, красная черепица, острая пика кирхи вздымается в серое небо. Да, наползли тучи, идет дождь, пресекающимися дорожками капли лежат на оконном стекле. Как слезы. Германия...

Здравствуй, новая жизнь!

Роза перестала смотреть в окно, откинулась на спинку мягкого сиденья, сжала веки...

...Итак, они очутились в соборе. И венчалась пара, белела невеста перед иконостасом, стоял молодой священник перед ними, остро врезалось в память его аскетическое лицо с высоким лбом, крест сверкал в руке. Нет, она никогда не забудет: пепельный сумрак, наполняющий пространство собора, который кажется беспредельным; мерцание свечей, позолота и молодой священник. И ей чудится, что он все знает об этой молодой особе, которая вошла в собор. Странное ощущение... Так с ней было впервые, да, да, впервые: будто действительно кто-то могущественный, все знающий есть над нами, над всеми людьми. И она, убежденная атеистка, сжалась: сейчас грянет гром и последует кара за ее неслыханное кощунство... На мгновение она даже зажмурилась. Нет, молчали небеса. Пепельный сумрак, колышутся язычки свечей, запах горячего воска, монотонный голос священника. И вот тогда она встретила взгляд Густава... Этот горячий, преданный, влюбленный взгляд.

Господи! Да когда же с ним все случилось? Смятение охватило Розу. «Что я делаю?»...

Шепот Густава:

— Роза! Я бы хотел, чтобы и мы так же.

— Но, Густав!

— Я знаю, знаю... Я все понял, я объясню. Потом... Только сейчас я оценил тебя, Роза.

Так... Только этого ей не хватало.

За спиной шепот друзей. И там нет Лео. Не пришел на вокзал. Не приехал... Неужели разрыв навсегда? Невыносимый характер... Мне так нужна была твоя поддержка! Ведь ты все знаешь... Что такое? Опять! Совсем вы распустились, фрау Люксембург! Как гимназистка на выпускном балу. Помните свою Вторую варшавскую гимназию?

— ...Густав, дай, пожалуйста, платок. Вон, возле сумочки. У меня, похоже, начинается насморк. Спасибо.

...Они вышли из собора, и Роза зажмурилась — так много ослепительного солнца и синего неба было на площади; спиралями ходили голуби по гладким теплым булыжникам. Цвела сирень.

Роза, очевидно, точно поняла состояние Густава, почувствовала его и заговорила быстро, украдкой посматривая на его взволнованное лицо:

— Ты знаешь, мы с тобой сейчас были в самом старинном соборе Базеля. Он построен в одиннадцатом веке.— Густав промолчал.— В романском стиле,— продолжала она.— Густав все молчал, странно смотрел на нее, глаза его неестественно блестели... Они уже шли по узким средневековым улочкам, и на правой стороне от домов лежали резкие синие тени. А Роза все говорила, говорила...— И вообще Базель — великолепный город, специально созданный для торжественных случаев: свадеб, дорогих похорон, королевских пиршеств... Знаешь, ведь здесь жил Эразм Роттердамский! И замечательная семья Гольбейнов, художников. В городской картинной галерее наверняка есть их полотна. Хочешь, пойдем? — Густав молчал.— Или нет! Пойдем лучше в исторический музей. Представь, он находится в бывшей церкви капу-

цинов! Ужасно люблю рассматривать всякие исторические реликвии. Пыль веков...

— Замолчи! — прервал ее Густав.

А Вацлав Берент, который шел сзади них, очевидно, услышал Густава и сказал с преувеличенной бодростью:

— Надо отметить нашу, простите, «свадьбу» хотя бы приличным обедом. Вообще, друзья, не пора ли нам подкрепиться?

...Всей компанией сидели в открытом кафе на высоком берегу Рейна, и внизу по зеленой долине река делала плавные петли, уходя к неясному горизонту; они ели ароматный сочный бифштекс, запивая его пивом, и тогда Роза сказала Густаву, нарочно громко, чтобы все слышали, чтобы покончить с этим сразу, никакой неопределенности, недомолвок, надежд:

— Я тебе очень благодарна, Густав. И я, и мои товарищи. Я знаю, что ты не до конца разделяешь наши взгляды. Тем более мы тебе благодарны. Конечно, я понимаю: фиктивный брак — бремя...— Она встретила его взгляд и запнулась. И все-таки заставила себя сказать дальше: — Но это наше ложное положение скоро кончится, через год, самое большое, как только я прочно обоснуюсь в Германии, мы оформим развод.

Все зашумели, стали говорить разом, кажется, Владислав Хайнрих предложил шутливый тост: «За счастье молодых!» «Глупо, Владислав!» — раздраженно подумала она. К ним тянулись чокнуться пивными кружками; все смеялись. И в этом шуме и гаме Густав сказал ей тихо:

— Роза, но, может быть, все постепенно изменится? И мы станем настоящими мужем и женой? Я готов ждать.

— Нет,— перебила она.— Нет, мой славный... Не надо. Ты же знаешь,— добавила она еле слышно,— я люблю другого.

— Но ведь он...

— Нет, нет! — остановила она Густава. — Ты не поймешь. Он — все равно он.

— Я пойму,— глухо сказал Густав.— Я знаю, что такое любовь. Теперь знаю...

— Жаль, что нет с нами Юлиана и Брониславы,— сказал кто-то.

— А помните их свадьбу на острове Гельголанд? — спросила Олимпия Любек, отправляя в рот порядочный кусок бифштекса: она любила вкусно поесть.

Все невольно замолчали. Но простодушная Олимпия не поняла бестактности своего вопроса и спросила теперь у Розы:

— Ты, Розочка, помнишь?

— Да, Оленька,— тихо сказала она,— конечно, помню.

Совсем близко были слезы, и Роза Люксембург волевым усилием подавила их.

Свадьба Юлиана Мархлевского и Брониславы Гутман... В сентябре прошлого года. Кажется, двадцать второго сентября.

И Роза живо, ярко вспомнила, как октябрьским ненастным днем 1893 года она вместе с Юлианом встречала Брониславу Гутман, которая приезжала из Польши, из Варшавы. Она дольше всех остальных оставалась на родине, занимаясь подпольной деятельностью среди уцелевших от арестов членов «Союза польских рабочих». Но и до нее добралась полиция, возникла угроза ареста, и вот — эмиграция, Цюрих...

У перрона останавливается поезд, из вагона третьего класса выходит Бронислава — в темном пальто, с небольшим саквояжем в руке, несколько растерянно останавливается в толпе встречающих, близоруко щурясь. Как она похорошела! Утончились черты лица, высокая прическа темных волос подчеркивает белизну лба, в серых глазах тревога и ожидание, движения легки, грациозны. Юлиан с букетом хризантем бросается к ней, и Роза ви-

дит, сгорая от зависти и счастья за них, миг любви: все вокруг перестало существовать для Юлиапа и Брони — вокзал, люди, серое низкое небо, даже ее не замечает Бронислава, а ведь они не виделись почти пять лет!.. Наконец Юлиан что-то шепчет Брониславе па ухо, показывает взглядом на Розу. Они обнимаются и первые мгновения ничего не могут сказать друг другу от волнения.

А потом четыре года друзья были свидетелями их любви, их поразительной слитности, единства; они гармонично дополняли друг друга. У Розы с Лео никогда, или почти никогда, не было таких отношений, такой гармонии. И Юлиан и Броня напряженную революционную деятельность сочетали с упорной учебой и почти одновременно получили дипломы: Бронислава, первая польская выпускница Цюрихского политехнического института, получала диплом бактериолога, в январе 1897 года Юлиан блестяще защитил докторский диплом в Цюрихском университете; его дипломная работа называлась «Учение физиократов в Польше».

В сентябре 1897 года на острове Гельголанд они вступили в брак. Их шумную свадьбу и вспомнила Олимпия Любек, и Роза все снова это увидела, пережила, как будто все происходило вчера: удивительно теплый солнечный день, голубизна озера, в пурпур и багрянец одетые горы, веранда кафе, небольшое дружеское застолье, счастливые лица Юлиана и Брониславы; это Роза тогда крикнула по русскому обычаю: «Горько!»... Потом Юлиан с бокалом шампанского в руке сказал: «Друзья! У меня есть тост! Разрешите объявить вам одну новость. Мы с Броней решили окончательно обосноваться в Германии, пока в Мюнхене. И тост такой: «За новую жизнь!»...

...Сейчас они в Мюнхене, совсем недавно Роза получила от Брониславы письмо. С ними она и намерена встретиться уже завтра. С ними и с Варскими, которые сейчас тоже в Мюнхене.

«Но, боже, какая тоска на сердце!.. Их свадьба и моя... Лео, Лео! Что ты наделал! Что мы натворили, Дзедзя».

— ...Может быть, Роза, первое время я поживу рядом с тобой? Если хочешь, в соседней гостинице. Ведь тебе будет одиноко в Германии.

«Ах, Густав!..»

— Нет, Густав! Мы поступим, как договорились! Ты проводишь меня до Кемптена и вернешься в Цюрих. Не надо никаких осложнений, Густав. Поверь, так будет лучше.

Они отчужденно молчат.

Уже сумерки. И городские окраины тянутся за окном поезда: серые дома, черепичные острые крыши, мерцают, вздрагивают в сумрачной мгле первые огни. Неужели приехали?

По вагону, вдоль купе идет проводник с квадратным фонарем:

— Кемптен, господа! Кемптен! Стоянка двадцать минут!

— Простимся здесь, Густав. В толпе на вокзале мы уже станем чужими.

Часть третья

В ГЕРМАНИИ

> ...Я чувствую себя дома во всем мире, где есть облака, птицы и человеческие слезы.
>
> *Роза Люксембург*

Рано утром 14 мая 1898 года Роза Люксембург приехала в Мюнхен. Ее несла к выходу вокзала шумная пестрая толпа, было душно; она совсем не спала ночью — в купе первого класса она была одна, и, вот странно, под стук колес, под мерное подрагивание вагона, физически ощущая движение влажной весенней тьмы за черным окном, Роза все больше и больше чувствовала себя одинокой, заброшенной в огромном мире. Она еще не знала себя такой — потерянной. Поезд летел через ночь, через Германию, уютно постукивая колесами, а тягостное состояние духа не покидало ее, наоборот, разрасталось, густело, поглощало в себе ее хрупкое «я». Роза пыталась сопротивляться. «Все это ночные химеры,— говорила она себе.— Все развеется с первыми лучами солнца. Надо заснуть. Или думать о деле».

Да, Лео, мой славный, займемся делом. И первое — отповедь Бернштейну. Критика в адрес этого господина только началась. В статьях Парвуса, Клары Цеткин, Меринга, по-моему, сказано еще не все. Потом... Почему молчит главный теоретик Каутский? И в Правлении Социал-демократической партии Германии неужели никто не видит, не понимает, какой динамит подкладывает этот

Эдуард Бернштейн под учение Маркса? Только так, Дзедзя, мы с ним схлестнемся. Не миновать. Ну вот... Начинается мигрень. Заснуть... Заснуть...

Роза откинулась на мягкую плюшевую спинку дивана.

И очень скоро ее окружила тьма, потом в этой тьме затрепетали язычки свечей, зыбким, неверным светом озарив вдохновенное лицо Отто Куна, поднялась над черной бездной дирижерская палочка, и зазвучала музыка. Неужели музыка?.. Да это же Реквием Моцарта!

...Она открыла глаза, и аккорды оркестра еще звучали в ее смятенном сознании. Глухо билось сердце. Перестукивались колеса.

Роза опять крепко сжала веки...

Низкое лохматое солнце заглянуло в окно; стлалась в розовом тумане долина Изара, и река матово поблескивала в его разрывах; скоро Мюнхен.

Деликатно постучав, приоткрыл дверь пожилой проводник:

— Доброе утро! Что желаете, мадам? Кофе? Чай?

...Сейчас она шла в спешащей толпе и уже не страшилась будущего, как в купе поезда: некая пружина выпрямилась в ней; румянец выступил на щеках. «Что за ерунда, фрау Роза,— говорила она себе.— Что это за бред был у вас ночью? Стыдитесь! В Германии мы начинаем большую политическую карьеру». Мелькнула вывеска почтового отделения. Роза замедлила шаг. Нет... Уже и так послано три письма с дороги. Лео, наверно, не успевает их читать. А может быть, вообще не читает... И, получается, вы непоследовательны, фрау Люксембург-Любек.

Она усмехнулась.

«Итак, у цветочного магазина справа».

Роза вышла на привокзальную площадь подтянутая, сдержанная, с коричневым дорожным саквояжем в руке, остановилась. От цветочного магазина к ней спешили

трое: Юлиан Мархлевский, высокий, могучий, радостный, Адольф Варский — и улыбка раздвинула его слегка закрученные усы; третьей была Ядвига Хшановская, жена Варского; на Ядвиге было зеленое платье с глубоким вырезом, подчеркивающее ее стройную фигуру, на точеной шее поблескивало колье, шляпка с широкими полями, с вуалью затеняла лицо; Ядвига была грациозна, изящна, польская пани с гравюр восемнадцатого века.

Ядвига обогнала мужчин, подруги обнялись, на Розу пахнуло незнакомыми крепкими духами, и она уже была счастлива: друзья, верные друзья с ней. Жизнь продолжается!

— Ты знаешь,— тараторила Ядвига,— поезд опоздал, мы уже начали беспокоиться. Ты неважно выглядишь. Устала? Или нездорова? Мы тебя поставим на ноги, Розочка! Наконец-то мы вместе...

Подоспели Юлиан и Адольф.

— Дай, дай нам путешественницу! — говорил Мархлевский, как пушинку, осторожно отстраняя Ядвигу за плечи и передавая ее мужу.— Ну, здравствуй!

Они обнялись и молчали, волнение захватило всех; Адольф Варский близоруко щурился.

— А где же Бронислава? — спросила Роза.

— Она в Дрездене,— сказал Мархлевский.— Подыскивает квартиру. Словом, занимается хозяйственными делами.

— Вы переезжаете в Дрезден? — удивилась Роза.

— Все новости — дома,— сказала Ядвига.— У меня обед перестоит. Пошли!

Скоро они шагали по Английскому саду, по шуршащему гравию, мимо благоухающих клумб, мимо кустарников, постриженных круглыми зелеными шарами, под густой тенью старых каштанов; солнце стояло уже высоко, майский день был жаркий, совсем летний. Роза затеяла эту прогулку, отказавшись от экипажа, она впер-

вые была в Мюнхене и хотела больше увидеть, потом уже выработалась привычка: утренняя прогулка заряжала энергией на целый день.

— Квартиру мы сняли в Швабинге,— говорил Мархлевский.— Дороговато, но мы с самого начала не собирались долго жить в Мюнхене. Зато любопытный район: благополучные буржуа, публика чванливая и сытая.

— Чванливая,— согласился Адольф.— Но не они создают атмосферу района. В Швабинге живут художники, литераторы. Всякие артистические кафе, букинистические лавки, театрики — словом, богема, нечто вроде Монмартра с поправкой на немецкую основательность.

— Интересно,— сказала задумчиво Роза.

Они вышли на просторную улицу, застроенную двух- и трехэтажными особняками в стиле ренессанса и барокко, и от этих домов, ушедших в зелень густых палисадников, от молчаливых кариатид, мозаичных барельефов, мраморных колонн, гранитных львов, охраняющих подъезды, веяло устойчивостью, сытостью, верой в несокрушимость и справедливость мироздания; это был квартал, где жили самые богатые люди Мюнхена.

— И для тех, кто живет в этих домах, пишет Бернштейн...— вдруг сказала Роза.

— Что ты имеешь в виду? — не поняла Ядвига.

— Сытым и преуспевающим буржуа,— черты лица Розы жестко обострились,— очень важно: учение Маркса устарело, никаких революций не грядет, живите спокойно, господа, а мы, мирные социал-демократы, будем помаленьку изменять общество к лучшему, без всяких, упаси бог, насилий и кровопролитий. В процессе, так сказать, мирного движения вперед.— Голос ее зазвенел.— Для Эдуарда Бернштейна движение, видите ли, движение — все...

— Ты что-то затеяла против его статей? — спросил Мархлевский.

— Затеяла. И еще как! — сказала Роза, и лицо ее уже пылало.

— Давайте теперь возьмем извозчика,— сказала Ядвига.— Идти далеко, а Роза все-таки с дороги.

— Согласна, — усмехнулась Роза. — Действительно устала.

Но уже в это маленькое общество проникли невидимые токи, исходящие от Розы Люксембург, и в благочинной квартире, которую снимали Мархлевские в Швабинге, в комнате со старинной мебелью в стиле Людовика XVIII, с окнами в тихий аккуратный сад, с фарфоровым чайным сервизом (Ядвига разливала крепкий темно-коричневый чай в прозрачные звонкие чашечки с изображениями невинных пастушеских пасторалей), разговор между четырьмя польскими социал-демократами сразу хлынул в то русло, где кипят страсти.

— Ты права! Ты абсолютно права,— говорил Мархлевский, возбужденно шагая по комнате, и под его грузным телом потрескивал паркет.— Германское подданство сейчас все. У тебя развязаны руки. Ты можешь вступить в партию, ты можешь свободно писать для социал-демократической прессы в европейском масштабе, наконец, ты получишь официальное разрешение на выступления. Митинги, собрания, конференции — везде ты будешь чувствовать себя открыто и свободно. «Прошу слова!» — и тебе дают слово. Молодец, Роза! Одобряю. И здесь все средства хороши, включая фиктивный брак. Нет, а я, скажите мне, пожалуйста, куда смотрел?

— Успокойся, Юлиан,— сказала Роза.— Ядвига, налей ему чаю, иначе он сейчас налетит на буфет.

Мархлевский сел к столу, отпил чай из чашки, которая в его руке казалась детской игрушкой, но успокоиться не мог.

— Не умею я, друзья, смотреть вперед,— говорил Юлиан.— Вернее, тогда не умел. В день совершенноле-

тия не подтвердил свое германское подданство, а ведь, как вам известно, подданным великого кайзера я родился. И вот результат: русским подданным меня тоже не признают, а здесь, в Германии, я вроде бы на нелегальном положении. Участвовать открыто в общественной деятельности не могу, при любом, самом незначительном столкновении с немецкими властями меня могут посадить в каталажку как безродного бродягу или отправить в любезное отечество, прямехонько в лапы царских жандармов. Остается одно — журналистика под всяческими псевдонимами.

— И прекрасно,— сказал Варский.— Превосходно! Твое перо уже знают и в Польше и в Германии.

— Мое не очень,— отозвался Мархлевский.— А вот Розино, точно, знают.— Он повернулся к Розе, которая задумчиво помешивала ложечкой остывший чай.— На днях, как только проводим тебя в Берлин, уезжаю в Дрезден, я уже давно сотрудничаю в тамошней «Зексише арбайтерцайтунг». Вот моя Броня потому и там, устраивается с квартирой. Кстати, Рузя, пока я в Дрездене, страницы сей газеты к твоим услугам.

— Спасибо.— Роза смотрела, как Ядвига резала на равные куски песочный торт с кристаллами цуката, похожими на драгоценные камни.— Ядвига, налей мне, будь добра, еще чаю.— Теперь она взглянула на Мархлевского.— Возможно, мне придется воспользоваться дрезденской газетой. Или еще какой-нибудь. Нужна будет большая площадь, я напишу серию статей.

— Против Бернштейна? — живо спросил Варский.

— Да! — В голосе Розы зазвенели льдинки. Друзья хорошо знали этот звон.— Приеду в Берлин и сразу сяду за работу.

— Где ты остановишься в Берлине? — спросила Ядвига.

— Еще не знаю.

— Ты говорила, что тебя звали Каутские, обещали помочь с квартирой.— Ядвига придвинула Розе блюдце с куском торта.

— Нет! — Роза поднялась со стула, отошла к окну, стояла к комнате спиной, смотрела в сад, залитый полуденным солнцем.— Нет, сразу я к ним не пойду! Встреча с Каутским... Я очень хочу его увидеть, познакомиться близко, в письмах мы уже друзья. Но вначале я напишу свои статьи, которые будут ответом на «Проблемы социализма» Бернштейна...

— Какая связь,— перебил Юлиан Мархлевский,— ответ Бернштейну и встреча с Каутским?

— Я не понимаю...— Роза подошла к столу; дыхание ее участилось.— Я не понимаю, как можно было в «Нойе цайт», теоретическом журнале германской социал-демократии, публиковать статьи Бернштейна, открыто направленные против основных положений учения Маркса!

— Ну, подожди, подожди! — заволновался Мархлевский.— Каутским на страницах его журнала провозглашена свобода дискуссии...

— Свобода дискуссии и критики,— перебила Роза,— внутри партии должна иметь предел. А журнал, возглавляемый Каутским,— партийный! Когда свобода критики перерастает в ревизию фундаментальных основ марксова учения... Вот именно, я все время искала точное слово... перерастает в ревизию всего учения Маркса и Энгельса о пролетарской революции, это уже не критика, это диверсия изнутри!

— Твои статьи в «Нойе цайт»,— сказал Варский,— тоже для кого-то, например для деятелей из ППС, могут показаться диверсией изнутри польской социал-демократии. Однако их Каутский напечатал.

— Да, я понимаю, это вроде бы аргумент.— Роза помолчала, нервно теребя салфетку в длинных пальцах.— Аргумент в пользу публикации писаний Бернштейна в

«Нойе цайт». А у Каутского наверняка найдутся и другие аргументы, поосновательней. И пока я не хочу их слышать. Я уверена в своей правоте и не намерена усомниться в ней перед первой страницей работы.

— Ты боишься спора по этому поводу с Карлом Каутским? — спросил, подавив усмешку, Мархлевский.

— Да, боюсь,— резко сказала Роза Люксембург.— Но я боюсь... Черт знает что! Ты, Юлиан, вынуждаешь меня это сказать. Я боюсь поставить человека, которого считаю крупнейшим нашим теоретиком, в неловкое положение. Потому что он все равно не переубедит меня! Он меня, наверно, может поколебать, но не больше... А я... Я не хочу, чтобы наше знакомство начиналось с принципиальной ссоры.

Теперь все молчали, все чувствовали состояние Розы — она быстро приходила в крайнее возбуждение, но железной волей сдерживала его, внешне оставаясь спокойной, и только невидимые нервные волны как бы излучала она, и эти волны передавались всем, кто был рядом.

— Но тебе сразу не придется заняться статьями,— нарушил молчание Адольф Варский.— Ждут польские дела. Ведь прежде всего ради них ты в Германии?

— Конечно! — живо откликнулась Роза.

— Поступим так,— сказал Мархлевский.— Завтра же Ядвига и Адольф отправляются в Варшаву с целым возом литературы. Ну а ты, Роза, как и договорились, займись германскими поляками. В июне выборы в рейхстаг. Немецкие социал-демократы начинают предвыборную кампанию. Самое время объехать тебе Познаньский округ, Верхнюю Силезию, да и в Вестфалии на шахтах много польских горняков. Будешь агитировать за социал-демократических кандидатов наших польских рабочих, а заодно вообще познакомишься с положением на местах. Чем они там дышат? Пройдут выборы, тогда и тереби Бернштейна. Не очень нарушает эта поездка твои планы?

— Я рвусь туда! — горячо сказала Роза.— Я давно не видела Польшу, наших деревень, не слышала речи польских крестьян.— Ее голос прервался от волнения, глаза влажно мерцали.

— Остается все согласовать с Правлением партии, немцы — народ точный,— сказал Мархлевский.— Предварительные переговоры я уже вел, когда был в Берлине. И вот тебе письмо к Игнатию Ауэру.— Юлиан достал из ящика комода конверт.— Он в Правлении один из самых авторитетных; тебя слышал в Лондоне на конгрессе, читал твои статьи. Я его подготовил, как мог. Думаю, твой вояж по польским землям одобрит. Ну, в личной беседе ты на него тоже нажми. У меня сложилось впечатление, что руководство Социал-демократической партии Германии не очень-то волнуют польские проблемы.

— Постараюсь,— сказала Роза.

Ядвига, убирая со стола, сказала:

— Распалась наша цюрихская коммуна. Сначала Юлиан с Броней, теперь Роза... Все разбегаются.

— Лео еще в Цюрихе,— выпалил Адольф и, спохватившись, замолчал.

Но было уже поздно: все смотрели на Розу. Лицо ее окаменело. Слышно стало, как за окном, в саду, ветер шумит в молодых листьях.

— Он не собирается в Германию? — спросила как можно безразличнее Ядвига.

— Не знаю,— сказала очень спокойно Роза, и только бледность лица выдавала ее состояние.— Ему надо закончить университет.

— Все образуется,— бодро сказал Мархлевский.

— Может быть, мы погуляем? — засуетилась Ядвига.— Рузе наверняка интересно посмотреть Швабинг, все эти кафе, магазинчики. Знаешь, Рузя, тут есть прекрасный магазин дамских туалетов, и цены вполне сносные.

— Но Рузя не отдохнула с дороги! — перебил жену Варский.

— Я уже превосходно отдохнула! — И Роза легко поднялась, возбужденная, приветливая.— Кстати, у меня есть свой план. Адольф, подай мне, пожалуйста, саквояж. Я, дети мои, человек основательный и к встрече с Мюнхеном готовилась серьезно.— Она достала записную книжку в затертом переплете из желтой кожи, полистала ее.— Вот что я прошу помимо вашего Швабинга показать мне: готический собор «Фрауэнкирхе» — дворец, построенный, по заверениям путеводителя, по образцу Версаля. Потом мы с вами посетим Германский музей, и там есть несколько залов, отданных естествознанию. Обожаю всякое зверье, бабочек... И еще моя страсть — геология. Потом Старая и Новая пинакотека, это коллекция старой и новой живописи. Ведь в Мюнхене полотна Рубенса, Тициана, Рембрандта...

Скоро все четверо вышли из дому в полуденный майский зной.

— Итак,— сказал Мархлевский,— начинаем со Швабинга, и гидом у вас, извините за нескромность и навязчивость, буду я.

2

...Поезд прогремел по мосту над Вартой, и сразу начался город: теснота черепичных крыш, сады, узкие улицы; впереди — Роза выглянула в открытое окно — возвышался огромный собор, построенный, кажется, в пятнадцатом веке,— собор господствовал над Познанью, притягивая к себе нити улиц и вереницы бульваров.

«...Да, да,— говорила она себе,— только так: сначала встретиться с Марцином, от него получить всю информацию, сориентироваться, а уж потом — беседы в Правлении СДПГ, с Ауэром, переговоры об агитационной поездке по польским землям».

Марцин Каспшак оказался в Германии в 1896 году после побега из лазарета Десятого павильона Варшавской цитадели, куда он угодил во время повальных арестов уцелевших членов организации «Пролетариат». Местом своего постоянного пребывания он избрал Познань, город, где было много промышленных предприятий, и работали на них в основном поляки. Здесь же находилось Правление единственной польской рабочей партии па территории Германии, так пазываемой ППС прусского захвата. Правда, сейчас Марцин Каспшак находился в жестоком конфликте с ведущими членами Правления партии из-за расхождений по решению национального вопроса. Розе это было известно: они с Марцином коротко виделись в прошлом, 1897 году, на третьем съезде этой партии — от нее Роза Люксембург получила мандат на Лондонский конгресс Второго Интернационала, представляя польских рабочих Познани, Вроцлава и Забже. Впрочем, тогда, на съезде, произошел и ее горячий непримиримый спор с руководством партии — все по тому же национальному вопросу: она предложила объединиться с немецкими социал-демократами, с СДПГ, войти организационно в эту партию. Ее тогда горячо поддержал Каспшак... И за это на съезде же ретивые националисты внесли предложение исключить его из партии. Как тут теперь? Неужели Марцин один воюет с национал-патриотами?..

Поезд уже медленно плыл вдоль платформы, запруженной толпой встречающих. Роза сразу увидела высокую фигуру Марцина, и он увидел ее: заулыбался, стал махать шляпой. А у Розы сжалось сердце: исхудал, ввалились щеки и — так контрастно, страшно — румянец на этих впалых щеках. У Марцина, она знала, чахотка, и вот весна, обострение легочного процесса.

Он легко подхватил ее с высокой ступени вагона:

— Ну, здравствуй! — все тот же бодрый, густой голос.

— Здравствуй, Марцин. Я боялась, что телеграмма опоздает.

— Все в порядке, получил. Вот что, пока рассеется толпа, все равно не поймаешь извозчика. Здесь, на вокзальной площади, есть уютное кафе. Посидим, поговорим. А потом — ко мне. Ночлег тебе обеспечен. Ты хорошо выглядишь, Рузя.

— Спасибо...

Кафе было с открытой верандой; перед ними раскинулась площадь, заполненная людьми, экипажами. От площади прилетал смутный рокот.

Марцин Каспшак и Роза пили прохладное пиво.

— Я при первой возможности вернусь в Варшаву. Надо и там восстанавливать организацию.— Каспшак отбил пальцами дробь по столу.

— Но, Марцин! — От волнения голос ее прерывался.— Как же я без тебя...

— Подожди! — перебил он.— Ты не будешь одна: в руководстве ППС есть люди, разделяющие наши взгляды, ты их знаешь — Моравский, Вольский... Ну а в низовых организациях, вообще в среде польских рабочих ты найдешь много своих сторонников. Поэтому твоя поездка по Силезии очень кстати.

— Ты мне растолкуй все подробно.— Роза не могла себя заставить оторвать взгляд от лица Каспшака: он болен, очевидно, уже непоправимо... Господи, что же делать? — Мне не совсем понятно отношение немцев к польским делам.

— Отношение не самое лучшее.— Марцин стал хмурым, и, показалось Розе, щеки его еще больше запали.— В руководстве СДПГ, пожалуй, единственный человек понимает наши проблемы — Вильгельм Либкнехт. Тебе надо с ним обязательно поближе сойтись. Правда, старик нездоров, в последнее время часто оказывается в клинике. Но — еще сила, на него надо опираться.

— А что же остальные члены Правления? — спросила Роза.— Им на поляков наплевать?

— Ну почему же наплевать? — усмехнулся Каспшак.— Видишь ли, сейчас они поглощены своими заботами. Выборы в рейхстаг. Потом, да, да... Я получил твое письмо. Ты молодец, учуяла... Статьи Бернштейна. Это не так просто: критика основных положений в учении Маркса и Энгельса. В немецкой социал-демократии, вернее, в ее руководстве — я это вижу, чувствую нутром! — рождается течение...— Розовые пятна покрыли щеки Марцина Каспшака.— Реформистский путь к социализму... Каково?..

— Ты успокойся, Марцин.— Роза осторожно положила свою руку на руку Каспшака, но тот не заметил этого.

— И в Правлении партии, и среди ее ведущих лидеров есть прямые сторонники Бернштейна. — Дыхание Марцина участилось от волнения.— Ты запоминай: Конрад Шмидт, Вольфганг Гейне, Георг Генрих Фольмар, Эдуард Давид, Макс Шиппель... И Игнатий Ауэр.

— Ауэр?! — воскликнула Роза.

— Да, представь себе.— Марцин отпил несколько глотков пива, и Роза невольно проследила, как судорожно двигался кадык по его шее.— Из среднего поколения, один из самых влиятельных в руководстве партии. При этом Ауэр из тех, кто мало говорит и больше делает. Осторожен, умен, прекрасно знает настроения рядовых членов партии. Поэтому его взгляды скрыты под марксистскими фразами. Вообще, Роза, вся трудность предстоящей борьбы заключается в том, что Бернштейн и его сторонники называют себя марксистами, а на деле ревизуют марксово учение в новых условиях. Эдуард Бернштейн вообще числится последователем Энгельса, они были достаточно близки, ему и Бебелю Фридрих завещал разобрать свой архив. Ведь Бернштейн до сих пор живет в Лондоне. Так что тебе, коли ты собралась писать, пред-

стоит нелегкая задача: вскрыть суть положений Бернштейна, спрятанных за нашими привычными словами.— Роза порывалась что-то сказать, но Марцин Каспшак понял ее по-другому.— Ты сумеешь, сумеешь это сделать! Здесь надо идти до конца, вот в чем дело. У тебя когда встреча с Ауэром?

— Послезавтра, двадцать четвертого мая,— сказала Роза.

— Надо к разговору с ним серьезно подготовиться. И обязательно подними вопрос о газете... Впрочем,— остановил себя Каспшак,— сначала ты прочитаешь последние номера «Газеты роботничей», я специально для тебя приготовил. Кроме того, сегодня же вечером ты познакомишься с настроениями наших польских рабочих — будет собрание в одном загородном клубе, мы с тобой приглашены.

— И я? — удивилась Роза.

— Ты прежде всего,— засмеялся Марцин Каспшак.— Твоего выступления там ждут. Ну вот, площадь пуста, и я вижу свободный экипаж. Сейчас! — Каспшак быстро поднялся.

— Подожди, Марцин,— тихо сказала Роза.— Сядь.— Она опять положила свою руку на его ладонь.

Каспшак в недоумении опустился на стул.

— Марцин...— Роза подыскивала слова.— Видишь ли...

— Ну? Ну? — торопил он.

— Тебе надо полечиться, вот что! — решительно сказала Роза.— У нас найдутся средства.

— Э! Брось! — нетерпеливо перебил Марцин Каспшак.— Я чувствую себя отлично! Особенно сейчас, весной. Потом, Рузя, какое лечение? Столько дел. В Варшаву, в Варшаву! — вот моя цель.

Он уже шагал, широко и сильно, к стоянке экипажей на середине площади.

Роза Люксембург смотрела вслед своему учителю и

другу. Сердце ее сжалось в непонятном тягостном предчувствии: была в фигуре Марцина Каспшака, в его еще могучих, но уже ссутулившихся плечах, в размашистом шаге обреченность.

3

Теплым влажным утром 24 мая 1898 года Роза Люксембург входила в кабинет Игнатия Ауэра.

Апартаменты оказались обширными, заполненными солнечным светом, над массивным письменным столом висел портрет Маркса, букет красных гвоздик стоял на тумбочке в углу; одну стену занимали книжные стеллажи, тускло поблескивали золоченые переплеты.

«Основательно»,— подумала Роза.

Навстречу ей поднялись два человека: один средних лет, подтянутый, с уверенными жестами. «Ясно, хозяин кабинета». А второй... Молодой толстячок с энергичным, краснощеким лицом спешил ей навстречу. Да это же не кто иной, как Ганс Лидеман!..

— Здравствуйте, фрау Люксембург! — Игнатий Ауэр крепко пожал ей руку.— Прошу в это кресло, вам будет удобно.

— Рад вас видеть в полном здравии, фрау Роза! — Лидеман тряс ей руку, зажав Розины пальцы в пышных ладошках.— Вы уж разрешите так, по старой дружбе. Надеюсь, на этот раз вы меня узнали?

— Сразу, Ганс,— сказала она, опускаясь в кресло.

— Как вы устроились? — спросил Ауэр.— Ведь вы в Берлине совсем недавно?

— Третий день,— сказала Роза.— И устроилась превосходно, в студенческом районе.

— Если нужна какая-то помощь, содействие...— Игнатий Ауэр дружески улыбнулся.— Пожалуйста.

— Все хорошо, спасибо.

— Фрау Роза — деловой и решительный человек,— засмеялся Ганс Лидеман.— Это мне известно.

— Если так...— Что-то в прытком толстячке начало раздражать Розу,— можно приступить к делу.

— Тем более что у меня через полчаса встреча с английскими товарищами,— сказал Игнатий Ауэр.— Итак, агитационная поездка по польским землям. В принципе мы договорились с вашими друзьями. В Правлении партии вас хорошо знают и как журналистку, и как оратора.— Ауэр пристально взглянул на Розу.— Единственное, что меня смущает...— Хозяин кабинета помедлил.

— Что же вас смущает? — спросила Роза.

— Видите ли, у нас на предвыборную кампанию в рейхстаг выделены не такие уж большие средства, а польские рабочие в Верхней Силезии, извините, масса довольно пассивная...

— И вы меня извините,— перебила Роза.— Пассивность эта объясняется единственным: ваша партия не ведет там никакой работы.— Ауэр и Лидеман переглянулись.— Ну, скажем мягче, почти никакой. Вы попросту, очевидно, не верите в революционную сознательность польских рабочих.

— Но согласитесь, фрау Роза,— сказал Ганс Лидеман,— все, что мы видим в Верхней Силезии,— это профсоюзное движение, и то довольно слабое.

— Совершенно верно,— спокойно сказала Роза.— Я много занималась тамошними проблемами. Кстати, есть еще одна довольно опасная тенденция. Партия ППС прусского захвата... А ведь это единственная партия польских рабочих на территориях Германии и Австро-Венгрии, в состав которых входят польские земли...

— Нам это известно,— перебил Ауэр, и сдерживаемое недовольство прозвучало в его голосе.

— Так вот,— невозмутимо продолжала Роза,— эта самая ППС прусского захвата, вернее, ее руководство на-

строено довольно националистически, что для классового сознания польских рабочих угроза немалая.

— И что отсюда следует? — спросил Игнатий Ауэр.

— Отсюда как раз и следует то, ради чего я у вас. Надо бороться за польских рабочих, за их голоса на выборах в рейхстаг!

— Между прочим,— сказал Ганс Лидеман,— предыдущие выборы нас огорчили: в бывшем княжестве Познанском мы получили очень мало голосов.

— Вполне естественно,— сказала Роза.— Повторяю: за голоса польских рабочих надо сражаться. Агитация, дебаты, распространение нашей литературы, пресса. Кстати, здесь, в Берлине, выходит орган ППС прусского захвата «Газета роботнича».

— Мы и помогли открыть эту газету,— перебил Игнатий Ауэр.

— Я знаю,— нетерпеливо сказала Роза.— Но сейчас эта газета, по моему мнению, прозябает и облик ее весьма сомнительный, с сильным националистическим душком. Ее перевести бы в Познань или Вроцлав в самую гущу польских рабочих масс, придать ей истинно революционный и интернациональный облик... Я готова принять в этом деле горячее участие.

— Что же,— сказал Ауэр,— можно будет обсудить этот вопрос. Идея мне нравится. Но вернемся к ближайшим задачам: ваша агитационная поездка по Верхней Силезии. Со второго июня в путь, фрау Люксембург!

— Я постараюсь оправдать ваше доверие! — сказала Роза.

— А чему вы улыбаетесь? — вкрадчиво спросил Ганс Лидеман.

Настроение Розы прыгнуло стремительно вверх: «Поеду!» Входя в этот кабинет, у нее не было уверенности, что все кончится так благополучно. Сейчас она вспомнила то, что писала Лео в последнем письме: «Теперь си-

деть в норе до самых выборов мне совсем не по вкусу. Попросту, я не могу сидеть в углу, постоянно читая о собраниях. И наконец, хочется, до черта, немного представиться публике».

— Я рада,— сказала она,— что моя поездка состоится.

— Наша,— сказал Ганс Лидеман с интимными нотками в голосе.

Роза с удивлением посмотрела на Ауэра.

— Да, да,— сказал хозяин кабинета.— Ганс Лидеман, член Правления партии («Ого! — подумала Роза.— Уже член Правления...»), будет сопровождать вас в поездке. Ведь он у нас специализируется в последние годы по польским делам. С этой целью изучил язык Мицкевича...

— О! — смущенно перебил Ганс Лидеман и сказал: — Я мувем кепско по-польску *.

«Совсем скверно»,— подумала Роза и засмеялась:

— Браво, Ганс! Какой сюрприз!

— Надеюсь,— сказал Ауэр,— наш Ганс станет для вас неплохим импрессарио, у него блестящие организаторские способности, а что он начинен энергией, видно, как говорится, невооруженным глазом.

Роза была неприятно поражена этой новостью, и ей стоило больших усилий не выдать своих чувств.

— И последнее, фрау Люксембург.— Игнатий Ауэр взглянул на ручные часы.— Я вас попрошу набросать тезисы выступлений, члены Правления должны ознакомиться. Дебаты, которые развернутся в рейхстаге, вам известны: вопросы милитаризма, кредиты, колониальная политика правительства.

— Хорошо,— сказала Роза.— Завтра тезисы будут готовы.

Вошла секретарша, чопорная седовласая дама:

---

* Я говорю плохо по-польски.

— Представители английских тред-юнионов прибыли.

Игнатий Ауэр протянул Розе руку:

— Желаю успеха! — На лице его играла несколько заученная улыбка.

Ганс Лидеман распахнул перед ней дверь:

— Прошу!

4

14 июня было назначено ее выступление в Злоторые. На маленькой станции рано утром Роза и Ганс Лидеман вышли из вагона поезда.

— Отсюда, фрау Роза,— сказал Ганс,— нам предстоит проехать лошадьми пятнадцать километров. Экипаж я, как видите, заказал по телефону.

В тени акаций стояла бричка, запряженная парой гнедых жеребцов, сильных и стройных.

Надо сказать, что Ганс Лидеман действительно оказался энергичным, целенаправленным организатором, умел быстро находить полезных и нужных людей, получалось у него все четко, аккуратно — выступления Розы перед польскими рабочими проходили по строго намеченному графику.

...Дорога рассекала поле высокой ржи; ленивые облака плыли по небу; в лицо несся свежий ветер, гнал по ржаному полю зеленоватые волны.

Впереди показался хутор: соломенные крыши, темный деревянный костел, окутанный старыми липами; босоногая девочка гнала к пруду гусей, что-то напевая. У развилки дорог росли две березы.

— Ганс...— голос ее сорвался.— Попросите, пожалуйста, остановиться.

Она подбежала к березе, обняла ее гладкий, прохладный ствол. Когда Ганс Лидеман подошел к ней, по щекам Розы текли слезы.

— Что с вами? — забеспокоился Ганс.— Вы себя плохо чувствуете?

— Нет, нет, хорошо...— Она смотрела, смотрела на темный костел.— Ах, Ганс, вы меня вряд ли поймете.

Как объяснить этому пышущему здоровьем человеку то состояние, в котором она сейчас находилась? Через многие годы Роза Люксембург встретилась с Польшей (пусть входящей в состав другого государства), со своей горькой родиной!

На этих печальных польских дорогах, среди ржаных полей, перелесков, бедных хуторов Роза чувствовала себя счастливой. Она была счастлива еще и потому, что в письмах (она писала Лео из каждого города, где выступала) восстанавливались их прежние отношения. По крайней мере ей так казалось: Роза уже получила несколько ответных писем из Цюриха, и в них был ее прежний Дзедзя, трепетный, нежный, рвущийся к ней.

...В Злоторые, за час до начала собрания, Роза в маленьком уютном номере гостиницы сидела за столом у распахнутого настежь окна и писала письмо Лео. Ветка цветущего жасмина тянулась к ней, и терпкий, сладкий запах наполнял комнату; от него даже немного кружилась голова.

Быстро бежали по листу бумаги торопливые строчки:

«Самое главное и самое сильное впечатление на меня произвели здешние места: поля ржи, луга, леса, огромная равнина и польская речь, польские крестьяне вокруг. Ты не можешь понять, как я от этого всего счастлива. Я чувствую, что будто родилась заново, как будто бы снова нашла почву под ногами. Не могу наслушаться их речи, надышаться здешним воздухом!..»

Роза откинулась на спинку стула. Тяжелый шмель висел над белым цветком жасмина, жирно жужжа. По темно-зеленым стрельчатым листьям ползали черными

точками жучки. Бледно-желтая гусеница двигалась по ветке, свертывая свое тело в высокую петлю. Всюду жизнь! Ощущение гармонии наполняло Розу. Она писала дальше:

«Я уже решила, что на «каникулы» не я поеду в Швейцарию, а ты приедешь сюда (те же самые деньги), и мы будем жить в какой-нибудь силезской деревне, потому что я совершенно уверена, что и ты тут оживешь, и ты будешь наслаждаться, когда увидишь, докуда хватает глаз, колоссальное ржаное поле (колосья уже выше меня!), луга с коровами, которых пасет пятилетний босой ребенок, и наши сосновые леса! Да и крестьян наших, обнищавших, грязных, но какой дивной стати...»

В дверь энергично постучали.

— Да, прошу! — сказала она, с неохотой отрываясь от письма и своих мыслей.

В комнату влетел Ганс Лидеман, возбужденный, с потным лицом.

— Фрау Роза! Мы опаздываем! Народу! Арендованный клуб не вместил всех желающих послушать вас, люди стоят у раскрытых окон, буквально друг на друге.

«Придется дописать завтра,— подумала она.— Наверно, уже в Крулевской Хуте».

— Идемте, Ганс.

...В светлом длинном платье, в легкой летней шляпе Роза прошла через людской коридор, ощущая на себе внимательные, любопытные, изучающие взгляды. Впереди нее колобком катился Ганс Лидеман, говоря на ходу:

— Расступитесь! Так... Пропустите, пожалуйста!

Они оказались на небольшой сцене, за столом, на котором стоял букет резеды в фарфоровой вазе.

Роза смотрела в переполненный зал. Лица, лица, лица... Больше молодых лиц. Польские рабочие. Впрочем, несколько студенческих кителей. Это хорошо... И женщины есть. Правда, их совсем мало. Ничего, ничего! Жен-

щина нового времени, уже близкого двадцатого века, только рождается. Свободная, гордая, равноправная...

Уже знакомое, азартное, не раз испытанное чувство наполняло Розу Люксембург: поединок, борьба за умы, завоевать, убедить или переубедить. Нервы напряглись до предела...

Вышел вперед Ганс Лидеман. Тихо, нѐвнятно рокочущий зал постепенно утих.

— Граждане! — Голос у Ганса был уверенный и бодрый.— Товарищи! Я думаю, вам не надо представлять оратора, который сейчас перед вами выступит...

Ему не дали договорить — зал разразился аплодисментами.

«Меня уже здесь знают»,— подумала Роза, вышла из-за стола, поставила перед собой стул, взялась руками за его спинку. Мгновенная тишина накрыла зал.

— Товарищи! Друзья! Поляки!..— Голос ее звенел от сдерживаемой страстности.— Вы знаете, что очень скоро состоятся выборы в рейхстаг. Какой партии вы собираетесь отдать голоса? — Зал ответил невнятным рокотом.— Я приехала к вам с единственной целью: агитировать вас за Социал-демократическую партию Германии, за СДПГ!

— В этой партии одни немцы! — крикнули из зала, и шум неодобрения прокатился по рядам.

Наступила тишина, и Роза продолжала:

— Верно, СДПГ — партия немецкого пролетариата. Естественно, что подавляющее большинство ее членов — немцы. И вы вправе спросить: зачем нам голосовать за немецких кандидатов, когда все беды поляков, живущих в Верхней Силезии, идут от немцев: правительство проводит жестокую политику онемечивания, польские рабочие на фабриках и заводах за одинаковую работу получают меньше, чем немецкие рабочие...

— Правильно! — послышались голоса.

— Долой прусский гнет!

Роза подняла руку. Взволнованный зал постепенно смолк.

— Я скажу вам больше.— В голосе Розы послышались непримиримые нотки.— Кто в Силезии, как правило, фабрикант, банкир, помещик? Немец! — Негодующий гул прокатился по рядам.— Наконец, у вас есть своя партия, так называемая ППС прусского захвата. Ее члены — поляки. Почему бы кандидатам этой партии не отдать вам свои голоса на выборах в рейхстаг? — Роза сделала паузу, а люди в зале и те, кто стоял густой толпой у раскрытых окон, молчали, мгновенно почувствовав в этой паузе подвох.— И тем не менее,— теперь голос Розы звучал несокрушимой убежденностью,— я призываю вас голосовать за кандидатов Социал-демократической партии Германии! — Зал хранил молчание, и в нем ощущалась враждебность.— Почему? Потому что Социал-демократическая партия Германии — партия рабочего класса! Она, как и все социал-демократические партии Европы, защищает интересы рабочих! Немецких, польских, венгерских — пролетариев всех национальностей! Каждый польский рабочий должен осознать это: он принадлежит к могучему рабочему классу всего мира, для которого нет государственных и национальных границ! Только в единстве рабочих людей всей земли залог грядущей победы социализма. Будем всегда помнить бессмертные слова «Манифеста» наших вождей Маркса и Энгельса: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Внезапная овация вспыхнула в зале.

— Да здравствует социал-демократия! — выкрикнул звонкий юношеский голос.

Роза подняла руку — неохотно наступила тишина.

— Я повторяю эти слова: «Да здравствует социал-демократия!» Знайте: когда польский рабочий за одинаковый труд получает меньше, чем немецкий рабочий, это лишь политика, умелая игра, рассчитанная на то, чтобы

поссорить польских и немецких рабочих, разжечь национальную рознь. В таких условиях капиталистам и правительству легче выжимать соки из пролетариев. Подчеркиваю: и немецких, и польских! Когда в ваших школах с первых классов начинается преподавание всех предметов на немецком языке, помните: это политика правительства, а не немецкого народа! И эту политику осуждает Социал-демократическая партия Германии! Ибо СДПГ — оппозиционная партия...— Роза отпила глоток воды из стакана, который поставил на край стола Ганс Лидеман. Она чувствовала, почти физически, что зал находится в ее руках. Не упускать! Не упускать!..— К сожалению,— продолжала она,— в руководстве вашей партии, в ППС прусского захвата, есть другие настроения, решение всех ваших проблем некоторые товарищи видят в создании независимого польского государства, в воссоединении всех польских земель, входящих сегодня в состав России, Германии и Австро-Венгрии...

— Верно!

— Да здравствует единая Польша!

В зале поднялся шум.

Гансу Лидеману пришлось постучать карандашом по вазе, в которой стоял букет резеды.

— Неверно,— твердо, даже властно сказала Роза в наступившей тишине.— Если вы рабочие и придерживаетесь социал-демократических взглядов — неверно! Во-первых, объединение Польши сегодня невозможно по экономическим причинам: каждая из трех частей польских земель с точки зрения экономики органически вплаяна в промышленное тело страны, в которую входит. Во-вторых... И это самое главное! — Опять голос Розы звенел от напряжения.— Если предположить невозможное: сегодня, сейчас провозглашена единая и неделимая Польша. Что это будет за государство? Ответ может быть только один: капиталистическое! Эксплуататор-немец будет

заменен эксплуататором-поляком. Для рабочего класса ничего не изменится! Но ведь мы с вами хотим видеть Польшу свободной страной!

Розе не дали закончить фразу — ее голос потонул в аплодисментах.

— Да здравствует социал-демократия!

— Слава Марксу!

Многие повскакивали с мест...

Когда наконец стало тихо, Роза, с удивлением заметив, что Ганс Лидеман красен и весь в поту, как будто не она, а он выступал перед залом, продолжала:

— Поэтому я говорю вам: голосуйте на выборах в рейхстаг за кандидатов СДПГ! Сегодня это самая могучая партия во Втором Интернационале. Вдумайтесь в факты и цифры: из всех партий Германии самое большое количество избирательных голосов на выборах в рейхстаг, несколько десятков депутатских мандатов, солидная социал-демократическая пресса. Так пусть же еще мощнее будет партия немецких социалистов! Да здравствует социализм!

Зал гремел овацией, люди что-то кричали, многие ринулись к сцене; к Розе подошел молодой человек с огромным букетом красных роз.

— Вам...— От смущения он больше ничего не смог сказать.

...Розы благоухали на столе в ее гостиничном номере. Она полулежала на диване в своей излюбленной позе: голова откинута на мягкую спинку, поджаты колени, руки опущены. Расслабиться. И постепенно душевное напряжение спадает. Как всегда после выступлений, и сейчас она чувствовала себя измотанной, опустошенной.

В дверь постучали.

Господи! Неужели опять Лидеман?..

— Да, войдите!

Действительно, первым появился в комнате Ганс Ли-

деман, а за ним — высокий стройный человек с заметной сединой в густых волосах, с несколько продолговатым лицом, на котором все было крупно: нос с горбинкой, большой рот с резко очерченными губами, массивный подбородок; темные глаза были живыми, жаркими, очень молодыми.

— Извините, фрау Роза! — Ганс Лидеман пробежался к окну и обратно, энергия в нем, очевидно, не убывала никогда.— Вот товарищ Шёнланк...

— Позвольте я представлюсь сам,— перебил гость и протянул Розе большую руку.— Бруно Шёнланк, главный редактор «Лейпцигер фольксцайтунг». Я был на вашем выступлении. Вы блестящий оратор и полемист.

— Благодарю! — Розе сразу понравился этот человек.

— Друзья! — бодро сказал Ганс Лидеман.— Время ужина. Может быть, мы продолжим беседу за трапезой?

Роза уже заметила эту черту в своем импрессарио: собранный и четкий во время работы, Ганс Лидеман странным образом менялся под вечер: в нем как бы распускались жизненные мышцы, держащие его, он терял свою пружинистость, расслаблялся, появлялись в нем медлительность и вальяжность, даже лицо становилось другим: как бы опускались вниз щеки, напряжение исчезало из глаз, они теперь добродушно, маслено поблескивали. В эти часы Ганс Лидеман жил для своего удовольствия: заслуженный отдых после трудового дня, пора вкусить положенные тебе по праву маленькие радости жизни.

Обычно они ужинали вместе, чаще всего в обществе новых знакомых, местных социал-демократов, но, случалось, оказывались за столиком вдвоем. Ел Ганс много, с наслаждением, он явно из еды сотворил себе кумира, да и пил немало, пожалуй, злоупотреблял алкоголем. И после третьей или четвертой рюмки шнапса он совсем размягчался, крутил головой на своей толстой потной шее,

рассматривая женщин, случавшихся за соседними столиками. Потом взор его обращался на Розу, и Ганс Лидеман начинал недвусмысленно:

— Загадочная вы женщина, фрау Роза!.. Таинственная. И смотрите, какая пикантная ситуация: вы молоды, я молод. Мне, кстати, всего тридцать два, и я холост, чтоб вы знали...

— А я замужем, герр Ганс,— перебивала она эти излияния.

— Перестаньте! Вы хитрая женщина, фрау Роза! — Он грозил ей куцым розовым пальцем, поразительно похожим на сосиску.— Нам же известно, что брак ваш фиктивный. Так почему бы, моя пленительная революционерка...

— Ганс, Ганс,— перебивала Роза и в свою очередь грозила напористому импрессарио пальцем.

Приходилось отшучиваться.

...Они сели за столик у окна, за которым была разбита клумба с красными и желтыми тюльпанами.

— Жаркое готовят здесь отлично,— сказал Ганс.— Итак, жаркое, какой-нибудь зелени и...

— Я предлагаю шампанское,— перебил Бруно Шёнлапк.— За знакомство.

— Не возражаю,— засмеялась Роза.

Пока официант принимал заказ, приносил закуски, раскладывал приборы, Шёнланк говорил:

— Я, Роза, знаю вас и как журналиста. Не подумайте, что это комплимент женщине. Меня поражают ваш свободный, раскованный стиль, накал, страсть. И все это, однако, подчинено у вас железной логике. А самое главное в ваших статьях знаете что? Классовый подход ко всем проблемам.

— Вы меня захвалите, Бруно!

— Я говорю очень серьезно и преследую определенную цель.— Шёнланк внимательно посмотрел на Розу.—

У меня к вам предложение: пишите для нашей газеты! Мы вам предоставим самые широкие возможности. И первое, что я хотел бы получить от вас,— это статью о вашей прямо-таки триумфальной поездке по Верхней Силезии.

— Напишу с огромным удовольствием.

— В площади мы вас не ограничиваем,— сказал Бруно Шёнланк.— Пишите, как напишется.

— За это следует выпить! — воскликнул Ганс Лидеман.

Пробка с треском вылетела из бутылки.

...Большой отчет для «Лейпцигер фольксцайтунг» о своей поездке Роза написала сразу же по возвращении в Берлин. И следом написала целую серию статей «Из Познани», теперь для дрезденской «Зексише арбайтерцайтунг». Публикации этих материалов всячески способствовал Юлиан Мархлевский, работавший в редакции газеты.

5

Двадцатого июня 1898 года в кабинете Игнатия Ауэра собралось несколько наиболее ответственных членов Правления Социал-демократической партии Германии, редакторы газет и журналов, руководители партийных организаций различных немецких земель.

Уже обсуждены были итоги выборов в рейхстаг, на которых социал-демократы опять оказались впереди других партий, хотя на этот раз победа была не такой внушительной, как на предыдущих выборах (о причинах этих результатов и шла речь); поспорили, умеренно и уважительно, о текущих делах... Оставался последний вопрос: итоги агитационной поездки Розы Люксембург по Верхней Силезии.

...Ганс Лидеман заканчивал свой отчет.

— Словом, в лице Люксембург,— говорил он,— мы

имеем блестящего оратора и агитатора, она виртуозно ведет полемику и, как правило, железной логикой своей аргументации одерживает верх над противником. Ее безусловное достоинство — близость к пролетарским массам, она знает их жизнь, интересы, я бы сказал, уровень мышления. Что касается ее работы в газетах и журналах, тут, очевидно, мои комментарии излишни, все читали...

— И ни одного «но», Ганс? — перебил Лидемана Георг Фольмар, попыхивая трубкой.

В кабинете Игнатия Ауэра затянулась пауза: Ганс Лидеман думал, и на его лбу выступали капли пота.

— Есть одно «но»,— сказал он наконец.— Роза Люксембург — максималистка. Она убеждена, что только революция приведет Европу к социализму. Ее соприкосновение с массами подобно удару молота о наковальню. На выступлении Розы в Злоторые я просто физически ощутил: сейчас они, если Люксембург потребует, выйдут из клуба и на улице возникнет первая баррикада.

— Пахнуло порохом? — шутливо спросил Август Бебель, и его глаза молодо заблестели.

— Да! — сказал Ганс Лидеман и не сумел преодолеть страха в своем голосе.— Роза Люксембург не хочет видеть, что изменившиеся условия в Европе...

— Вы говорили мне,— перебил его Игнатий Ауэр,— что она затевает что-то против Бернштейна?

— Совершенно верно! — Ганс чистым платком вытер пот со лба.— Однажды она сказала, что собирается включиться в полемику о статьях Эдуарда Бернштейна «Проблемы социализма». Все до сих пор написанное, сказала она, или беззубо, или не доведено до конца.

— Яростная особа,— благообразный, интеллигентского вида Макс Шиппель недовольно завозился в кресле.

— Одно бесспорно,— сказал Игнатий Ауэр, и на его холеном лице невозможно было прочесть никаких чувств.— Роза Люксембург нам полезна, и то, что она

теперь в рядах нашей партии,— безусловный плюс. Мы должны признать: польские дела запущены. Что касается ее вторжения в дискуссию с Эде...

Ауэр задумался, и возникшей паузой воспользовался Макс Шиппель:

— Жаль,— сказал он,— что сегодня отсутствуют Либкнехт и Каутский. Коли уж фрау Люксембург собирается полемизировать с Бернштейном, лучше бы это происходило на страницах «Нойе цайт» или «Форвертса»... По крайней мере, контроль.

Игнатий Ауэр еле заметно поморщился.

— Вильгельм болен,— сказал он.— Каутский по каким-то срочным делам в Париже.

— А не передерживаем ли мы Розу Люксембург в приемной? — спросил, ни к кому конкретно не обращаясь, Август Бебель.

— Да, да! — Ауэр взглянул на ручные часы.— Просите, Ганс!

...Ей было назначено на десять, и, действительно, уже двадцать минут Роза сидела в приемной Игнатия Ауэра, наблюдая, как пожилая седовласая секретарша, чопорная и неприступная на вид, перебирала бумаги на своем столе.

Настроение было тревожное, неопределенное. Как они расценивают итоги ее поездки по польским землям? И коль она теперь член СДПГ, вполне естественно, придется заниматься не только польскими делами, но и проблемами германской и международной социал-демократии. Марцин прав. Его письмо она получила вчера вечером. Марцин уезжает в Варшаву. Дико, конечно, но письмо Каспшака Роза восприняла как завещание: он уезжает и ей передает свои полномочия здесь, в Германии. Это чувство появилось ночью и уже не дало заснуть: она больше никогда не увидит Марцина... Почему? Почему?.. Он умрет от чахотки. Или его арестуют, и, зна-

чит,— суд. Сибирь. С его-то легкими... Ах, Марцин! Даже не приехал проститься! Да, ты прав, я давно поняла это: успехи социал-демократии — пока на мирном пути борьбы с правительством — привлекли в ее ряды интеллигенцию, в том числе буржуазную интеллигенцию, и ее наиболее видные представители стали приспосабливать учение Маркса к своему мироощущению, еще точнее, к мировоззрению. И понимаешь, Марцин, создана — специально создана! — питательная среда в недрах пролетариата для их идеек — «рабочая аристократия», которую подкармливает буржуазия, понимая...

Ее мысли прервал Ганс Лидеман, появившийся в приемной:

— Прошу вас, фрау Роза!

Она вошла в огромный кабинет в несколько торжественной тишине, мгновенно ощутив на себе более десятка изучающих взглядов.

— Доброе утро,— сказала Роза.

С ней сдержанно, вразброд, поздоровались.

— Прошу сюда, фрау Люксембург,— приветливо сказал Игнатий Ауэр, указав на свободное кресло.

Роза села.

«Да что я так волнуюсь? Спокойно, спокойно!»

— Итак, фрау Люксембург,— заговорил Ауэр,— мы довольны вашей поездкой по Верхней Силезии. Голосов на выборах она нам вряд ли прибавила, но это естественно: слишком мало времени было у поляков для размышлений. Мы надеемся, что результаты ваших выступлений перед польскими аудиториями скажутся в ближайшем будущем...

— Я тоже надеюсь,— быстро сказала Роза.

Игнатий Ауэр сбился с плавной речи, еле заметное раздражение мелькнуло на его лице, однако он продолжал тем же ровным, спокойным голосом:

— Теперь второе... Вы — в наших рядах, в рядах Со-

циал-демократической партии Германии. И это — превосходно! Нам нужны молодые энергичные деятели...

— И молодые, блестяще владеющие пером журналисты! — перебил Август Бебель. Роза встретилась с его дружеским, ободряющим взглядом и вдруг подумала: «С Августом мы будем друзьями».

— Совершенно верно,— бесстрастно откликнулся на реплику Бебеля Игнатий Ауэр.— Может быть, к фрау Люксембург есть вопросы?

— Есть.— Макс Шиппель недовольно завозился в кресле.— Скажите, пожалуйста... Вы вступили в нашу партию. Почему? Если я правильно вас понимаю, прежде всего польские проблемы — ваша забота. В Германии есть партия польских рабочих. ППС прусского захвата. Не логичнее ли...

— Не логичнее! — перебила Роза, подавив нервный озноб, пробежавший по телу.— Задачи, стоящие перед социал-демократией, я рассматриваю с интернационалистических позиций и вашу...— Роза сделала упор на слове «ваша», опять прямо взглянув на Шиппеля,— ...и вашу партию считаю самой авторитетной во Втором Интернационале.

— Совершенно верно! — До сих пор молчавший Пауль Зингер поднялся из глубокого кресла. Высокий, подтянутый, с бледным лицом, с густой седой шевелюрой, он осязаемо излучал силу, уверенность, твердость. По крайней мере, так Роза ощутила сейчас этого человека. На предвыборном собрании здесь, в Берлине, две недели назад, она впервые услышала Зингера, сразу проникшись к нему горячей симпатией: убежденно, аргументированно выступал ее единомышленник. Она знала, что Пауль Зингер из богатой буржуазной семьи, на его средства основана ведущая газета немецких социал-демократов «Форвертс». И от этого еще симпатичнее был ей «перебежчик» из рядов буржуазии.— Совершенно верно! — Голос у Пау-

ля Зингера был молодой и высокий.— Мне очень понятно желание фрау Люксембург работать в нашей партии. Членство в СДПГ дает социал-демократу возможность деятельности в общеевропейском масштабе.

— И, безусловно, и в Польше! — громко сказал Август Бебель.

— С этих же интернационалистических позиций...— Георг Генрих Фольмар пыхнул трубкой,— фрау Люксембург собирается полемизировать с Бернштейном?

— Совершенно верно,— быстро откликнулась Роза. «Значит, Лидеман доложил,— подумала она.— У Ганса не задержится».

— Мы, фрау Роза,— спокойно, с легкой улыбкой сказал Игнатий Ауэр,— с интересом и нетерпением будем ожидать ваших полемических статей. Кстати, где вы их собираетесь публиковать?

— Я... — на мгновение Роза запнулась.— Я еще не решила.

Легкий, мгновенный ветерок колыхнул собравшихся в кабинете.

И опять ровно и бесстрастно заговорил Игнатий Ауэр:

— В конце концов, ваше право, фрау Роза, выбрать журнал или газету для публикаций ваших статей...

6

О, это упоение работой! Она вставала в восемь утра, просыпаясь будто от толчка, распахивала окно — утренняя свежесть врывалась в комнату вместе с щебетом птиц, дыханием легкого ветра, шелестом листьев. Она облокачивалась голыми руками на холодный подоконник, вдыхала прохладу, хлынувшую навстречу, ноздри ее большого носа хищно раздувались, она чувствовала, как кровь убыстряет бег по жилам. Необъятный Берлин, нагромождение крыш Руммельсбурга, смутная зеленая громада

Трептов-парка простирались перед ней, заштрихованные разведенными красками — фиолетовыми, серо-голубыми, красными, будто огромное, живое полотно экспрессиониста лежало за окном ее комнаты. Она жадно оглядывалась на стол — три розы в граненом стакане, книги, номера «Нойе цайт» в зеленых обложках со статьями Бернштейна («Сейчас, Эде, сейчас...»), торопливо исписанные листы плотной глянцевой бумаги и рядом — стопка нетронутых листов, чернильница в виде пивной кружки, ручка с длинным тонким пером. Сейчас... И в левом углу стола, на глыбе первого тома «Капитала» — письма от Лео Иогихеса, целых восемь писем! «Какие же мы с тобой идиоты, любимый! Разве мы можем друг без друга?..»

Она обтирается холодной водой, потом причесывается перед маленьким зеркалом. Как сияют у вас глаза, фрау Люксембург! И какие у вас прекрасные густые волосы. И вообще, фрау Роза, вы ослепительная женщина. Да, да! Недаром мужчины от вас в восторге. И, пожалуйста, не думайте, что успех вашего вояжа по польским землям — результат ораторского искусства. Нет, конечно, говорить вы умеете, что, как известно, отмечено в газетных отчетах. Но и женское обаяние, черт возьми! Вот вам доказательство: кому это за предвыборные речи подносят цветы? А вы после выступления в Легнице получили роскошный букет резеды. А розы в Злоторые?

После завтрака по заведенному порядку полагается часовая прогулка. Нет. Сегодня — нет. За работу!

Роза закрывает окно: должна быть полная тишина. Или приоткрыть дверь на балкон? Совсем немного. Нам, Лео, нужна струя свежего воздуха. Так... Соседи за обеими стенами уже ушли на лекции, почти до вечера будет тихо в доме, населенном студентами. Ну, вперед!

Роза садится к столу, открывает журнал в зеленой обложке. На чем мы остановились, Эде?..

Она просматривает листы, исписанные четким, напористым почерком.

Итак, главная мысль Эдуарда Бернштейна: на современном этапе — конец девятнадцатого века — возможен мирный путь к социализму. То есть, Эде, по существу, вы подвергаете ревизии основу в учении Маркса: освобождение рабочего класса, говорят нам Маркс и Энгельс, возможно лишь в результате социальной революции и завоевания пролетариатом политической власти. Такова наша конечная цель.

Свою работу я назвала «Социальная реформа или революция?». Думаю, что это точное название. Социал-демократия не может быть против социальных реформ. Они — наша повседневная работа. И можно ли социальные реформы противопоставить социальной революции?

Как тут у меня написано? Роза быстро нашла эти строки: «С точки зрения социал-демократии, между социальной реформой и социальной революцией существует неразрывная связь: борьба за социальные реформы является для нее *средством,* а социальный переворот — *целью».*

У вас же, Эде, мы впервые находим противопоставление этих двух моментов рабочего движения. Ваша теория сводится к совету отказаться от социального переворота, конечной цели социал-демократии, и превратить социальную реформу из средства классовой борьбы в ее цель.

Что же произошло в мире? Почему учение Маркса о пролетарской революции «устарело»?

Роза возбужденно прошлась по комнате.

А вот что произошло, утверждаете вы, Эдуард Бернштейн: общий крах капитализма по мере развития последнего становится все менее вероятен. Капитализм, оказывается, приспосабливается к новым условиям. Каким образом? Сейчас! Вашу теорию приспособления я изложи-

ла, надеюсь, точно. Вот: «Приспособляемость капитализма выражается, во-первых, в исчезновении всеобщих *кризисов,* что обусловливается развитием кредитной системы, предпринимательских организаций, транспорта и связи; во-вторых, в устойчивости среднего сословия вследствие постоянной дифференциации отраслей производства и перехода широких слоев пролетариата в среднее сословие, и, наконец, в-третьих, приспособляемость эта выражается в улучшении экономического и политического положения пролетариата, как результате профессиональной борьбы». Лихо, ничего не скажешь! Если согласиться с этим, то есть признать, что капиталистическое развитие не находится на пути к собственной гибели, тогда социализм перестает быть объективно необходимым.

...Роза поднимает голову от исписанных страниц; сквозь задернутые шторы пробиваются солнечные лучи. Быстро бежит время!

Как построить статьи дальше? Спачала я покажу всю несостоятельность теории приспособления капитализма.

Роза поднялась из-за стола, вышла на балкон. Ее окружали деревья сада, щебет птиц. Утро переходило в полдень, становилось жарко.

Перед анализом практической стороны «учения» Бернштейна следует переключиться на что-нибудь приятное.

Я напишу Лео! Пусть он узнает, как я жила до сегодняшнего дня, до того момента, когда принялась потрошить Бернштейна.

Она вернулась в комнату, села за стол, взяла чистый лист бумаги, обмакнула перо в чернильницу.

«Хочешь знать, как я провожу дни, ну, хорошо! Утром часов в восемь я просыпаюсь — и прыг в переднюю, хватаю газеты и письма, потом — юрк под одеяло, чтобы прочесть самое главное. Потом я делаю холодное обтирание (регулярно, каждый день), потом одеваюсь для прогулки и иду на часок в Тиргартен (регулярно, каждый

день, в любую погоду). Потом возвращаюсь домой, переодеваюсь и пишу статейки для Парвуса. Обедаю я дома в 12.30 за 60 пфеннигов, у себя в комнате. Обеды великолепны и ничуть не вредят здоровью. После обеда бух на тахту — и спать! Около трех встаю, пью чай и сажусь писать или статьи и письма (в зависимости от того, чем занималась с утра), или читать книги. У меня имеются библиотечные книги: Блунчля «История государственного права», Канта «Критика чистого разума», Адлера «История социально-политических движений», ну — и «Капитал». Часов в пять-шесть пью какао, снова сажусь за работу либо иду на почту отправлять письма и статьи (что делаю очень охотно). В восемь ужинаю (не пугайся!): три яйца всмятку, хлеб с маслом, сыром или ветчиной и еще стакан горячего молока (литр в день).

Очень люблю работать вечером. Я сделала себе красный абажур для лампы и сижу за письменным столом у открытого балкона: комната в розовом свете выглядит чудесно и свежий воздух из сада проникает через балконную дверь. Часов в двенадцать я завожу будильник, напевая что-нибудь под нос, потом готовлю таз воды для утреннего обтирания, потом раздеваюсь — и бух в постель. Дзедзя доволен? Я тоже...»

Роза оторвалась от письма. Нет, мой славный, пока я не буду тебе писать о том, чем занимаюсь сейчас. Видишь, из-за этого Бернштейна у меня сломался режим. Ладно, пора возвращаться к моему оппоненту!

Она прошлась по комнате. Села за стол.

На теоретический фундамент пресловутого приспособления капитализма Бернштейн возводит практическую деятельность социал-демократии. Любопытно! Что же нам предлагается?

А вот что! По вашему мнению, Эдуард Бернштейн, социализм постепенно вводится в жизнь — конечно же мирно! — следующими средствами: мирная борьба про-

фессиональных союзов, социальные реформы и политическая демократизация государства.

Теперь сделаем окончательный вывод. Изложив доводы и аргументы в защиту мирного пути к социализму, Бернштейн утверждает, что это долгий путь. Партия, поучает он, сегодня должна заниматься сегодняшними практическими делами. А конечная цель — социализм — о, это так далеко. И вот здесь, мой уважаемый оппонент, происходит в вашем труде главное: подвергая учение Маркса ревизии и пересмотру, вы изымаете из него основу — учение о социалистической революции и диктатуре пролетариата, постепенно, незаметно вы превращаете рабочую революционную партию в партию реформистскую. Она у вас отличается от прочих партий, чьи делегаты заседают в рейхстаге, разве что более левой программой, но она — упаси боже! — ни в коем случае не посягнет на разрушение существующего политического и экономического строя. Тут, Эдуард Бернштейн, вы и роняете характерную фразу... Вот она: «...конечная цель, какова бы она ни была, для меня — ничто, движение же — все».

...Бежит торопливое перо по бумаге. Роза чувствует, что лицо ее пылает, душно. Почему так жарко? Боже мой! Уже день, за окном раскаленный белый зной. Нет, надо докончить главу и отдохнуть. Голова тяжелая. Сломался режим. Все, с завтрашнего дня жить по заведенным правилам. А сейчас — гулять...

Она бродит по Зоологическому саду, смотрит, как слонпапа поливает своего детеныша водой из хобота: жарко. Густые тени от разлапистых листьев каштанов, блики солнца на дорожках. Здесь птицы поют всюду...

Понимаешь, Лео, я все время ловлю Бернштейна на нелогичности. С одной стороны, он вроде бы за социализм, все-таки он — конечная цель его социальных реформ. Но с другой-то стороны, в новых условиях капитализм про-

являет все большую приспособляемость, он, получается у Эде, крепнет, совершенствуется, он — вечен. Как же свести концы с концами? Вот что я написала по этому поводу: «Но если согласиться с Бернштейном, что капиталистическое развитие не находится на пути к собственной гибели, тогда социализм *перестает быть объективно необходимым*».

Видишь, Лео, какая ерунда получается? Поэтому я решила построить свои статьи так: сначала я разобью в пух и прах все бернштейнианские пункты «приспособляемости» капитализма, а потом подвергну критике его «мирный путь к социализму посредством социальных реформ». Ах, Лео, как мне здорово пишется! Просто перо не успевает за мыслью...

Ну и ну! Жирафья морда тянется к ней через высокую ограду. Чего тебе дать, дурашка? Да, мой друг Эде, сначала я вам докажу, что кризис — неизбежный спутник капиталистического хозяйства. Я преподнесу вам внутренний механизм кризисов. Вот, вот! Именно внутренний механизм... Скорее за письменный стол!

...И уже густой вечер за открытым окном, летний, темно-синий, в бессонных берлинских огнях. Соседние комнаты гудят молодыми голосами. Горит настольная лампа под красным абажуром, быстро бежит перо по бумаге: «Итак, до сих пор причиной торговых кризисов каждый раз было внезапное *расширение* сферы капиталистического хозяйства...»

Она ложится спать поздно, когда затихает весь дом, а в восемь утра опять на ногах, бодрая, полная сил и нетерпения. Почтальон приносит письмо от Лео Иогихеса, и. значит, начавшийся день будет наполнен до краев. Работать!..

Дни летят стремительно, она не замечает их. Миновал июнь, отшумел дождями август; и уже сентябрь на дворе, первые желтые и багряные краски на деревьях, осень...

Работа подходит к концу. Сказывается переутомление. В середине дня Роза уже на несколько часов делает перерыв: или бродит по улицам, влажным от дождя, с прилипшими к мостовой желтыми листьями, или идет в какой-нибудь музей. Особенно ей хорошо в пустынных гулких залах Нового музея, где собраны коллекции египетских и азиатских древностей, гипсовые слепки, гравюры на меди; здесь словно остановлено, материализировано движение времени и хорошо, неторопливо думается. Сколько всего у человечества уже было! И сколько ему предстоит!.. Нет, Эде, вы меня не поймаете на отрицании практической работы, пользы возможных социальных реформ, деятельности профсоюзов. Я говорю всему этому: «Да!» Однако у вас, хитрый Эде, все это — самоцель. Практическая работа — это и есть ваше пресловутое движение. Я же утверждаю: практическая работа ради конечной цели — построения социализма, который будет осуществлен в результате социалистической революции и захвата власти пролетариатом...

Наконец статьи под общим названием «Социальная реформа или революция?» закончены и переписаны — сто семь убористых страниц.

Роза распахивает окно своей мансарды. Серый, застывший день; туман над Берлином, и в нем город кажется нереальным, воздушным; по желобу стекает вода. Наверное, прохладно, но Роза не ощущает этого, лицо ее пылает, в кончиках пальцев жар.

Она понимает, чувствует: эти статьи — существенная веха в ее жизни. Кому послать, где напечатать? Конечно, вроде бы самое логичное — отправить рукопись в «Нойе цайт», к Каутскому, там были опубликованы статьи Бернштейна... Но что-то удерживает Розу от этого шага. Как относится Карл Каутский к «Проблемам социализма» Бернштейна? Неизвестно. Многие видные публицисты немецкой, французской, русской социал-демократии

выступили с критикой «теории» Бернштейна, а главный теоретик СДПГ Каутский промолчал... Почему? Нет, оставим «Нойе цайт». Надо послать статьи в «Лейпцигер фольксцайтунг». Как-никак вторая по значению социал-демократическая газета Германии после «Форвертса», и с ее главным редактором Бруно Шёнланком они друзья, единомышленники. Бруно с нетерпением ждет ее материалы. Решено: рукопись немедленно будет отправлена в Лейпциг.

И через два дня от Шёнланка приходит восторженный ответ: статьи превосходны, будем печатать.

С 21-го по 28-е сентября 1898 года в «Лейпцигер фольксцайтунг» публиковалась серия статей Розы Люксембург «Социальная реформа или революция?».

Начался поединок «неистовой Розы» с Эдуардом Бернштейном и всем лагерем ревизионистов, который он возглавлял, поединок, растянувшийся на два десятилетия, и судила их История.

7

Жизнь Розы Люксембург в Германии буквально с первых дней была до предела насыщена, она говорила, «работой». Да, это была ее работа: предвыборная поездка по Верхней Силезии; выступления на партийных собраниях в Берлине, в Познани, во Вроцлаве — везде, куда она попадала; писание полемических статей против Эдуарда Бернштейна и отчетов, заметок, дискуссионных материалов во многие газеты социал-демократии; встречи с ведущими лидерами СДПГ (и не только с членами Правления партии, которых почти всех сразу Роза увидела в кабинете Игнатия Ауэра в тот день, когда она отчитывалась о своей поездке. Она, как шутливо было написано в письме Кларе Цеткин, «нанесла дружеские визиты» Вильгельму Либкнехту и Францу Мерингу).

Только с Карлом Каутским еще не произошло личного знакомства. Роза сама оттягивала его. Но оно неизбежно произойдет — сегодня, завтра...

Потому что сегодня 3 октября 1898 года, вернее, вечером 3 октября, закончился первый день работы съезда СДПГ в Штутгарте. И это первый съезд немецкой социал-демократии, в работе которого она, Роза Люксембург, принимает участие как равноправный член партии. Завтра ей будет предоставлено слово. И все ждут выступления Карла Каутского, который почему-то отмалчивается... («Роза,— сказала сегодня в перерыве Клара Цеткин,— давайте подойдем к Карлу, выясним, в чем дело: почему он молчит?» — «Неудобно, Клара,— смутившись, сказала она.— Мы незнакомы».— «Как? — удивилась Цеткин.— Вы мне говорили о дружеских отношениях»... «Мы с Каутским друзья в письмах...»)

— ...Сейчас, Розочка, чайник вскипит,— послышался голос Клары Цеткин,— и мы с вами почаевничаем на русский манер, меня Осип приучил.

Роза сидела в небольшой столовой в доме Цеткиных. Горела висячая лампа под розовым абажуром; мерно, успокаивающе тикали стенные часы; шторы на широком окне не были задернуты, и за темными стеклами стоял мокрый осенний вечер; слышно было, как тихо шуршит дождь.

Просто великолепно, что Клара живет здесь, в Штутгарте! Она встретила Розу на вокзале, подхватила саквояж, сказав решительно: «Никаких отелей! Жить вы будете у нас». И в этом незнакомом, чужом городе Роза сразу почувствовала себя просто и уютно — рядом была Клара Цеткин!

С памятного знакомства на Цюрихском конгрессе Второго Интернационала они виделись мельком несколько раз, обменивались короткими письмами, для женского журнала «Глайхайт», который редактирует Клара Цет-

кин, Роза написала две или три статьи. Однако и мимолетные встречи и, казалось бы, случайная переписка все больше сближали их — обе женщины жаждали общения, и объединяло их главное: родство душ и единство политических взглядов.

Приехав в Берлин, Роза сразу же написала Кларе Цеткин о том, что решила прочно обосноваться в Германии, и уже на следующий день из Штутгарта прилетела телеграмма: это лучшее, что может быть! Надо немедленно встретиться. Но в первые месяцы жизни Розы в Германии встречи не получилось: ее закружили дела («Невероятно: я уже почти полгода в Германии!» — с удивлением подумала сейчас Роза). И вот они встретились — только вчера...

Сегодня на съезде Бруно Шёнлапк, главный редактор «Лейпцигер фольксцайтунг», сказал Розе по секрету, что Клара Цеткин написала ему письмо, в котором дана самая высокая, просто восторженная оценка Розиных статей, полемизирующих с Бернштейном. Спасибо, Клара!

Сегодня на съезде!..

Роза мгновенно пережила этот бурный, насыщенный день.

...Десять часов утра. Зал переполнен. Роза уже многих знает лично, с ней здороваются — кто радостно, кто подчеркнуто сдержанно.

— Вон Карл Каутский,— тихо говорит ей Клара Цеткин.— А рядом — Шиппель.

Но боковая ложа, где сидят Каутский и Макс Шиппель, далеко, и Роза видит только смутные пятна лиц; на одном из них поблескивают стекла очков.

Пауль Зингер выносит на голосование съезда повестку предстоящей работы: отчетный доклад Правления (его сделает Игнатий Ауэр); отчет контролеров; доклад о парламентской деятельности; участие в выборах в прусский ландтаг; майский праздник 1899 года... Всего девять

пунктов. Когда они перечислены все, рядом с Розой поднимается Клара Цеткин.

— Я предлагаю,— на весь зал звучит ее высокий сильный голос,— в связи с имеющимися разногласиями включить в повестку работы нашего съезда вопрос о тактике партии!

Взрыв! Спичка брошена в пороховой погреб; волна прокатывается по залу, многие повскакивали с мест, выкрики: «Правильно!» Всем собравшимся здесь понятно: вопрос о тактике — это полемика о конечной цели борьбы, это обсуждение последних предложений Эдуарда Бернштейна и его сторонников, то есть открытая дискуссия с ними. В канун съезда на низовых партийных собраниях, в социал-демократической прессе разгорелись жаркие споры, и большинство ораторов и авторов статей выступили с резкой критикой основных положений Бернштейна, изложенных в его «Проблемах социализма». И вот Клара Цеткин предлагает продолжить эту принципиально важную дискуссию на трибуне высокого съезда.

Но выступает Игнатий Ауэр, он — формулировки обтекаемы и мягки — против внесения в повестку этого пункта. Выступает Вольфганг Гейне, выступают другие члены Правления — против, против, против... Молчит Карл Каутский...

Предложение Клары Цеткин обсудить на съезде вопрос о партийной тактике было отвергнуто.

— Почему? — недоумевала Роза.

— Сейчас вы все поймете,— сказала Клара Цеткин, внешне оставаясь совершенно спокойной.— Они не выдержат, заговорят сами.

И действительно, после отчетного доклада Правления партии (Игнатий Ауэр ни одним словом не обмолвился о ревизионизме, о полемике, которая развернулась в низовых организациях партии и на страницах газет и журналов вокруг статей Бернштейна... Будто и не возникало

проблемы), после отчета контролеров, после вполне миролюбивых дебатов по другим пунктам повестки дня, начались прения.

И вот тогда сторонники Эдуарда Бернштейна выступили дружно, один за другим, это было похоже на подготовленный открытый бой: Пеус, Фольмар, Гейне, Шмидт, Ауэр. (Да, да, Игнатий Ауэр весьма виртуозно защищал Бернштейна — прав оказался Марцин Каспшак. Впрочем, опять его речь была уклончива, с оговорками, но в марксистские формулировки была тщательно упакована главная мысль: Эдуард Бернштейн, развивая учение Маркса и Энгельса в новых условиях, сложившихся в Европе в наши дни, вряд ли ошибается: пусть еще смутно, контурно, однако просматривается — просматривается! — реформистский путь к социализму.)

И во всех выступлениях защитников и сторонников Бернштейна подвергалась критике она, Роза Люксембург, за ее статьи в «Лейпцигер фольксцайтунг». Критика была разная: завуалированная, открытая, грубая, язвительная.

...Роза достала из сумочки записную книжку, полистала ее, нашла нужную запись. Как вы изволили выразиться, многоуважаемый юрист Вольфганг Гейне? Ага! Вот. Она обозначила для себя суть его речи: «Новая тактика всецело оправдывает себя в деятельности партии. Постоянное подчеркивание конечной цели только раздражает пролетарские массы... (Это вас она раздражает, господа оппортунисты!) Стремление к лучшему будущему через революцию есть дело темперамента таких нетерпеливых особ, как Роза Люксембург и Клара Цеткин. Между тем массам надоело слушать одно и то же, но есть средство, которое никогда не может наскучить,— это борьба за ежедневные, общепонятные требования, удовлетворение которых и есть путь к прекрасному будущему».

Плохо вы знаете рабочие массы, Вольфганг Гейне...

— ...А вот, Розочка, и я! Простите, замешкалась на кухне.

Клара Цеткин поставила на стол поднос с чайником, накрытым русской матрешкой, чашки, вазочки с вареньем и домашними, еще теплыми слойками.

— Мальчики с нами не будут ужинать? — спросила Роза.

— Они уже поели.— Клара разливала чай по чашкам.— И теперь спят. Набегались, самый непоседливый возраст: Максиму пятнадцать лет, Костику тринадцать.

Роза и Клара пили чай, смотрели друг на друга, молчали, и обеим было хорошо. Дождь монотонно шумел за окном.

— Клара,— нарушила молчание Роза.— Простите... Вы такая молодая, интересная женщина и...

— Какая там молодая! — несколько поспешно перебила Клара.— Сорок второй год. У нас с вами, Розочка, разница в целых четырнадцать лет.

— Я ее совершенно не ощущаю! — порывисто сказала Роза.

— И я тоже.— Добрая улыбка осветила лицо Клары Цеткин.— Ну а что касается личной жизни... Скоро десять лет, как умер Осип, а мне кажется, что вчера в нашей крохотной парижской квартирке мы вот так же пили чай, и этой матрешкой был накрыт чайник...— Она резко отвернулась от света.

— Простите, Клара!

— Нет, нет, ничего. Потом, знаете, нет времени даже оглянуться: работа, разъезды, выступления, главное — мой журнал. И потом... Я счастлива со своими мальчиками...

— Я вам подолью чаю,— перебила Роза.

— Спасибо! — И Клара уже смеялась.— А у меня новость, я вам забыла сказать: Эдуард Бернштейн прислал из Лондона письмо нашему съезду.

— А почему он сам не хочет приехать сюда? — спросила Роза.

— На этот вопрос может ответить только сам Эде. Очевидно, туманный Альбион ему милее сумрачной Германии. Впрочем, главное в другом: против его возвращения правительство.

— С этого письма начнется завтрашний день на съезде? — Волнение охватило Розу: наверняка в письме Бернштейна содержится ответ на ее критику.

— Возможно,— сказала Клара Цеткин.— Впрочем... Нашему Правлению виднее: там у нас стратеги.

— Я вообще отказываюсь понимать «некоторых стратегов»! — загорячилась Роза.

— Я тоже не все понимаю. Ничего, постепенно разберемся. Розочка, вы так и не попробовали наши фирменные слойки...

Обе женщины рассмеялись.

...Нет, следующий день на съезде начался не с письма Эдуарда Бернштейна.

Пауль Зингер позвонил в колокольчик, стало тихо.

— Слово предоставляется Розе Люксембург!

Она шла к трибуне, чувствуя, что весь зал напряженно, ожидающе смотрит на нее.

«Я не назову имени Бернштейна, но я скажу все. Спокойно, спокойно...»

Роза Люксембург поднялась на трибуну.

— Я знаю...— Она как бы со стороны услышала себя: голос звенел.— Я знаю, что еще должна заслужить свои эполеты в германском движении. Но я хочу это сделать на левом крыле, где борются с врагом, а не на правом, где хотят идти ему на уступки!

Короткие горячие аплодисменты раздались в зале.

— Речи Вольфганга Гейне и других показали, что в нашей партии один крайне важный вопрос затуманен, а именно: понятие о связи между сегодняшними задачами

и существующей нашей конечной целью... И она есть суть: захват политической власти революционным путем. Итак, понятие о связи конечной цели с повседневной борьбой. Здесь говорят: конечная цель занимает значительное место в нашей программе, ее не следует забывать, но она не находится ни в какой конкретной связи с нашей политической деятельностью. Вчерашний оратор уважаемый Пеус договорился, простите, до следующего... Цитирую: «Само понятие «конечной цели» противно мне, потому что «конечная цель» попросту не существует».— Негодующий шумок вихрем пронесся по залу. «Сейчас ударить по Бернштейну».— Я же утверждаю, движение как самоцель для меня ничто. Конечная цель для нас — все!

На этот раз больше минуты в зале не смолкали аплодисменты.

«Так! Только так! Теперь не упустить зал!»

Полностью владея вниманием собравшихся, чувствуя, что большинство на ее стороне, Роза говорила еще полчаса.

Главная ее мысль, подкрепленная примером Парижской коммуны, была: мы — революционная партия классовой борьбы, социализм — в полном соответствии с учением Маркса и Энгельса — будет завоеван только в результате победоносной пролетарской революции. Это и есть наша конечная цель, и только ей должна быть подчинена вся тактика партии.

— ...Поэтому,— завершила свое первое выступление Роза Люксембург в качестве члена СДПГ,— наши взгляды на то, что является конечной целью, должны быть ясны и определенны. Мы ее добьемся, несмотря на бурю, вихри и непогоду!

...За Розой Люксембург выступила Клара Цеткин, полностью поддержав ее и потом обрушившись с резкой критикой на Карла Каутского за то, что он опубликовал в

«Нойе цайт» статьи Эдуарда Бернштейна «Проблемы социализма» без всяких комментариев, тем самым — вольно или невольно — солидаризируясь с автором в его антимарксистских положениях.

Каутский промолчал.

Вторично попросил слова Вольфганг Гейне, еще раз выступили Фольмар, Шиппель — сторонники Бернштейна яростно защищали своего кумира.

С блестящей речью, в которой с железной логикой обосновывалась тактика классовой борьбы за конечную цель, выступил Штатхаген...

Полемика между марксистами и оппортунистами разгорелась, и осторожное Правление не могло уже смягчить накал борьбы.

Настало время и признанному вождю партии Августу Бебелю высказаться по предмету спора.

Сначала — после перерыва, уже на вечернем заседании — Бебель зачитал письмо Эдуарда Бернштейна, адресованное съезду.

Содержание этого послания сводилось к следующему: несмотря на сделанные ему возражения на предсъездовских партийных собраниях, как бы они ни были авторитетны, он, Эдуард Бернштейн, не может изменить своих взглядов, которые приобретены им на основе анализа социальных отношений. Среди оппортунистов раздались одобрительные возгласы и аплодисменты.

— Я не разделяю взглядов Бернштейна...— сказал в своей речи Бебель. Теперь аплодировали Роза Люксембург, Клара Цеткин и их сторонники.— ...потому что они противоречат его собственным выводам. Однако, товарищи! Я возражаю против тона тех ораторов, которые в Эдуарде Бернштейне видят врага нашего дела. Подобный тон не позволяет партии заняться спокойным возражением по спорным пунктам в доктрине нашего лон-

донского теоретика.— Зал зашумел... Роза Люксембург и Клара Цеткин переглянулись.— Мы должны,— повысил голос Август Бебель,— найти такой путь, который примирит различные направления, приведет к общему решению. Давайте дискуссировать объективно, не забывая, что мы разговариваем как партийные товарищи с партийными товарищами...

И тут вскочил Вольфганг Гейне, крикнул с места:

— Общего пути нет! Есть два возможных пути: или реформистский, предлагаемый Бернштейном, или путь насильственной революции! Почему Бебель не говорит ясно, за какой он путь?

В зале поднялся шум.

— Гейне в данном случае прав,— тихо сказала Роза Кларе Цеткин.

Пауль Зингер звонил в колокольчик.

Опять выступали сторонники и противники Эдуарда Бернштейна. Резко и прямо против апологета реформистского пути к социализму высказались Вильгельм Либкнехт и Франц Меринг. Страсти разгорались...

...Наконец в последний день работы съезда выступил Карл Каутский. Вынужден был выступить.

— Я взял слово, должен признаться, весьма неохотно,— говорил Каутский.— Мне приходится полемизировать против человека, с которым меня связывает дружба и восемнадцать лет совместной партийной работы. И я — уж простите — буду избегать известных выражений и не продолжать ненужной резкости в дискуссии.

Далее последовала умеренная, даже обтекаемая критика основных положений Эдуарда Бернштейна, признавалась неизбежность обострения классовых противоречий и неотвратимость социальных катастроф в будущем. Но тем не менее мысли, высказанные Бернштейном, полезны и необходимы для развития духовной жизни социал-демократии...

Роза Люксембург недоумевала: все-таки Карл Каутский за Бернштейна или против?

Закончил свою речь Каутский совсем неожиданно:

— Зря ставили Бернштейну в укор, что его статьи ослабляют нашу уверенность в победе, сковывают руки пролетариату. Я не разделяю этого взгляда! — В рядах ревизионистов грянули аплодисменты.— Бернштейн не обескуражил нас, а заставил размышлять. Будем же ему за это благодарны!

И под шум аплодисментов Карл Каутский покинул трибуну. Был объявлен перерыв. Последний перед закрытием съезда.

В буфете Клара Цеткин подвела Розу к Каутскому:

— Знакомьтесь, как говорится, очно.

— Вот вы какая... неистовая Роза! — Пожатие его сухой руки было быстрым и крепким.— Дайте, дайте разглядеть вас вблизи.

Роза тоже, может быть несколько бесцеремонно, рассматривала своего — она готова была признать это и сейчас: да, да! — своего кумира.

Удивительное лицо у Карла Каутского! Оно продолговато, как бы вытянуто вверх, вытянуто за счет огромного лба, благородного могучего лба, наверняка такая голова может быть только у мыслителей, ученых, философов. Потом — глаза, напряженные, с каким-то фанатическим смыслом глаза, под стеклами очков в тонкой оправе; кажется, ничего не укроется от пристального взгляда этих глаз. Прямой нос, немного впалые щеки, коротко постриженные жесткие седые волосы, такие же седые баки, усы и борода. Когда Карл говорит, черты лица остаются неподвижными, анемичными, только все время меняется выражение глаз, и собеседник (Роза, во всяком случае) как бы находится под легким гипнозом их взгляда.

Роза хотела бы многое сказать этому человеку, но

сейчас, после его такого двусмысленного выступления...

И Карл Каутский, очевидно, понял ее состояние.

— Вот что, Роза,— сказал он с несколько принужденной улыбкой,— здесь, в сутолоке, мы вряд ли сумеем поговорить обо всем. Окажетесь в Берлине — милости прошу.— Он протянул ей визитную карточку.— И Луиза будет рада.

Послышался звонок.

Так состоялось знакомство Карла Каутского и Розы Люксембург.

...Штутгартский съезд СДПГ, который работал с 3-го по 8 марта 1898 года, не принял специального решения, осуждающего ревизионизм и оппортунизм; вопрос об исключении из партии Бернштейна и его сторонников даже не ставился; слово «раскол» не было произнесено...

Однако, закрывая съезд, Пауль Зингер говорил:

— Я подчеркиваю самым решительным образом, что партия немецких рабочих отклоняет ревизионизм, она остается партией классовой борьбы. Именно на этой основе будем и впредь хранить и всемерно укреплять единство и сплоченность партийных рядов!

Таким образом, съезд, выражая волю подавляющего большинства рядовых членов партии, осудил ревизионизм и его идейного вождя Эдуарда Бернштейна. В этом немалую роль сыграли выступления Клары Цеткин и Розы Люксембург.

8

...Она еще раз прочитала адрес в визитной карточке. Значит, этот дом.

«Черт возьми! — говорила она себе.— И чего это я так взволновалась? Прямо гимназистка перед парадными дверями какого-нибудь обожаемого светилы, поэта или музыканта. Нет, это просто смешно!»

Был конец апреля 1899 года.

Роза прошла через темный весенний сад, поднялась по каменным ступеням. Сердце стучало учащенно, и унять неожиданное волнение она не могла.

Дверь открыла молодая женщина, которую Роза сразу узнала, приветливо улыбнулась, сказала просто:

— А вот и вы. Здравствуйте, Роза. Наконец-то вы воспользовались нашим приглашением.

И от ее улыбки, от пожатия энергичной руки, от доброжелательства и простоты, которые она распространяла вокруг себя, волнение Розы улеглось, ей стало хорошо, даже беспричинно весело, осталось только любопытство: «Интересно, интересно! Как тут поживает наш Карл?»

Послышался шум, звонкие детские голоса, и в переднюю ворвались три мальчугана: двое гимназического возраста, а третий был карапуз, лет пяти или шести, полный, с бантом на голове, на круглой лукавой мордашке маслинами светились хитрые глаза.

— Наши сыновья,— представила их Луиза.— Старшие Феликс и Карл, а этого шалопая зовут Бенделем.

Мальчики с любопытством разглядывали Розу, она успела определить, что старшие похожи на отца — продолговатостью лиц, овалом щек, даже выражением глаз, а младший еще ни на кого не был похож — ни на отца, ни на мать, было в нем что-то южное, итальянское.

— Зовут меня фрау Роза,— сказала она,— и давайте будем друзьями.

Мальчики радостно заулыбались, и Феликс сказал:

— Приходите в детскую, мы покажем вам наши книги!

— И научим играть в разбойников Шиллера! — нетерпеливо сказал Карл-младший.

— А я... а я...— заспешил Бендель.— Я нарисую вам гуся!

Положительно мальчики были очаровательные.

И тут в передней появился Каутский:

— Здравствуйте, здравствуйте! Вы пунктуальны, Роза!

— Я всегда пунктуальна,— сказала она.

Карл помог ей снять пальто, спрашивал, легко ли она нашла их дом, сказал что-то о погоде, что вот, мол, какая дружная весна в этом году, и ее повели в глубину апартаментов.

Роза сразу оценила стиль этого дома: благополучие, устойчивость, дружеские, ничем не омраченные отношения между членами семьи, хороший вкус хозяев, может быть, чуть-чуть приправленный буржуазностью; этот вкус проявлялся в обстановке, дорогой, но не чопорной, в картинах на стенах, в старинных часах с двумя гирями и медным маятником в виде солнца; потом — атмосфера интеллектуального труда, соединенного с демократизмом: всюду шкафы с книгами, карта мира, выполненная на материи — она вместо ковра висела на одной из стен; через открытую дверь Роза увидела кабинет Каутского, в нем царил беспорядок — стол был завален бумагами, рукописями, листами журнальной верстки, стопки книг всюду — на подоконнике, на диване, прямо на полу...

В гостиной над столом горела яркая лампа под белым стеклянным абажуром, скатерть была белоснежная и тугая от крахмала, так что топорщилась по углам, стол был со вкусом сервирован: набор самых разных фарфоровых тарелок, вилок; ложки, ножи, всяческие соусницы и приправы в причудливых сосудиках.

В гостиной появилась пожилая дама с благородной седой головой, которую она держала прямо, с достоинством; и двигалась дама по комнате плавно, величаво. «Смотрите, сколько во мне изящества, несмотря на преклонные годы»,— всем своим видом говорила возникшая перед Розой женщина.

— Знакомься, мама,— сказал Каутский,— это Роза

Люксембург, я говорил тебе.— Карл повернулся к Розе.— Глава нашего семейства, моя родительница, Минна Каутская. У нас в доме ее зовут Гранни *, и если вы наш друг, а я в этом не сомневаюсь, и для вас, Роза, мама — Гранни.

— Так и зовите меня, милочка.— Глава семейства со вниманием рассматривала гостью.— Гранни, и все тут.

Удивительно! Все они были чем-то похожи друг на друга. (Только потом, постепенно Роза определила это общее, объединяющее семью Каутских: взаимные любовь и уважение. И печать этих чувств была на их лицах.)

Перед Розой появился Карл-младший и, лукаво поглядывая на Минну Каутскую, выпалил:

— У нас Гранни — писательница! Она пишет романы! Сейчас в самом разгаре труд над семейной хроникой «В родительском доме»!

Все засмеялись, а Гранни сказала:

— Пишу, верно! Карл вот в меня пошел.

— Ну, прошу к столу! — Каутский отодвинул стул с высокой спинкой из черного дерева, усаживая Розу справа от себя.

Прибежали Феликс и Бендель, у всех были свои места, дружно, со смехом и шутками расселись за столом.

И сейчас же появилась пожилая женщина с огромным подносом, уставленным всевозможными закусками; остро, свежо запахло только что разрезанным зеленым огурцом. Женщина добро улыбнулась Розе, а Луиза сказала:

— Наш повар и вообще добрый гений дома Ценэи.

Роза хотела протянуть доброму гению дома руку, но Ценэи, быстро расставив тарелки, уже исчезла.

Обед проходил весело, просто, Розино смущение давно исчезло, она, оказывается, еще не забыла назначение но-

* Гранни — сокращенно от Grossmutter (бабушка).

жей, вилок и ложек самых разных форм и размеров, вроде бы все у нее получилось как надо.

— Роза,— спросил Каутский,— теперь-то вы окончательно осели в Берлине?

— Похоже, что да,— засмеялась она.

...По предложению Правления СДПГ Роза несколько месяцев проработала в Дрездене главным редактором «Зексише арбайтерцайтунг». Соглашаясь занять эту должность, она думала, что в дрезденской газете будет трудиться вместе с Мархлевским и Парвусом, но к тому времени саксонские власти настояли на том, чтобы «опасные русские» покинули Дрезден (Юлиан с женой снова обосновался в Мюнхене). Кроме того, возник конфликт с несколькими редакторами отделов, неявно, но твердо поддерживающими Бернштейна. И Роза решила вернуться в Берлин.

Была конкретная причина, побудившая ее, оказавшись в Берлине, встретиться с Каутским. В Штутгарте им поговорить не удалось... И самое главное, в конце февраля этого, 1899 года вышла книга Эдуарда Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии», где автор социальных реформ изложил свои взгляды еще более полно и, так сказать, окончательно. Роза знала, что книга написана по прямому совету Карла Каутского: надо поставить все точки над «i». На новое творение идеолога оппортунизма Роза немедленно откликнулась серией критических статей в «Лейпцигер фольксцайтунг». (Сейчас с предыдущими статьями, которые были ответом на «Проблемы социализма» Бернштейна, эти публикации объединены в одну книгу. Она называется «Социальная реформа или революция?» и скоро выйдет в свет.)

Конечно, Карл Каутский прочитал ее последние статьи. И вообще, как он относится к Бернштейну, к его последней книге, где, действительно, все точки над «i» поставлены: теория социальных реформ как реформист-

ский путь к социализму «аргументирована» со всех сторон.

— А где вы остановились, Роза? — спросила Луиза.

— Где и раньше, у своих студентов.

— Надо подыскать вам квартирку здесь, во Фриденау,— сказала Гранни.

Говорили о театре, о литературе (Гранни ругала современных писателей, «разучившихся писать»). О том, что установилась прекрасная погода и уже можно съездить в Потсдам, в парк Сансуси, мальчики давно просятся. Карл-младший, видно самый темпераментный, захлопал в ладоши:

— И фрау Роза поедет с нами!

Она сказала, что с удовольствием совершит с ними это недалекое путешествие; в Сансуси сейчас, действительно, должно быть чудесно.

— Фрау Роза,— спросил Феликс,— а почему вы так смешно говорите?

Бендель прыснул в тарелку с супом. Роза немного растерялась и сразу не ответила. Заговорил Каутский:

— Твой вопрос, Феликс, нетактичен. Потом я объясню тебе почему.— И сказал уже всем: — У фрау Розы польский акцент.— Он повернулся к ней.— В целом же, Роза, ваш немецкий безукоризненный. Прежде всего я имею в виду то, как вы пишете. Кстати, у нас с вами схожая судьба.

— То есть? — не поняла она.

— Вас в Германию привела фортуна через Цюрих из Польши, я проделал тот же путь из Чехии. С той только разницей, что вначале была Австрия, потом Швейцария. И Англия еще, и уж потом — Германия. Ведь я родился в Праге, можно сказать, в интернациональной семье: Гранни вот немка, отец был чехом, да и родители тоже произошли от смешанных браков.

— Какой только крови нет в роду Каутских! — вставила Гранни.

— То, что вы испытали в гимназическую пору в Варшаве от русских властей,— продолжал Каутский,— на мою долю выпало в Вене, куда мы переехали в 1863 году, в ту пору мне было девять лет. Как же! Помню я свою школу, никогда не забуду. Австрийские власти просто изощрялись по части чехоненавистничества. Все эти настроения открыто культивировались среди населения.

— Мальчики! — Луиза сделала строгое лицо.— Вы засиделись во взрослой компании.

Карл-младший, Феликс, Бендель вскочили, как по команде.

— А фрау Роза придет к нам играть в шиллеровских разбойников? — уже в дверях спросил Карл-младший.

— Обязательно приду,— сказала Роза.

— И мне пора,— сказала, поднимаясь, Граппи.— Ждут литературные труды.

Все вышли из-за стола, и Граппи, подойдя к Розе, поцеловала ее в щеку:

— Вы в моем духе, милочка. Приходите к нам почаще. Как-нибудь я почитаю вам главы из своего последнего романа. Уверяю вас, это гораздо интересней, чем политические труды моего ученого сына.

— А мы, Роза,— сказал Карл,— если не возражаете, перейдем в кабинет, там и поговорим. Цензи принесет нам кофе.

— Хорошо,— сказала появившаяся в гостиной Цензи.— Три чашки кофе по-турецки, на десерт — бисквит.

За Карлом Роза и Луиза отправились в его комнату.

Кабинет был освещен только настольной лампой и от этого казался особенно уютным, располагающим к вечерней работе. Поблескивали корешки книг в шкафах, манил к себе просторный письменный стол — на Розу возбуждающе подействовали чистые листы бумаги, газетные гранки, чернильный прибор с ручкой, пр[illegible] лоненной

к открытой чернильнице, все эти безделушки: морская раковина с шумом моря в таинственной глубине, бронзовая фигурка богини правосудия с весами в руке и повязкой на глазах, перекидной календарь, остро заточенные карандаши в чугунном тяжелом стакане с выпуклыми темными цифрами «1799». Так и манил этот стол к работе...

Цензи принесла и поставила на дубовую тумбу в углу поднос с тремя чашечками кофе и кусками желтого, даже янтарного, бисквита на тарелках и молча, с достоинством удалилась.

— Прошу,— сказал Каутский и показал на чашки с кофе, от которого отлетал легкий парок.

Отпив глоток крепчайшего напитка, Роза подошла к книжному шкафу и вместе с Каутским стала рассматривать книги Маркса и Энгельса, изданные в Германии, Англии и Швейцарии. Потом она оказалась у письменного стола и только тогда увидела на нем, в углу, книгу Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» с множеством закладок на разных страницах. Сердце ее забилось.

— Карл,— спросила она,— вы собираетесь ответить на эту книгу?

Каутский заговорил не сразу, внимательно посмотрел на Розу.

— Да,— наконец сказал он.— Собираюсь. Хотя, Роза, вы опередили меня.

И наступила неловкая долгая пауза. Луиза с тревогой смотрела то на мужа, то на гостью.

Что за ерунда такая? В ней поднималась некая горячая волна.

— И все-таки,— с жаром сказала Роза,— вы, Карл, мне непонятны. Вот вами собраны все напечатанные труды Маркса и Энгельса, вы считаете себя последовательным марксистом и защитником марксизма...

— И это так! — перебил ее Каутский; в голосе его была жесткость.

— И тем не менее в «Нойе цайт» вы печатаете «Проблемы социализма» Бернштейна, открыто направленные против основных положений марксова учения. И, простите, Клара Цеткин права: без всяких комментариев... Потом предоставляете ему страницы журнала для ответов на критику...

— Но...— перебил ее Карл.

— Знаю, знаю! — в свою очередь нетерпеливо остановила его Роза.— Свобода критики. Хотя в моем понимании партия не дискуссионный клуб, а борющаяся организация, которая должна действовать сплоченно. И я считаю так: кто не стоит с нами на одной платформе, может идти прочь и создавать свою партию.

— Вы рубите сплеча, Роза,— сдержанно сказал Каутский, но она почувствовала: в нем все клокочет.

— Может быть,— сказала Роза.— Итак, по решению Штутгартского съезда Бернштейну предоставлено право изложить свои взгляды в специальной книге. И вот она, эта книга, перед вами.

— Налицо объективный процесс,— Каутский говорил убежденно и совершенно спокойно.— В партии возникло правое крыло, и термин уже есть: бернштейнианство. Надо знать его положения. Теперь они изложены в книге, изложены полно, откровенно, я бы сказал, талантливо.

— И что же? — спросила она, не понимая, куда клонит Карл.

— Есть положения у Бернштейна, которые — еще раз подчеркиваю это — заставляют задуматься.

— И что из этого следует? — спросила Роза.

— Из этого следует,— в голосе Каутского звучала непримиримость,— что, занявшись исследованием, Бернштейн перевернул все с ног на голову, по существу, отрекся от марксизма...

— Так! И что? — В Розе росло нетерпение.
Карл невесело улыбнулся:
— Надо называть вещи своими именами: между марксизмом и бернштейнианством пролегла пропасть. Необходимо развенчивать Бернштейна. Вы, Роза, это сделали, и сделали великолепно. Настало, к сожалению, и мое время выступить против Эде.
— Почему «к сожалению»? — изумилась она.
Каутский ответил не сразу.
— Я расскажу вам.— Он в волнении зашагал по кабинету.— С Эдуардом Бернштейном меня связывает давняя дружба. Начать надо издалека. Я вам уже говорил: мой путь из Вены лежал в Швейцарию. В Цюрихе в 1879 году некто Карл Гехберг, член нашей партии, политический эмигрант, становится главой первой нелегальной газеты «Социал-демократ». В качестве главного секретаря находился при Гехберге молодой банковский служащий Эдуард Бернштейн. Да, наш Эде. Вскоре он стал редактором «Социал-демократа». И именно тогда я появился в Цюрихе. Представьте себе: в редакции нелегальной газеты встречаются два молодых человека, делающие первые шаги в журналистике. Я только что закончил университет, горячо сочувствовал социализму, изучал, страстно и с увлечением, Маркса, уже кое-что напечатал в партийной прессе под смешным псевдонимом Суммахус, и вот я — в редакции «Социал-демократа».
В дверь заглянул Феликс:
— Мама!
— Извините! — сказала Луиза и вышла.
— В Цюрихе началась наша дружба с Эде,— продолжал Каутский. Он был взволнован воспоминаниями: порозовели щеки, блестели глаза под стеклами очков; голос часто прерывался.— И дружбу нашу скрепили два великих человека. И это, Роза,— определяющее событие в моей жизни. В 1881 году я оказался в Лондоне, куда

за год до меня приезжал Бернштейн. Наши поездки в Англию были связаны с редакционными делами. Но главное в другом! В английской столице жили Маркс и Энгельс. И мы лично познакомились с ними! А после смерти Маркса знакомство с Энгельсом перешло в дружбу, особенно у Эде. Какие прекрасные годы! Молодость, ощущение своей силы... Несходство темпераментов, различие пройденных путей лишь помогали нам дополнять друг друга.

Роза молчала, она тоже была взволнована и не знала, что сказать.

— Да, все это началось в Лондоне, оба мы пока бывали там наездами. В 1883 году я основал «Нойе цайт», который сейчас так популярен. Тогда, на первых порах, все было гораздо сложнее: свирепствовал «Исключительный закон», не хватало средств. Но мы делали свое дело: «Нойе цайт» главным образом занимался теоретической пропагандой, «Социал-демократ», возглавляемый Бернштейном, был политическим органом партии. Не стало Маркса. В 1885 году я переехал в Лондон и прожил там с некоторыми перерывами до девяностого года, до отмены «Исключительного закона». Тогда же в Лондон переселился Эде. Конечно, проблемы журнала привели меня в Англию. Но была и другая цель — мы с Бернштейном хотели быть ближе к Энгельсу. То были годы моего сближения с Фридрихом и одновременно пора сильнейшего умственного наслаждения и роста. Вы только подумайте, Роза: постоянное общение с такой гигантской умственной силой, как Энгельс, под рукой — сокровища Британского музея. И эта счастливейшая пора жизни окрашена нашей, тогда казалось, нерушимой дружбой с Бернштейном.

— Я завидую вам, Карл! — не удержалась Роза.

— И вот теперь...— Каутский в отчаянии махнул рукой, и Роза увидела страдание на его лице.— После по-

следних его выступлений... Бернштейнианство... Все, Роза, дружбе конец. Полный разрыв! Это даже лучше, что Эде все еще в Лондоне...— Карл, Розе показалось, виновато посмотрел на нее.— Теперь-то вам ясно? Я не мог не напечатать его «Проблемы социализма»...

— Но...— ей передалось состояние Карла.— Я не понимаю... Политические взгляды — одно, а дружба — это дружба! Разве не так?

Карл Каутский некоторое время молчал, губы его были жестко сжаты, потом он сказал, и в его голосе была непримиримость:

— Не так, Роза. Личная дружба с политическим противником возможна. Но если приходится сталкиваться с ним на одном и том же поле политической деятельности, нет... Какая уж тут дружба! Вот.— Он подошел к письменному столу, выдвинул ящик, вынул из него рукопись.— После этого возврата к старым отношениям нет.

— Ответ Бернштейну? — тихо спросила Роза.

— Да. Хотите прочитать?

— Конечно!

Дальше они говорили о чем-то еще, потом мальчики затащили Розу в детскую и там устроили шумную игру, настоящую свалку; потом Луиза увела Розу к себе в комнату, они мило болтали о воспитании детей, о последних модах, в которых Роза знала толк. Однако она все думала о рукописи Карла, ей не терпелось скорее прочитать ее.

Провожали Розу всем домом, опять появилась Гранни и чмокнула Розу на прощание в щеку; все уже на крыльце, в весенней мокрой прохладе, толковали о квартире, о том, что ей надо переехать во Фриденау, поближе к ним, Луиза говорила, что похлопочет па этот счет, Роза благодарила, сжимала под мышкой рукопись и все торопилась — скорее, скорее!

Наконец ее отпустили, мигом она примчалась в свою маленькую комнату... И ночь незаметно пролетела над рукописью Карла Каутского.

...Нелицеприятной критике подвергалась ревизионистская трактовка развития капитализма, попытки превратить революционную социал-демократию в партию социальных реформ. Однако об Эдуарде Бернштейне говорилось с уважением, даже несколько примирительно. Но теперь-то она понимала эту позицию Каутского и прощала ее. Лишь одна мысль резанула Розу: вопрос о пролетарской диктатуре автор отодвигал в неопределенное будущее, когда этот вопрос будет поставлен на повестку дня конкретной исторической практикой. Но в целом это была достойная отповедь политическому противнику, написанная с блеском и сарказмом. Роза ликовала, слушая утреннее пение птиц за окном: теперь, эгоистически думала она, в борьбе с Бернштейном у меня достойный, всеми уважаемый союзник.

...Книга Карла Каутского «Бернштейн и социал-демократическая программа. Антикритика» вышла в сентябре 1899 года, накануне съезда партии в Ганновере.

С того апрельского дня началась дружба Розы Люксембург с семьей Каутских. Особенно она сблизилась с Луизой, но и с Карлом сложились у нее самые сердечные отношения, скоро они уже были на «ты»; Роза переехала во Фриденау, сняв квартиру неподалеку от дома Каутских, на Кронахштрассе. Теперь она бывала у них почти каждый день. Дружба, совместная работа. Единомышленники.

Единомышленники... Оба они, Карл Каутский и Роза Люксембург, вряд ли предчувствовали в ту, казалось, безмятежную, радостную весну 1899 года, каким испытаниям подвергнется их дружба в будущем...

9

Париж, 22 октября 1900 года.
Завтра в столице Франции начнет работу очередной конгресс Второго Интернационала.

Завтра...

Роза медленно поднималась по широкой лестнице особняка, спрятавшегося в старом саду, под осенним ветром печально облетающем. На втором этаже, в небольшом зале со старинными гобеленами, изображающими рыцарские поединки, собралась польская делегация. Там идет утверждение мандатов.

Роза Люксембург немного опаздывала. Сознательно. Пусть начнут без нее... Она уже знала о том, что затеяли непэсовцы. Роза усмехнулась: Цезарина Войнаровская зовет их «папуасами». Цезарина... Друзья, единомышленники. Войнаровская, Феликс Дзержинский, Станислав Трусевич-Залевский. Сделано главное: восстановлена партия, их СДКП. Правда, в ее названии появилось маленькое добавление, теперь партия именуется СДКПиЛ — Социал-демократия Королевства Польского и Литвы. Организационный съезд собрался в августе этого года, совсем недавно, в Отвоцке. Свершилось: партия живет и борется. И хотя Роза Люксембург не вошла в состав Главного правления, она принимает самое активное участие в ее деятельности: пишет для газеты СДКПиЛ «Червоны штандар» статьи и обзоры, состоит в переписке со многими членами Правления, встречается с теми из них, кто приезжает сюда, в «Европу». Вот и сейчас в Париже Адольф Варский, Цезарина, младший брат Адольфа пылкий Мауриций, который взял себе псевдоним «Жарский». Она их увидит.

Сейчас... Роза уже стояла перед дубовой темной дверью, за которой возбужденно рокотали голоса.

На Парижском конгрессе Второго Интернационала бу-

дет представлена единая польская делегация. Но в состав ее входят «несоединимые» люди: представители СДКПиЛ, ППС из Русской Польши и ППС прусского захвата. Еще во время агитационной поездки в Верхнюю Силезию Роза была избрана рабочими делегатом на пятый съезд ППС прусского захвата, который состоялся недавно, в апреле, и, таким образом, стала членом этой партии. От нее Роза и получила мандаты на конгресс Интернационала.

И вот... Все повторяется: вчера пепеэсовцы распространили слухи среди делегатов конгресса, что лидеры СДКПиЛ и Роза Люксембург среди них — фальсификаторы мандатов, шпики, авантюристы. Понятно... Господа националисты желают единолично представлять на конгрессе польскую социал-демократию. Сейчас, за этой дверью, делается все, чтобы ошельмовать Розу и ее единомышленников. «Все возвращается на круги своя».

...Ее появление на миг вызвало напряженную тишину. Все смотрели на Розу... За столом стоял Леон Василевский, один из ярых теоретиков пепеэсовцев,— она, открыв дверь, прервала его выступление. «Понятно»... Роза увидела своих — Варского, Мауриция, Войнаровскую и других,— все они тесно сидели у окна, за которым нахмурилось и, кажется, собирался дождь; Роза улыбнулась друзьям, медленно прошла к ним, села на свободный стул.

— А вот и пани Роза,— несколько неуклюже кто-то нарушил тишину.

— Мы как раз обсуждаем ваши мандаты,— взвинченно сказал Василевский, высокий, худой, похожий в своем черном безукоризненном костюме на председателя суда.

— Значит, я пришла в самое время,— спокойно сказала Роза.

— Да, да, мы видим! — воспаленно заговорил Леон Василевский, стараясь не смотреть в ее сторону,— у госпожи Люксембург два мандата, и оба от ППС прусского

захвата. Первый от рабочих Силезии, от округа Бытом-Тарновице. Но, позвольте! Кем он подписан? Немцами!

— Разве? — язвительно спросила Роза.

— Есть несколько польских фамилий,— слегка смешался Василевский,— но в прусских землях они вполне могут принадлежать немцам! И прошу удостовериться,— он обвел переполненный маленький зал торжествующим взглядом,— на этом мандате нет ни одной подписи известных товарищей.

— Это дико! — вскочил со стула нетерпеливый Маурицпй Варский.— Дико подвергать сомнению мандаты Розы! Всем известно: она теоретический мозг нашей партии! Если как социал-демократ я верю в социализм, то единственно и только благодаря Розе Люксембург!

— Браво, юноша! — снисходительно сказал Леон Василевский.— Но политическая борьба, замешенная на эмоциях, не есть политическая борьба.— Была выдержапа внушительная пауза.— Рассмотрим второй мандат пани Люксембург. Он якобы от трехсот шестидесяти рабочих Познани. Но кем он подписан? Матушевским, который давно с ППС не контактирует.— В комнате послышалось шиканье.— А печать на сем мандате стоит агитационпой комиссии Познанского округа, которым, как известно, заправляют одни немцы!

Теперь кричали и шикали со всех сторон.

— Кроме того,— повысил голос Василевский,— я хочу спросить у Розы Люксембург... Что же получается? Она, как тут заявляют, «теоретический мозг» так называемой СДКПиЛ, а мандаты на конгресс получает от ППС прусского захвата. Я что-то не возьму в толк, как тут свести концы с концами?

— В толк вам это взять действительпо невозможно,— спокойно сказала Роза.— Но одно вам наверняка известно: я недавно была принята в ППС прусского захвата. Понимаю, что вам это не нравится. Простите, вот с этим

ничего поделать не могу. Что же касается моих взглядов, в частности на польский вопрос, то да, они совпадают со взглядами Социал-демократии Королевства Польского и Литвы, и поэтому на конгрессе я среди членов этой партии, истинно социалистической, к слову пришлось.

Поднялся шум, и, перекрывая его, выкрикнул Станислав Трусевич-Залевский:

— У Розы есть мандаты и от нашей партии! От организаций Литвы и Варшавы!

— Где же они? — с ехидцей спросил Василевский.

— От литовского я отказалась,— сказала Роза,— считая, что вполне достаточно двух...

— А из Варшавы,— перебил Адольф Варский,— ...из Варшавы мандат просто не успел прибыть в Париж: под ним собираются подписи не только рабочих, но и политзаключенных Варшавской цитадели!

На мгновение в комнате стало тихо.

Но тут же кто-то из пепеэсовцев выкрикнул:

— Всэ это — красивые слова! А нужны мандаты!

— Да я...— Игнаций Дашиньский, сидевший в дальнем углу, вскочил с места. Лицо его было искажено ненавистью.— Да я категорически отказываюсь быть на конгрессе в одной делегации с этой дамой! Надо разоблачать банду, отравляющую чернилами наше движение!

Словно жаркое пламя коснулось ее лица... Спокойно, спокойно... Только бы не сорваться па крик.

— Мне ничего не стоит...— Голос ее прервался.— Мне ничего не стоит,— продолжала она уже тихо,— на подобном хамском уровне ответить Дашиньскому. Но...— Роза провела рукой по глазам.— Дело — превыше всего.— «А! — подумала она.— Нет смысла тратить себя на подобных пигмеев».— Большинство из вас,— спокойно говорила она,— привели на конгресс ваши национальные чувства. Поверьте, они мне понятны. Я тоже полька, мне дорога Польша и ее будущее. Но конгресс Интернацио-

нала собирается здесь, в Париже, не...— она горько усмехнулась,— для решения польского вопроса. В его повестке — отношение к участию социал-демократов в буржуазных правительствах, колониальная политика, отношение к войне и всеобщей забастовке. Мне есть что сказать по этим вопросам.

Поднялся крик, шум, кто-то пронзительно свистнул.

Она поняла, почувствовала: большинство против нее. И Роза не сумела преодолеть себя — вскочила, быстро, прихрамывая, пошла к двери.

— Роза! — догнал ее голос Варского.— Подожди!

— Вы оставайтесь,— сказала она резко, не оборачиваясь.— Встретимся в гостинице.

...Большинством голосов Роза Люксембург была исключена из состава польской делегации. Была принята шельмующая ее резолюция. Это после ретивых фраз депутата Василевского о том, что «все честные люди раз и навсегда должны выкопать пропасть между ними и Розой, ибо позорные отношения с Розой навсегда будут пятнать людей, поддерживающих эти отношения, и не позволят им встать на честный путь».

...Роза шла по Елисейским полям. Париж был окутан туманом, в нескольких шагах ничего не было видно, она даже не заметила, как миновала Триумфальную арку; был еще день, но уже зажигались огни в витринах магазинов.

Летела мелкая дождевая пыль, неосязаемая, однако она оседала на лице мелкой водяной пленкой, и это, как ни странно, было приятно.

Роза обнаружила себя на аллее Мак-Магон, заметила, что встречные прохожие смотрят на нее с удивлением. В чем дело? Она подошла к витрине парфюмерного магазина, в ее глубине было зеркало. Боже! Пальто расстегнуто, без шляпы («Или я ее забыла в гардеробе?»), все люди с зонтиками, а она...

Нет, надо успокоиться. Сесть на скамейку, что ли, и — успокоиться.

В маленьком скверике никого не было, на клумбе доцветали последние хризантемы. Роза опустилась па влажную скамейку.

К ногам Розы спланировал платановый желтый лист, за ним второй. Сорвался ветер, и листья над ней закружились целой стаей.

Что делать? Какие меры принять? Ведь нельзя все оставить так, признать себя побежденной. Как необходимы сейчас совет и помощь настоящих друзей! Или друга...

И уже часто испытываемое теперь чувство охватило ее: одиночество, тебя не понимают, со всех сторон враждебные лица, ты идешь сквозь людскую толпу как зачумленная, от тебя шарахаются...

Я не права? Знакомая огненная волна катилась на нее, сейчас, сейчас накроет с головой. Я права!

Так... Все встает на свои места. Немедленно прийти в гостиницу, сесть за стол, сосредоточиться. Да, пожалуй, надо начать с письма в Правление СДПГ. Еще не поздно. Могу же я быть на конгрессе от немецкой социал-демократии!

...В гостинице седовласый, вельможного вида портье, передавая Розе ключ от номера, сказал:

— В кафе напротив вас ждут.

Она мигом перебежала улицу, вошла в маленькое кафе, близоруко щурясь: зал был слабо освещен, только на буфетной стойке горели две яркие лампы.

От стола возле окна поднялась женщина в длинном сером платье, с белой манишкой на груди; высокий благородный лоб, темные волосы зачесаны назад, серые глаза и эта приветливая, родная улыбка.

— Клара!

— Розочка!..

Они обнялись, и Клара Цеткин, не выпуская ее из объятий, горячо зашептала в ухо:

— Можете ничего не рассказывать, Розочка. Все знаю. Знаю и другое: вы обязательно будете на конгрессе. Я уже переговорила с Бебелем и Мерингом, еще кое с кем. Вот что,— уже громко сказала она,— садитесь за мой столик. Пока вас ждала, успела подружиться с хозяином, закажу что-нибудь вкусное и основательное. Знаю вас: ведь с утра во рту ни маковой росинки?

— Не успела,— призналась Роза.

Клара Цеткин решительно пошла к буфетной стойке, а Роза присела к столику возле окна, за которым в тумане расплывались уличные огни, и полное, ликующее счастье до краев переполнило ее.

Друзья, верные друзья. Они есть, они не оставят ее в трудный час. И пожалуй, первая из них, немецких друзей,— Клара Цеткин. В последние годы их встречи, долгое общение стали постоянными. Приезжая в Берлин, Клара останавливалась у Розы; Роза часто гостила в семье Цеткин в Штутгарте, жила там днями и даже неделями, и это было счастливое время для обеих женщин. Уже давно не ощущалась разница в годах, и помимо общности политических взглядов их объединяло еще многое: увлечение современными научными проблемами, любовь к литературе, искусству, музыке, природе, страсть к путешествиям.

...Они ели салат из лангуста с зеленью, жареного цыпленка, голландский, пряно пахнущий сыр, запивали еду легким прозрачным вином, в котором улавливался горьковатый привкус миндаля, и, как всегда при встречах, не могли наговориться.

— Розочка,— Клара Цеткин понизила голос,— мне показалось вначале, как только увидела вас, будто вы скисли, а? Опустили крылья?

— Нет, Клара, нет! Может быть, на несколько мгновений.

— Уж вы не огорчайте меня,— Клара засмеялась.— Вы для меня тот самый идеал женщины, который я уже несколько лет выращиваю на страницах своего журнала.

— Что же это за женщина, Клара?

— Полно, моя милая! — Цеткин лукаво посмотрела на Розу.— Будто вы не знаете! Название журнала говорит само за себя: «Равенство»! Вы, Роза, идеал новой женщины, женщины будущего. Да! Да! Такими мы должны быть в социалистическом обществе: свободными, гордыми, раскрепощенными от условностей, равноправными с мужчинами, даже, когда надо, выше их.

— Клара,— Роза поспешила сменить тему разговора,— вы все говорите, а великолепный цыпленок остывает. Я положу вам вот этот кусок. И подолью немного вина.

— Ну и разгулялись мы! — Клара вдруг пристально посмотрела на Розу.— А знаете, когда я первый раз подумала о вас так: «Вот моя новая женщина»? На Цюрихском конгрессе Интернационала. Вас еще взгромоздили на стол, вы произнесли страстную речь в защиту своих мандатов. Помните?

— Еще бы! Только что, на нашем собрании, вспомнила. Тогда — мандаты, сейчас — мандаты...

— Не портите себе настроение. Все будет хорошо. Между прочим, тогда, в Цюрихе, я говорила о вас с Энгельсом, уже в конце работы конгресса, на каком-то ужине. Или обеде.

Роза даже замерла над своей тарелкой.

— Неужели?

— Представьте! Он не слышал вашего выступления, приехал позже. Ведь в Цюрихе он произнес свою последнюю публичную речь. Ах, какой человек! Мы с ним даже танцевали тогда вальс. Как сейчас помню: открытая

веранда, музыканты играют вальс Штрауса... Вы верите?

— Завидую. И что же, Клара, вы говорили Фридриху обо мне?

— Одну фразу помню точно. «Эта маленькая женщина еще заявит о себе»,— сказала я Фридриху. И еще говорила, что надо разобраться в польских делах, с поправкой на изменившуюся обстановку в Европе и в России. Он со мной соглашался, говорил, что сам займется польской проблемой, как только управится с третьим томом Марксова «Капитала». Кто мог подумать, что через два года...— Голос Клары прервался.

— Знаете, Клара,— сказала Роза,— я все больше начинаю осознавать одну нашу, по-моему, принципиальную ошибку. Противникам ревизионизма казалось... Да и сейчас кажется, что «новое течение» можно преодолеть внутри партии. Нет, Клара! Скорее всего нет... Надо отмежевываться, выбрасывать их из партии.

...Они говорили и говорили. Был уже глубокий вечер. За окном кафе начался осенний дождь, размазались огни по мокрому стеклу. В маленьком зале было уютно, тепло и совсем безлюдно. Только одни они и были посетителями. Хозяин, дремавший за буфетной стойкой, вряд ли знал, какие две великие женщины коротают у него вечер.

...Роза Люксембург участвовала в работе Парижского конгресса Второго Интернационала. По ее страстному докладу о мире была принята резолюция, осуждающая милитаризм, кредиты на вооружение и вовлечение молодежи в орбиту шовинистического влияния военщины.

10

В руке у нее был удобный дорожный саквояж, на ногах легкие сандалии. Роза Люксембург поднималась по горной тропе, и до вершины оставалось всего несколько шагов. Уже третий день путешествовала Роза по Кор-

сике. Она сбежала на этот остров от дел, друзей и врагов. От себя. Подумать, разобраться... А! Лучше бы ни о чем не думать. Растворить себя в этом героическом ландшафте со строгими очертаниями гор и долин, с тишиной, безлюдьем, синевой неба и моря...

Она так и решила, садясь на маленький пароход, отправляющийся на Корсику: никакой программы, пройду весь остров пешком, спать буду каждую ночь в другом месте, встречать восход солнца уже в пути.

Роза села на каменную глыбу. Ничего вокруг нее не было, кроме этих голых каменных глыб благородного седого цвета. Она посмотрела назад, вниз. Там остались развесистые оливки, лавровые деревья и древние каштаны. Легкий ветер, пахнущий морем, овевал ее лицо.

«Корсика — удивительный край,— подумала она, стараясь отвлечь себя от мыслей, которые не давали покоя.— Здесь забываешь Европу, по крайней мере современную Европу».

Как же, забываешь!..

Нет, она не может избавиться от этих мыслей. Несколько недель назад не состоялось то, к чему она так страстно стремилась, что конечно же было бы великой пользой для польского рабочего класса, для европейской социал-демократии: на Втором съезде русских социалистов не произошло объединение этой молодой партии с «Социал-демократией Королевства Польского и Литвы».

Память мгновенно отобрала из грандиозных событий последних лет те, которые сейчас заставляли, вопреки воле и желанию, думать о них.

Нет, она оказалась права: именно Россия постепенно становится центром революционной борьбы пролетариата. Что бы сейчас, интересно, сказали деятели ППС? Знаменательная дата: март 1898 года — Первый съезд РСДРП — Российской социал-демократической рабочей партии.

Через два года в Отвоцке возродилась их партия — СДКПиЛ.

Еще через два года — в августе 1902-го — в Берлине состоялась партийная конференция, которая объединила заграничные силы польской социал-демократии с возрожденной партией, действующей в Королевстве Польском.

Собственно, идея этой конференции возникла в ее квартире и была связана с человеком, который в ту, первую, встречу буквально поразил Розу.

Феликс Дзержинский... Она слышала о нем от товарищей, которые тайно приезжали из Польши. Именно он был душой и горячим сердцем подготовки съезда в Отвоцке. Первоначально объединительный съезд — как было известно Розе и ее друзьям-эмигрантам — предполагалось провести в феврале 1900 года. Но в январе Дзержинский был арестован. Однако арест лишь отсрочил съезд до августа — настолько все четко, точно, расчетливо было подготовлено Феликсом Дзержинским. Кстати, именно им был написан и издан проект программы, который Роза через некоторое время получила и одобрила: продуманный, ясный документ, за основу бралась старая программа СДКП, однако дополнялась она пунктами, рожденными новым этапом борьбы польского пролетариата, в самой гуще которой находился автор проекта.

И вот он появился в ее квартире во Фриденау — бежал с этапа, с которым шел в Вилюйск на каторгу, с напарником Сладкопевцевым, террористом, семнадцать дней пробирался от Верхоленска до Варшавы, и теперь он в Берлине — с идеей объединения СДКПиЛ и эмигрантских сил польской социал-демократии во главе с Розой Люксембург.

...В ее квартире Дзержинского ждали Лео Иогихес, Юлиан Мархлевский, Адольф Варский.

...Сейчас, подставив лицо ласковому ветру с моря, оглушенная тишиной Корсики, Роза вспомнила, ярко уви-

дела его перед собой: порывистость, бледное энергичное лицо, запавшие щеки, лихорадочный блеск глаз. От него исходила волна осязаемой, действенной силы, ее почувствовали все присутствующие. Дзержинский был моложе Розы на шесть лет, но разности в возрасте не ощущалось: за Феликсом стоял тяжкий опыт борьбы, конспирации, ссылок, этапов, побегов. Он привез для них самые последние новости, передал привет от Марцина Каспшака и на нетерпеливый вопрос Розы: «Как он? Как его здоровье?» — ответил: «Здоровье революционера — в его борьбе: идет дело — здоров! Не идет...» — Феликс закашлялся. «Мы тебя пошлем полечиться в Швейцарию»,— подумала тогда Роза (и потом, после конференции, настояла на этом).

— Что мы ждем от вас, эмигрантов,— Дзержинский сдержанно улыбнулся.— И даже требуем! Приехал в Варшаву через два года разлуки...— Он опять улыбнулся, и Роза увидела нежность на его тонком лице.— Знакомая картина: литературы мало, почти нет, поступает главным образом из России. Словом, нам нужна боевая газета польских социал-демократов — в противовес пепеэсовским писаниям, газета в духе ленинской «Искры». А название уже есть — «Червоны штандар»! — Глаза Дзержинского блестели.— Здесь, товарищи, без вас не обойтись!

— С газетой поможем,— сказал Лео Иогихес.

— Будет газета,— улыбнулся Мархлевский.

— И уже сейчас, Феликс,— сказала Роза,— надо работать над труднейшей задачей: наша партия должна объединиться с русскими социал-демократами. Вы правы: газета необходима — еще и еще раз будем разъяснять польским рабочим, что у них общий с русским пролетариатом враг — самодержавие.

— Эту идею,— взволнованно сказал Дзержинский,— горячо поддерживает Владимир Ильич.

— Но я предвижу,— сказала тогда она,— одну, но очень важную преграду к объединению: трактовку национального вопроса в программе русских социал-демократов.

И тут же Роза увидела, как сжались губы Феликса Дзержинского, лицо стало непримиримым.

— Роза...— И всем в комнате передалось его волнение.— Я считаю себя вашим учеником, я читаю все, что выходит из-под вашего пера. Блестящего пера! Но в трактовке польского национального вопроса... Вернее, шире,— перебил себя Дзержинский.— В трактовке национального вопроса вообще я полностью разделяю точку зрения русских социал-демократов. Поверьте, в тюрьмах, на этапах, в ссылке я встречался с революционерами не только польской национальности: украинцы, кавказцы, латыши, народности, населяющие берега средней Волги. Национальные чувства, стремление к свободе именно своего народа — это революционные чувства, право наций на самоопределение — революционный лозунг. Другое дело, когда его в своих интересах использует буржуазия. Здесь нужна гибкая тактика, понимание всех обстоятельств. Но игнорировать эти национальные чувства невозможно! Поймите: русская социал-демократия, с которой мы хотим объединиться, борется за интересы всех народов, которые стонут под гнетом самодержавия!

При этих словах Дзержинского Роза поймала на себе взгляд Юлиана Мархлевского, новый, незнакомый взгляд...

— И ваши экономические взгляды, Роза,— продолжал Феликс,— на современном этапе...

— Молодой человек,— перебил Лео Иогихес,— вы, похоже, склонны рубить сплеча.

— ...на современном этапе,— упрямо, но не повышая голоса продолжал Дзержинский,— вряд ли верны. Впрочем, по-моему, они были ошибочны с самого начала. Еще

с вашей диссертации «Промышленное развитие Польши»...

И разгорелся жестокий спор.

Впрочем, они расстались друзьями и единомышленниками в главном, вместе готовили конференцию, на которую, правда, Роза не попала из-за болезни. Но конференция в августе 1902 года состоялась, для совместных действий партии в Польше и эмигрантских сил был создан Заграничный комитет социал-демократии Королевства Польского и Литвы, подчиненный Главному правлению партии, его секретарем был избран Дзержинский, получивший тогда подпольный псевдоним Юзеф; стала выходить газета «Червоны штандар», и Роза Люксембург в ней активно сотрудничала.

...«И все-таки так оно и случилось,— подумала сейчас Роза.— Объединение с русскими социал-демократами не состоялось. А может быть, в этом виновата я?» — Она тут же отогнала эту мысль.

Здесь, на Корсике, нервы успокаиваются: кругом первобытная тишина, ни человеческого голоса, ни птичьего крика, только ручей журчит где-то между камнями, и в вышине между скалами шумит ветер, тот же самый, подумала она, который надувал паруса Одиссея.

...Внезапно из-за поворота горной тропы появился караван. Роза еще в первый день на Корсике заметила, что корсиканцы всегда ходят друг за другом растянутым караваном, а не гурьбой, как польские крестьяне. Впереди бежала собака, за ней медленно выступал ослик, нагруженный мешками с каштанами, за ним размеренно шагал большой мул, на котором сидела женщина в профиль к животному, держа ребенка на руках. Она сидела выпрямившись, неподвижно; рядом шагал бородатый мужчина спокойным твердым шагом; оба молчали.

У Розы сладко замерло сердце: поклясться можно, что это святое семейство! И она подумала, что на этом острове Библия еще жива и древний мир тоже. Знакомое чув-

ство овладело ею: захотелось опуститься на колени — как всегда перед совершенной красотой...

...Роза не сразу вернулась к мыслям, прерванным появлением на горной тропе каравана. И мгновенно мир и покой, которые было поселились в ее душе, рассыпались в прах.

После Второго съезда русской социал-демократии в ее берлинской квартире встретилось несколько человек, которые, казалось, совсем недавно были единомышленники: Адольф Варский, Юлиан Мархлевский, Владислав Ольшевский, Цезарина Войнаровская. С двумя последними Роза познакомилась совсем недавно, после съезда в Отвоцке. И не было с ней Лео Иогихеса — как всегда, неотложные дела погнали его в Польшу.

И кто первым начал тот тяжкий разговор? Юлиан Мархлевский! Еще ни разу у них не было разногласий по принципиальным вопросам.

— Я все больше убеждаюсь,— заговорил Юлиан,— что в национальном вопросе ты, Роза, не права! — Он прямо взглянул на нее из глубокого кресла, в котором сидел, и холодок отчуждения прочитала она в этом взгляде.— Мы не можем, пойми, не считаться с национальными чувствами польских рабочих! Это первое. А второе — если мы сливаемся с русской партией, мы не имеем права подходить к национальной политике только со своих позиций.

— Совершенно верно,— сказала Войнаровская.— Ведь, в конце концов, РСДРП не отрицает нашего требования на автономию польских земель. А пункт в программе их партии о праве наций на самоопределение распространяется на все народы Российской империи.

— Роза,— заговорил Ольшевский,— партия русских социал-демократов поддерживает нас в борьбе с ППС, в борьбе за союз с русским пролетариатом, мы по-прежнему стремимся к объединению...

— Безусловно! — нетерпеливо перебила Роза.

— Ведь согласитесь,— повысил голос Ольшевский,— спор идет по частным формулировкам, которые, в конце концов, не так важны, чтобы стать препятствием к объединению.

— Да и теория «органического врастания» Польши и других народов,— сказала Войнаровская,— в экономическое тело России тоже, на мой взгляд, в новых условиях подлежит пересмотру.

— Пока в программе РСДРП,— непримиримо сказала Роза,— есть параграф о праве наций на самоопределение, мы, истинные польские социал-демократы, не можем войти в эту партию! Что же касается «органического врастания»... Может быть, вы правы, Цезарина. Я давно не вникала в экономические проблемы России и Польши именно с этой точки зрения.— Она усмехнулась.— Все, как говорится, течет... Выпадет свободное время, займусь анализом последних данных.

...Да, в том споре она осталась одна. Даже Адольф Варский больше угрюмо молчал.

Роза по горной тропе спускалась в долину, к маленькому селению. Навстречу ей тянуло дымком, терпким запахом каких-то цветов; лаяла собака. Хорошо на Корсике в октябре...

«Совесть моя чиста,— подумала Роза.— Я училась у Маркса и Энгельса, я продолжаю и отстаиваю их учение и дело. Как могу. Ничего, правда истории на моей стороне. Грядут грозные события. И все начнется в России, я это знаю, чувствую. Я навсегда запомнила слова Энгельса, а сказал он их еще в 1883 году: «Россия, это — Франция нынешнего века. Ей законно и правомерно принадлежит революционная инициатива *нового* социального переустройства». Пророческие слова. Заканчивается 1903 год. Скорее! История, скорее!...»

...Наступил 1905 год.

Вечером 22 января Роза в своей уютной, обжитой комнате во Фриденау сидела над статьей для польского «Червоного штандара». Без стука ворвалась Луиза Каутская, закричала с порога:

— Только что принесли вечерние газеты... В Петербурге расстрел мирной демонстрации рабочих!.. Они вместе с семьями во главе со священником Гапоном шли к «своему царю» искать управу на злодеев-хозяев...— По щекам Луизы ползли слезы.— На площади перед дворцом трупы детей, стариков и женщин.

— Революция! — прошептала Роза. Сердце захлестнула горячая волна: «Вот оно! Начинается!»

Сообщения из России перегоняли друг друга: забастовки в Петербурге и в Москве, баррикады в Харькове, крестьянские волнения, горят помещичьи усадьбы... И вот вести из Польши: 27 января началась всеобщая стачка в Варшаве, следом — школьная забастовка с требованием демократической реформы польского образования; распространение стачки по всей стране: бастуют шахтеры, рабочие транспорта и торговли; студенческие волнения... Столкновение с казаками в Лодзи.

Революция!

Теперь стремление Розы Люксембург одно: в восставшую Варшаву, на баррикады, где за дело освобождения всего человечества льется польская кровь.

11

Русская революция стала центральным событием в жизни европейской социал-демократии: о ней спорили, изучали ее опыт, появились сторонники и противники как большевиков, так и меньшевиков — на первый план выдвигались вопросы тактики в грядущих революционных боях, и главный среди них: отношение к массовой стачке.

Этот вопрос стал главным на съезде СДПГ в Иене, который состоялся в сентябре 1905 года.

...С трибуны сходил Август Бебель, усталый, ссутулившийся, но непреклонность ощущалась во всем его облике, глубоко запавшие глаза были молоды, полны жизни и энергии.

Только что в своем докладе, полемизируя с несколькими членами Правления партии, выступившими до него, он призывал съезд принять резолюцию, которая признавала бы массовую стачку одним из самых действенных средств борьбы пролетариата. Этому учит нас русский опыт, сказал он, события в Петербурге, Москве, Польше.

Бебель, старчески горбясь, шел к ложе, где сидели его друзья и единомышленники — Роза Люксембург, Клара Цеткин, Карл Либкнехт, Штадтгаген.

— Роза,— нагнулась к ней Клара Цеткин,— сейчас ты. Надо немедленно поддержать, пока — эмоционально — подавляющее большинство зала под впечатлением слов Августа.

— Да!..— живо сказала она.

— А потом — я! — Карл Либкнехт сгорал от нетерпения.

Зал глухо рокотал.

— Объявляется небольшой перерыв! — сказал председательствующий.

Роза усмехнулась:

— Наши функционеры тоже не лыком шиты, психологию зала изучили до тонкости.

— Ничего,— хмуро откликнулся Штадтгаген,— дадим бой после перерыва.

...В широком коридоре возле окна стояли Роза Люксембург и Карл Либкнехт. День был пасмурный, но теплый, створки окна распахнуты, пустынная улица в начинающих желтеть деревьях спускалась к реке Заале, которая тускло поблескивала вдали.

— Волнуешься, Роза? — спросил Либкнехт.

— Я, Карл, всегда волнуюсь перед выступлениями. Но это особое волнение...

— Боевое? — перебил Карл.

— Вот именно!

— Оно мне знакомо.— Он уже смеялся, глаза под стеклами очков в тонкой оправе излучали радостный свет.

Роза уже давно отметила особый свет в глазах Карла Либкнехта: он как бы освещал изнутри это молодое страстное лицо. И сейчас она любовалась им: высокий лоб, волевая складка губ под коротко постриженными усами, маленькая ложбинка, пересекающая подбородок,— тоже признак воли; порывистость, нетерпение во всем облике. И, казалось бы, несочетаемое: непримиримость со всем, с чем не согласен, и рядом — незащищенность от мерзостей и зла жизни.

«Чем-то Карл очень похож на Лео»,— подумала она сейчас...

...Они уже были знакомы несколько лет, пожалуй, с 1899 года, когда Карл Либкнехт вернулся в Берлин из Вестфалии, где он почти четыре года работал адвокатом после окончания Берлинского университета. Именно в эту пору началась активная политическая деятельность Либкнехта-младшего; Роза читала его статьи, знала об адвокатской работе Карла, когда он неизменно и с блеском защищал интересы рабочих и простых людей; они встречались на съездах и конференциях, всегда отстаивая одни и те же позиции — левое крыло партии, единомышленники, узкий круг борцов, в которых со всех сторон летят жалящие стрелы идейных противников. Но тогда еще не было дружбы, духовного сближения. Случалось, они говорили, но очень коротко, на ходу, только о делах.

Пожалуй, первый контакт сердец возник в траурный, трагический день 7 августа 1900 года.

...Роза на мгновение сжала веки и сейчас же увидела грандиозную, молчаливую, траурную демонстрацию — в тот день пять часов продолжалось это шествие по улицам Берлина к кладбищу Фридрихсфельде: немецкие пролетарии, представители рабочего движения из всех стран Европы провожали в последний путь отца Карла — Вильгельма Либкнехта, друга Маркса и Энгельса, создателя Социал-демократической партии Германии, Старика, «солдата революции», как он сам себя называл. Никогда германская столица не видела таких величественных и грозных похорон.

Роза с букетом красных тюльпанов, сдерживая рыдания, которые рвались из нее, быстро шла по тротуару, обгоняя медленные ряды,— она хотела быть рядом с гробом, среди близких и родных Вильгельма. Ведь, кажется, позавчера (неужели позавчера?) Роза была в редакции «Форвертса» (этот центральный орган СДПГ Вильгельм Либкнехт неизменно возглавлял с 1890 года, с переезда его семьи из Лейпцига в Берлин), принесла статью, и они говорили с Вильгельмом, даже поспорили... Старик был бодр, как всегда ироничен, полон сарказма и жажды деятельности. И вот...

...Впереди духовой оркестр заиграл траурный марш Шопена.

Роза увидела катафалк, запряженный четверкой черных лошадей, черный гроб.

За гробом шли люди, тоже в черном, и сквозь туманящие слезы она увидела бледное лицо Карла, кинулась к нему:

— Я с вами, Карл!..

Он протянул ей руку («Какая холодная рука...» — почему-то ужаснулась она).

— Спасибо, Роза.

— Я всегда с вами!

Наверно, в тот миг вспыхнула эта искра — искра ду-

ховного единения, которая зажгла огонь их высокой дружбы, и погасить его теперь могла только смерть...

— ...Право, Роза, не надо так волноваться! Я же вижу.

— Нет, нет, Карл! Я в порядке. Так... Вспомнила.

— Этот город,— глаза его смеялись,— должен настраивать на философский лад. Вспомните: Иена неотрывна от Фихте, Гегеля, Шеллинга...

— И еще Шиллер,— подхватила она.— И братья Шлегели.

Теперь они оба смеялись.

К ним спешил Ганс Лидеман, как всегда, пышущий здоровьем и энергией.

— Фрау Роза!..— Ганс перевел дух.— Ваше выступление четвертое. Товарищи из Правления рекомендуют вам... Настойчиво рекомендуют, фрау Роза: не надо накалять страсти, обострять противоречия. Тезис Бебеля о массовой стачке подлежит всестороннему изучению и анализу. Не следует торопить события...

— Ах, вот как! — нетерпеливо перебила Роза.— В России, знаете ли, есть поговорка: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так, что ли?

Ганс Лидеман озадаченно молчал.

Мелодично запел звонок — перерыв между заседаниями съезда закончился.

Пока они шли по коридору, Карл сказал ей тихо:

— Между прочим, наш бравый Ганс Лидеман купил участок земли во Фриденау. Кажется, неподалеку от Каутских. Собирается строить дом.

— Вот как! — воскликнула Роза. — Тогда понятно. Ему не до массовой стачки...

— Это уж точно,— засмеялся Карл Либкнехт.

И оба вошли в переполненный зал. Странно: она увидела, контрастно, ярко, лицо Каутского, напряженное, ей

даже показалось, враждебное. Он стоял в проходе и смотрел на нее.

— ...Слово предоставляется Розе Люксембург!

Она получила слово после нескольких выступлений лидеров оппортунистического крыла партии.

— Вперед, Роза! — услышала она за спиной страстный шепот Карла.

Роза поднялась на трибуну, взялась руками за ее отполированные прохладные дубовые края.

— Когда слушаешь речи во время дебатов по вопросу о политической массовой стачке, невольно приходится схватиться за голову... Я спрашиваю себя: действительно ли мы живем в год славной русской революции или за десять лет до нее? Вы...— Она посмотрела на президиум, на первые ряды в зале,— ...изо дня в день читаете в газетах отчеты о революции, читаете телеграммы, но у вас как будто нет глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать.— Гул недовольства прокатился по первым рядам.— Здесь требуют, чтобы мы сказали, как и какими способами будет проводиться всеобщая стачка, в какой час она будет объявлена, имеются ли наготове склады продуктов...— В зале разлилось напряженное молчание.— Задается и другой вопрос: неужели мы возьмем на свою совесть пролитие крови?..— Опять ей показалось, что в зале она отчетливо видит только одно лицо — лицо Карла Каутского. «Спокойно, спокойно! Только не сбиться с мысли».— А товарищ Шмидт спрашивает: «Почему мы ради всеобщей стачки должны сразу бросить нашу старую, испытанную тактику и одним махом совершить политическое самоубийство?» А я спрашиваю у товарища Шмидта: «Что революция — наше политическое самоубийство?» — Голос ее звенел.— Неужели он не видит, что наступило время, предсказанное Марксом и Энгельсом: эволюция превращается в революцию! — Шквал аплодисментов прокатился по залу. «Браво, Роза!» — услышала она Карла

Либкнехта.— Мы являемся свидетелями русской революции, и мы были бы ослами, если бы ничему у нее не научились. Однако что мы видим? Встает Гейне и спрашивает Бебеля: «Вы подумали о том, что в случае всеобщей стачки на сцену выступят не только наши силы, но и неорганизованные массы? Сможете ли вы держать эти массы в узде?» И это говорит социал-демократ? Извините... Бывшие до сих пор революции, в особенности революция 1848 года, показали, что при революционной ситуации приходится держать в узде не массы, а заседающих в парламенте адвокатов, дабы они не предали массы и революцию! — Шум, возгласы одобрения заставили Розу сделать паузу.— Гейне,— продолжала она, когда наступила тишина,— вызвал перед нами кровавый красный призрак и сказал, что кровь немецкого народа ему дороже, чем — таков, по крайней мере, был смысл его слов — «легкомысленному юноше» Бебелю. Я оставляю в стороне личный вопрос, кто более призван и более способен нести ответственность: Бебель или осторожный, как это приличествует «государственному деятелю», Гейне, но из истории мы видим, что все революции покупаются кровью народа. Вся разница состоит в том, что до сих пор кровь народа лилась ради интересов господствующих классов, а теперь, когда речь идет о том, чтобы пролить свою кровь ради интересов своего собственного класса,— в этот момент выступают осторожные так называемые социал-демократы и говорят: «Нет, эта кровь слишком дорога нам»...— Напряженная нервная тишина сковала зал.— Они же, явно напуганные грядущей революцией, говорят нам: «Сначала организуйте массы и просветите их!» На это мы отвечаем: «Поучитесь же у русской революции!» — Шквал аплодисментов затопил зал. Наконец стало тихо, и Роза продолжала: — Когда русские пролетарии были вовлечены в революцию, у них не было почти никаких следов профсоюзных организаций, а те-



перь путем борьбы они шаг за шагом укрепляют свои организации, они политически просвещаются на баррикадах! — Роза сделала паузу, ощущая, как полно, сильно бьется ее сердце.— Вопреки всем малодушным мы должны сказать себе: заключительные слова «Коммунистического манифеста» являются для нас не только красивой фразой, предназначенной для народных собраний. Пусть они станут нашей живой практикой! Пусть это великое пророчество скорее сбудется на немецкой земле: «Рабочим нечего терять, кроме своих цепей, но завоевать они могут весь мир!»

В зале бушевала овация.

И ничего не могли сделать функционеры из Правления партии: вслед за Розой выступили Клара Цеткин, Карл Либкнехт, Штадтгаген, полностью поддержавшие ее; съезд СДПГ в Иене по докладу Августа Бебеля принял резолюцию, признающую массовую стачку одним из самых действенных средств борьбы немецкого пролетариата.

...Выходя из зала, Роза опять увидела Карла Каутского: он стоял у окна, явно ожидая кого-то. «Меня»,— догадалась она. И действительно, Каутский сделал навстречу несколько шагов, но внезапно остановился, повернулся резко и быстро зашагал прочь. Растерянность, соединенная с ожесточением, ощущалась во всем его облике.

«Он не хочет говорить со мной...» — поняла Роза, и праздничное настроение — «Мы победили! Прошла наша резолюция» — стало улетучиваться.

Когда это все началось в их отношениях?

...С первого дня русской революции Роза рвалась в Варшаву, однако проходил месяц за месяцем, а отъезд ее в Польшу все откладывался и откладывался. Руководство Социал-демократии Королевства Польского и Литвы всячески удерживало Розу в Германии — ее бли-

жайшие товарищи понимали, какая угроза над ней нависнет мгновенно, как только она появится в Варшаве. Уговаривали ее не спешить с поездкой в Польшу и немецкие друзья, в том числе Каутские — Луиза и Карл.

— Ты принадлежишь не только полякам,— говорил ей Карл.— И нам нужно твое перо, а не...— Он обрывал себя, не закончив фразу.

— Ты договаривай! — требовала Роза.

— А не твоя гибель от казацкой пули,— договаривал Каутский, и непримиримость звучала в его голосе.

— Революция — мое дело! — упрямо говорила Роза.— И другого дела у меня нет. Я все равно туда уеду! Пойми, я не могу иначе... Польша — моя родина, там борются мои друзья. Кто жив, уже там. Варский, Феликс Дзержинский. И Лео...— Ее лицо темнело.— Мой Лео тоже в Варшаве. А я? Отсиживаться здесь, в твоем тихом кабинете? — Она видела, как от обиды бледнеет Каутский.— Прости! Прости меня! Но ты должен понять, Карл! Я пишу для них столько, что рука сохнет. А сведения получаю из вторых рук. Я не могу так. Мне надо видеть, участвовать! Вы меня не остановите, я все равно уеду!

— Революция — не женское дело! — возбужденно говорил Карл Каутский.

Они оба умолкали. Отчуждение все резче разделяло их.

Казалось, ничего не изменилось. Наоборот, события в Петербурге, Москве, в Польше одинаково волновали и радовали обоих: становилось практикой то, за что ратовал в своих работах Каутский, к чему страстно призывала Роза. Но постепенно, по мере расширения революции вести из России стали вызывать у них разную реакцию. Однажды вечером, когда они трое — Роза, Луиза и Карл — сидели в гостиной за чаем — широкое окно было открыто в благоухающий сад,— Каутский нервно отбросил в сторону газету (в ней была статья об июньском трехдневном восстании в Лодзи с подробными описаниями беспо-

щадной кровавой расправы над рабочими), сказал тихо, с дрожью в голосе:

— Какой ужас!.. Сколько жертв, крови, звериных инстинктов! Хаос. Неужели только такое обличье у нашей революции?

Роза подняла на Карла глаза и... промолчала. Она вдруг почувствовала, что если сейчас ответить, то произойдет не обычный политический спор (их много было за этим столом), а ссора, может быть, разрыв. Холодок разверзающейся пропасти дохнул на нее...

Обычно сам Карл звонил ей, приглашая зайти на ужин или обед, и такие звонки случались часто, можно сказать, постоянно.

После съезда в Иене Карл Каутский не звонил Розе несколько дней. Она не выдержала, позвонила сама. Тем более есть вроде бы повод: такая новость! Трубку взяла Луиза, сразу же пригласила Розу на ужин. В ее голосе Розе послышалось напряжение.

«А! Показалось»,— успокоила себя она и в назначенный час была у Каутских. Карл еще не пришел, задержался в редакции. Роза была празднично оживлена, шутила с мальчиками, беседовала на литературные темы с Граппи, расспрашивала Луизу о ее планах на зиму.

Наконец пришел Карл, осунувшийся, усталый; сели за стол. Раскладывая по тарелкам отбивные, которые Роза готовила вместе с Цензи, она сказала, блестя глазами:

— А у меня для вас есть потрясающая новость!

— Какая? — не сговариваясь, хором вскинулись от тарелок мальчики. «Как они выросли за эти годы! — подумала Роза.— Двое старших превратились в стройных юношей, и оба очень похожи на отца».— Какая новость, фрау Роза?

— Скажу после десерта.— Голос Розы изменился: тревога мгновенным горном прозвучала в пем.— Боюсь испортить Карлу аппетит.

Каутский весь ужин был молчалив, хмур, как, впрочем, почти всегда в последнее время. Ели молча. Наконец он нарушил это тяжелое молчание:

— Роза! Ты обещала сообщить нам какую-то новость!

— Да, я и забыла! — сказала Роза оживленно и просто.— Наконец-то я договорилась с моими упрямыми поляками: на днях еду в Варшаву!

— Неужели! — откликнулся Каутский с неуместным облегчением в голосе.

Так на самой высокой ноте оборвался их разговор, однако бросив семена разрыва в еще совсем недавно крепкий союз.

...Нет, Розе в сентябре не удалось уехать в Польшу, несмотря на все ее старания и просто бешеное стремление.

До конца 1905 года ее участие в польских событиях заключалось в писании статей, воззваний, прокламаций, которые отправлялись в Варшаву. Писала она очень много, на что уходила большая часть ее ночей, писала в крайнем возбуждении, так что, по ее словам, «перо само летало молнией». Потом они с Луизой Каутской подсчитали: за 1905 год, находясь в Германии, она написала более шестидесяти брошюр, статей, заметок, воззваний, посвященных польским проблемам.

Однако с прежней энергией Роза продолжала рваться в Польшу. Она сгорала от нетерпения, что-то яростное появилось в ее облике. Наконец, в самом конце года, она добилась своего: в четверг 28 декабря, вечером, Каутские всей семьей провожали Розу Люксембург в Варшаву.

Был холодный хмурый вечер с мокрым снегом и злым, порывистым ветром; редкие фонари горели на вокзале Фридрихштрассе. Уже несколько дней из Берлина не хо-

дили пассажирские поезда в революционную Варшаву, и Розу, впрочем, не Розу, а Анну Матшке (с паспортом на это имя отправлялась она в Польшу) удалось пристроить в воинский эшелон: попался галантный и болтливый капитан, который согласился доставить молодую женщину «к смертельно больной бабушке». «Хотя и не положено, господа, но военные тоже люди, и я рассею ваше мнение о нас как о тупоголовых чурбанах, если у вас таковое мнение имеется».

Воинскому эшелону все не давали отправления, за темными окнами вагонов слышались грубые мужские голоса, смех, песни, вспыхивали огоньки папирос.

Все толпились у вагона, в холодном купе которого Розе предстояло ехать, отворачивались от ветра.

Провожающие и Роза являли резкий контраст: понурый, молчаливый Каутский, еле сдерживающая слезы Луиза, старшие мальчики, Феликс и Карл, присмиревшие, будто чувствующие беду, и — Роза, оживленная, праздничная, с сияющими глазами; она будто не ощущала холода, щеки ее пылали, она ехала «на работу», как на бал, и была нетерпением, вихрем, страстным ожиданием... Помимо борьбы и революции, в которую она хотела броситься со всего размаха, Роза рвалась в Варшаву еще и к своему мужу, к Лео Иогихесу — он был там, в самом центре опасностей и событий.

Час назад в доме у Каутских состоялся прощальный ужин, напряженный какой-то, с нотками фальши (и это чувствовали все), с тостами и недомолвками. Каждый старался сделать Розе что-нибудь приятное: Гранни подарила ей синюю накидку, которая неугомонной путешественнице чрезвычайно нравилась; Каутский еще с утра прошелся по магазинам (случай чрезвычайный) и купил для Розы клетчатый плед («В дороге может быть холодно»), и сейчас, на вокзале, толстый пушистый плед она накинула на плечи; и сделано это было специально для

Карла. Уже в передней, когда все одевались, собираясь на вокзал, Луиза нацепила Розе на шею свои часы. У Розы были плохенькие часики, всегда нуждающиеся в починке, и она только что, за столом, жаловалась, что должна идти в революцию, не зная в точности, «который час». Луизины часы нравились ей еще и потому, что их девичьи инициалы совпадали (до замужества Луиза была Ронспергер, то есть L. R.), и эти две буквы были выгравированы на крышке часов. Подарку Роза обрадовалась, как ребенок, бросилась Луизе на шею, расцеловала...

...Сейчас, дожидаясь отправления поезда, она все вынимала часы, с нетерпением смотрела на них, эгоистически торопя время: скорее, скорее! Потом спохватывалась, виновато улыбалась провожающим, говорила что-то шутливое, короткое и опять превращалась в ожидание.

Наконец пропел колокол, дали отправление. Роза бросилась к Каутским, стала обнимать и целовать всех; началась суета; напряжение и боль явственно проступили на лице Каутского, он все смотрел, смотрел на Розу, будто хотел навсегда запомнить ее такой — молодой, праздничной, счастливой... А она тараторила:

— Я стану писать, а вы непременно отвечайте! Все будет хорошо, все будет замечательно! Мы победим.— Закричал паровоз, лязгнули буфера.— Я вас всех очень люблю, мои хорошие!

— Фрау Анна! — звал галантный капитан.— Вы останетесь!

Роза заспешила к вагону, капитан подхватил ее под руку, теперь она стояла в открытой двери, одной рукой держалась за поручень, другой махала Каутскому, Луизе, их сыновьям.

Вагон уплывал во тьму, они, отставая, шли следом и тоже махали ей руками. Приблизился фонарь, на мгновение черная тень фонарного столба скрыла Розу, и тут же она возникла в ярком свете, и вдруг показалось, что

слезы текут по ее щекам (наверно, только показалось...). О чем думала в те мгновения Роза Люксембург?

Все дальше, дальше от провожающих вагон с ее маленькой фигуркой в открытой двери.

Она уезжала из Германии — в революцию, в новую жизнь, в стихию бури.

Скорее, поезд, скорее!

Уже завтра она скажет: «Здравствуй, Польша!»

Скрылись огни вокзала, растаяли во тьме на перроне провожающие. Роза все еще стояла в двери вагона, но смотрела теперь вперед. Морозный ветер, пахнущий паровозной гарью, летел ей навстречу.

Завтра...

Часть четвертая

ВАРШАВА — ПЕТЕРБУРГ — ЛОНДОН

...Мы можем допустить лишь один вид свободы: свободу принадлежать или не принадлежать к нашей партии. Мы не принуждаем никого идти в наших рядах, но если кто-нибудь добровольно примыкает к нам, то мы должны заранее предположить, что он разделяет наши принципы.

Роза Люксембург

1

Вечером 16 декабря 1905 года (по русскому календарю) Лео Иогихес встречал в Варшаве Розу Люксембург.

В правлении СДКПиЛ была получена шифрованная телеграмма из Берлина: Роза приедет сегодня с любым первым поездом, который пересечет прусскую границу. Лео настоял на том, что будет встречать ее один. Не надо многолюдства, восклицаний, суеты: кругом полиция, нужно соблюдать предельную осторожность. Он промолчал о том, что не хотел бы, чтобы их встречу видели другие, пусть самые близкие друзья. И Варский, и Юлиан Мархлевский, и Дзержинский сразу поддержали его. Неохотно согласился именно так встречать Розу Якуб Ганецкий, самый молодой член Правления партии, у него недавно в Берлине, куда он приезжал тайно, началась дружба с Розой, сегодня он рвался к «своему кумиру», как он сказал, с букетом красных гвоздик... Еле уговорили его остаться в городе, ссылаясь на необходимость строжайшей конспирации.

Лео появился на вокзале рано утром. Однако поездов из Германии все не было и не было, и только к вечеру объявили, что поезд, следующий из Берлина в Варшаву, прошел пограничную станцию Млава и через два часа

должен прибыть. Стояли сильные морозы, выпал большой снег, улицы не чистили, и Варшава была завалена сугробами. Побродив по перрону, Лео Иогихес, в дорогой шубе на собольем меху, с моноклем в глазу, цедя сквозь зубы немецкие фразы, если у него что-нибудь спрашивали,— он изображал крупного германского журналиста и таковым представился начальнику вокзала, показав ему немецкий паспорт на имя Отто Энгельмана и отрекомендовавшись корреспондентом «Лейпцигер фольксцайтунг»,— отправился в буфет. В дверях ему почтительно поклонился швейцар в ливрее, ловко приняв шубу с плеч, сказал с заученной улыбкой:

— Прошу-с, господин!

В буфете было тепло, даже жарко; пахло вкусной едой. Народу было мало, только в дальнем углу, у стены, шумно трапезничали русские офицеры с красными, возбужденными лицами.

Лео, спросив водки, холодной осетрины и крепкого чая с лимоном, сел у окна, так, чтобы был виден перрон. За стеклами смеркалось, горели тусклые фонари, в их свете кружились снежинки и казались серыми. Мимо окон взад и вперед мотался, как маятник, патруль: два молодых солдата и офицер, уже пожилой, располневший, с одутловатым и обиженным лицом.

Лео ждал Розу, нетерпение его возрастало, нетерпение и беспокойство. Упряма. Все-таки настояла на своем: едет. Зачем подвергаться такой опасности? О, заранее известно, что она скажет на все аргументы: «С начала революции ты уже пятый раз приезжаешь в Варшаву, здесь все видные деятели партии, так почему же я...»

Лео отпил глоток остывшего чая. Наверно, у меня не повернется язык сказать самое главное: «Я боюсь за тебя. Да. Да! Боюсь!» Сейчас ему кажется, что он любит ее, как никогда раньше, у него сердце готово остановиться при одной только мысли, что здесь, в Варшаве, с ней

может что-нибудь случиться. И в то же время он жаждет встречи с ней, хотя они и виделись всего месяц назад. Виделись...

— Любезный! Еще стакан чаю.

— Один момент-с!

Что у них за жизнь была в последние годы? Уникальный механизм — человеческая память: в одно мгновение перелистываются многие страницы жизни. Какой кавардак в их отношениях! Нелепая размолвка в 1898 году, ее фиктивный брак с Густавом Любеком, переезд в Германию, примирение в письмах, потом короткие жаркие встречи, разлуки, размолвки, переписка — просто горы писем написали они друг другу, иногда находясь даже в одном городе, только в разных отелях; нет, это ее затея, ее инициатива: объясняться в письмах... Лео Иогихес испытал внезапный приступ раздражения. Впрочем, их переписка главным образом о делах: немцы, поляки, русские, партийные споры и дрязги, финансовые и издательские дела, выяснение позиций, характеристики социал-демократических вождей в партиях Европы... И опять — встречи, разлуки, размолвки. Роза! Когда же у нас будет нормальная личная жизнь? За все это время единственный раз неделю мы по-настоящему были вместе. Помнишь?.. В 1899 году — твоя идея — в июне наша поездка в Силезию, в лесной хутор, к какому-то дальнему родственнику Марцина Каспшака, Казимежу Ягоцкому.

Лео Иогихес откинулся на спинку стула. За окнами снег валил густо, крупными хлопьями. Неделя с Розой среди зеленой тишины и полного безделья. Память навсегда. Как они были счастливы! Забросив все дела, специально не взяв с собой никакой, самой срочной работы (Роза намеревалась, но тут Лео проявил твердость: «Ни одной страницы в книге, ни одной строчки. Ты заслужила отдых»). Они целые дни бродили по лесным просекам, по полянам, и трава доходила Розе до пояса; стояли

жаркие, безветренные дни, они купались в медленных ласковых речках, лежали среди луговых цветов, и солнце катило на их тела волны своего благодатного доброго жара.

Его плеча легонько, деликатно касается начальник вокзала:

— Поезд из Берлина подходит, господин журналист!

На перроне посвистывала метель, блестели снежинки в свете фонарей, мороз затруднял дыхание, но Лео Иогихесу было жарко, он быстро шел рядом с облепленными снегом вагонами, один из них, второй от паровоза, был первого класса, Лео почему-то был уверен, что Роза едет в нем.

Лязгнули тормоза, паровоз окутался паром, судорога прокатилась по вагонам, состав замер.

...Лео сразу увидел ее — она сходила с высоких ступенек вагона, зябко кутаясь в мохнатый плед, ее придерживал под локоть молодой капитан, закованный в свою форму, как в корсет; капитан очень похоже, галантный. Роза ступила на вытоптанный снег, капитан подал ей желтый дорожный саквояж:

— Прошу, фрау Анна!

Он бросился к ней.

— Лео...— Ее руки кольцом вокруг его шеи, как тогда, на краю горного ущелья; запах знакомых духов.— Лео!

Они стояли обнявшись, не в силах ничего говорить, а вокруг кипела вокзальная жизнь, вели мимо лошадей, и густо запахло конюшней.

— Вас встретили, фрау Анна? — заговорил рядом капитан.— Надо полагать, убитый горем племянник вашей смертельно больной бабушки, и сейчас вы направитесь к постели бедной, умирающей старушки.

Лео посмотрел на капитана — тот заговорщически подмигнул. Капитан, судя по всему, был неплохим малым.

Скоро они уже садились в извозчичьи сани — только

этому транспорту были тогда доступны улицы столицы Королевства Польского.

— Ясная, дом номер один,— сказал Лео извозчику.— Пансион графини Валевской.

Роза замерзла в вагоне, он не отапливался, ее бил мелкий озноб. Лео укутал Розу своей шубой, она прижалась к нему и замерла. Некоторое время ехали молча по плохо освещенным, совершенно обезлюдевшим улицам. Только казачьи патрули встречались постоянно; кое-где на перекрестках горели костры, и возле них грелись солдаты.

— Вот как выглядит революция,— прошептала Роза.

— Это ее ночное лицо,— сказал он.— При свете дня все совсем иначе.

— Нет, Лео,— откликнулась Роза, и в голосе ее соединились страстность и нетерпение.— Я опоздала.

Да, так она и считала: опоздала! К главным, решающим и драматическим событиям в Польше — опоздала...

И мгновенно ее память пролистала страницы недавнего, только что минувшего. Страницы, окрашенные в красный цвет...

Сразу же после Кровавого воскресенья Главное правление СДКПиЛ выпустило прокламацию, которая призывала польский пролетариат поддержать всеобщей забастовкой своих русских братьев по классу, уже вышедших на демонстрации в Петербурге и Москве.

27 января в Варшаве началась забастовка. 29 января на улицах Маршалковской, Железной, Дикой, Вороньей, Простой рабочие воздвигли баррикады. Первые бои с царскими войсками. Несколько десятков револьверов и охотничьих ружей против регулярной армии. Сто двадцать убитых и шестьсот раненых рабочих и варшавян... Генерал-губернатор объявляет Варшаву и Варшавскую губернию на положении усиленной охраны. 28 января — пре-

кратили занятия студенты университета и политехнического института, они собрались на митинг, на котором была принята резолюция солидарности с революционным движением пролетариата в России. Следом забастовали средние учебные заведения Варшавы, и эта забастовка быстро перекинулась на другие города Королевства Польского — Люблин, Кельц, Лодзь: «Требуем проведения школьной реформы! Преподавание на польском языке! Да здравствуют демократические свободы! Долой царизм!..»

...Сани резко наклонились на ухабе, Роза, очнувшись от своих мыслей, увидела перспективу узкой улицы; ветер крутил снежную воронку на перекрестке.

«Это очень правильно,— думала Роза,— что у нас среди студенческой и школьной молодежи есть организация. А ведь это я была одним из инициаторов ее создания. Вы молодец, пани... Да, тут, пожалуй, лучше пани. Вы молодец, пани Люксембург!»

— О чем ты все думаешь, Рузя?

— Лео, а что сейчас в среде нашего студенчества?

— Там все непросто. Есть сторонники пепеэсовцев, некоторая часть, в основном дети из буржуазной среды, поддерживает национал-демократов, но большинство студентов идут за нами.

Роза к самым глазам придвинула край шубы — в лицо дул резкий морозный ветер.

Все непросто... Она это предвидела: в момент революции в Польше выступили две партии: они, СДКПиЛ, и ППС... И с первых же дней революции пепеэсовцы изменили наступательной революционной тактике. Как иначе расценить «политическую декларацию» ППС, опубликованную их заграничным комитетом 29 января? В ней единственное требование: добиваться созыва польского Сейма. Правда, и Лео, и Дзержинский говорят, что на левом крыле ППС формируется ядро из рабочих членов партии, близкое к нам по взглядам и стремлениям.

«С ними,— говорят товарищи,— есть смысл объединиться». Нет, тут спешить нельзя, надо во всем детально разобраться, без суеты...

Ведь есть еще третья сила — буржуазная национал-демократическая партия (да, да, та самая, зачатки которой Роза Люксембург в конце прошлого века разглядела в редакции журнала «Глос» и в его подписчиках...). Все, что делается этими партиями, сводится к одной цели: вырвать польский пролетариат из могучего потока русской революции. Но это им не удается.

«Вернее, не удавалось,— поправила себя Роза, вглядываясь в морозный снежный мрак, который окутывал Варшаву.— Не удавалось в первой половине пятого года».

...Из Варшавы январская забастовка перекинулась в Лодзь, захватив все окрестные рабочие поселки. В феврале забастовочное движение распространилось на весь промышленный Домбровский район. И всюду рабочие выступали под лозунгами СДКПиЛ, «под нашими лозунгами»,— подумала сейчас Роза.

Вершиной революционной борьбы в Польше в первой половине 1905 года стало 1 Мая. Первомайское воззвание написала Роза в своей берлинской квартире во Фриденау, в одну из последних апрельских ночей, и стол ее был завален отчетами о Третьем съезде партии большевиков, работой которого руководил Ленин. И под ее пером рождались огненные строки: «Польские рабочие! Пусть царское правительство увидит вас, идущих плечом к плечу с русскими рабочими в шеренгах революции! Польские рабочие! Вы знаете, кто ваш враг и кто ваш брат. Ваш враг — царское самодержавие и польско-русские капиталисты. Ваш брат — революционный русский рабочий класс...»

Это страстное воззвание было напечатано семидесятипятитысячным тиражом и распространено не только в

Варшаве, но и в Лодзи, Влоцлавеке, Петрокове, Ловиче.

...1 Мая в Варшаве остановились все заводы, фабрики и мастерские, с утра были закрыты магазины, рестораны и кофейни, бастовали извозчики, не ходила конка, замерли поезда на Варшавском железнодорожном узле. Грандиозная демонстрация началась в двенадцать часов дня, и руководство ею полностью принадлежало социал-демократам. Около двадцати тысяч рабочих вышли на улицы, могучее шествие катилось к центру столицы Королевства Польского, над колоннами демонстрантов колыхались красные знамена, лозунги, которыми вооружила варшавский пролетариат СДКПиЛ. Из края в край над демонстрацией перекатывалось:

Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног...

Колонны рабочих подошли к Иерусалимским аллеям, в первых рядах шел Феликс Дзержинский. Здесь демонстрантов встретили войска — пехота и кавалерия. По приказу командования был открыт огонь... Опять на варшавские улицы пролилась рабочая кровь: пятьдесят убитых, более ста раненых...

Но выстрелы палачей не остановили пылких, свободолюбивых поляков, а лишь послужили толчком к расширению революционной борьбы: все новые и новые города присоединялись к забастовочному движению; начались крестьянские волнения.

«Ну, наши польские крестьяне,— подумала сейчас Роза, видя перед собой широкую спину извозчика в овчинной дохе,— не очень-то надежные союзники. Крестьянин по своей психологии прежде всего собственник. Только пролетариат — знаменосец революции. И летом — безусловно правы большевики! — сложилась объективная ситуация для вооруженного восстания».

В Польше па этот жестокий, неумолимый путь первой встала Лодзь.

— Лео, нам еще долго? Ноги совсем закоченели.

— Потерпи. Минут через десять будем на месте.

...Лодзь, май 1905 года. Первые разрозненные забастовки в городе начались пятнадцатого мая.

Весной фабриканты города попытались перейти в наступление на лодзинский пролетариат — определенные экономические уступки ими были сделаны в начале года. В ответ 25 мая рабочие крупных текстильных предприятий объявили забастовку. Она началась на фабрике Громана, перекинулась на предприятия Шейблера, охватила, наконец, всю промышленную Лодзь. 28 мая по городу прокатилась грандиозная демонстрация, в которой принимало участие более пятидесяти тысяч человек — в нее вплелись похороны жертв расстрела 26 мая. По просьбе лодзинских фабрикантов варшавский генерал-губернатор направил в город войска. 18 июня социал-демократический комитет организовал маевку рабочих за городом. Возвращались в Лодзь с песнями, под красными знаменами. Вот тогда на рабочих напали казаки. Десять человек убиты, несколько десятков ранено... Похороны жертв царской расправы превратились в демонстрацию протеста, которая растянулась по всем центральным улицам Лодзи. Атмосфера накалялась. В следующие дни произошли новые столкновения с войсками. Число жертв достигло ста человек. 23 июня Лодзинский комитет СДКПиЛ призвал рабочих провести всеобщую забастовку. В городе возникли баррикады из телег, бочек, ящиков, поваленных телеграфных и телефонных столбов, поперек улиц натягивали проволоку. В Лодзи началось вооруженное восстание.

Когда уже все было кончено, Роза читала в большевистском «Пролетарии», с огромным трудом доставленном в Берлин: «Войскам приходилось брать и разрушать бар-

рикаду за баррикадой. Рабочие дрались с небывалым воодушевлением, несмотря на недостаточное вооружение (далеко не у всех были даже револьверы...). В солдат стреляли из окон и с крыш, обсыпали их камнями, обливали кипятком и горячей смолой. В нескольких местах были брошены бомбы... Наряду с взрослыми дрались на баррикадах дети, молодые девушки произносили агитационные речи под градом пуль».

Силы были неравные: власти вводили в город все новые и новые войска. Были повторены печально знаменитые слова: «Патронов не жалеть!» Лодзинское восстание захлебнулось в крови — две тысячи убитых и раненых... Газетный отчет об этой высокой трагедии революции поверг в ужас и смятение Карла Каутского в памятный вечер во Фриденау — сейчас Роза ярко увидела бледное, напряженное лицо Карла за столом, за мирным благочинным ужином, и широкое окно распахнуто в благоухающий, мокрый после дождя сад...

Но Лодзинское вооруженное восстание не было напрасным — оно послужило мощным толчком к забастовочному движению в Варшаве, Ченстохове, Люблине, Радоме, Плоцке... Его эхом были выступления рабочих в Одессе, Риге, Либаве и в других городах необъятной Российской империи.

В те дни Петербургский комитет большевиков, обращаясь к русским пролетариям, писал: «Товарищи! Теперь за нами очередь. Мы должны, мы обязаны выполнить наш долг перед лодзинскими, варшавскими и одесскими рабочими...»

Лодзинский пролетариат показал героический пример вооруженной борьбы — и восстание, к которому призывали большевики, вот-вот должно было начаться в России. Все попытки царского правительства отвлечь рабочий класс ни к чему не привели. Лозунг большевиков активно бойкотировать булыгинскую Думу был поддержан

польскими социал-демократами: забастовки были проведены в Лодзи, Пабианицах, Ченстохове, Люблине, Радоме, в Домбровском бассейне...

— ...Все, Рузя, еще один поворот — и мы дома.

«Дома...» — усмехнулась она.

...Да, надо смотреть правде в глаза: вооруженное восстание в Москве, судя по последним сообщениям, терпит крах. Но это — военное поражение, отнюдь не политическое. И революция не кончилась, она продолжается...

«Это замечательно, что я здесь, на месте,— думала Роза Люксембург.— Уж теперь-то я не буду получать информацию о событиях в Польше недельной давности».

— ...Остановитесь, пожалуйста, здесь, на углу.

Когда извозчик уехал, Лео сказал тихо:

— Квартал пройдем пешком.— Он помедлил.— У русских много точных поговорок. Береженого бог бережет.

— Как скажешь,— усмехнулась Роза.

Ей сняли комнату в приличном пансионе, на втором этаже, но Иогихесу не нравилось это место: все на виду, хозяйка уж больно дотошная, во все вникает; недоброе предчувствие томило Лео, хотя Якуб Ганецкий уверил, что пансион вполне надежный, здесь останавливались инкогнито многие товарищи, приезжавшие из Европы и России. На этот раз, появившись в Варшаве, Лео Иогихес жил на Иерусалимской у давнишнего знакомого, которому полностью доверял, но вчера тоже перебрался в пансион графини Валевской, чтобы быть вместе с Рузей.

...Уже утром за завтраком она — ему показалось несколько отчужденно — заговорила деловым голосом:

— Мы начнем с «Червоного штандара». Надо посмотреть все вышедшие номера за последнее время и наметить темы ближайших статей. Следующая задача — я тебе писала — наладить выпуск легальной газеты «Трибуна людова». Поэтому, Лео, сейчас мы отправимся в редакцию...

— Нет, Рузя,— перебил он.— Все номера «Штандара» тебе доставят сюда, а встреча с работниками издательства состоится завтра на одной квартире, надо еще уточнить...

— Что?! — взвилась Роза.— Это как понимать? Я уже под арестом?

Лео Иогихес взглянул на часы, холодно сказал:

— Через два часа мы с тобой, соблюдая максимальную предосторожность, пойдем на одну квартиру. Там соберутся все члены Правления нашей партии, тебе будет зачитано...

— Я увижу и Юлиана, и Адольфа? — нетерпеливо перебила она.— И этого немного смешного Якуба?

— Да, да! — сказал, смягчившись, Лео Иогихес.— Увидишь и Ганецкого, и Юзефа...

— Дзержинский тоже в Варшаве? — Роза захлопала в ладоши.

Лео рассмеялся:

— Ты неисправима, Рузя! Наверно, на всю жизнь ты останешься восторженной девочкой...

2

Однако встреча Розы с руководством партии на конспиративной квартире — в «лояльном», даже фешенебельном доме в Старом городе — состоялась только через два дня.

В комнате, завешанной коврами и старинными гравюрами, она вместе с Лео Иогихесом появилась взвинченная, возбужденная, нетерпеливая. Но когда ей навстречу бросились Юлиан Мархлевский, Адольф Варский, Феликс Дзержинский, когда восторженный Якуб Ганецкий со словами: «Роза! Мы заждались!» — отстранив всех, заключил ее в объятия, она мгновенно оттаяла, слезы блеснули в ее глазах... Друзья, единомышленники, соотечественники... В решающий час польской истории они

вместе — в революционной Варшаве. Было в комнате человек десять — двенадцать, и она обратила внимание на то, что больше здесь молодых лиц, и почти все незнакомы ей. Что же, естественно: революция — дело молодых, и вполне понятно, что в месяцы решающей борьбы в партию пришли новые люди.

Когда закончились шумные приветствия, вопросы о том, как добралась, как устроилась, Дзержинский, став неожиданно строгим («Есть в нем стальной стержень»,— подумала Роза, глядя на бледное волевое лицо Феликса), сказал:

— Роза, мне поручено ознакомить тебя с постановлением Правления партии о твоем пребывании в Варшаве.

— Какая честь! — воскликнула она. — Специальное постановление о моей особе.

Лицо Дзержинского оставалось непроницаемым.

— Не буду его тебе читать,— сказал он.— Изложу коротко. В Варшаве военное положение, продолжаются аресты. Почти каждый день мы кого-нибудь теряем из своих товарищей. Мы не имеем права рисковать тобой...

— Я сюда не на отдых приехала! — перебила она, чувствуя, что бледнеет.

— Мы не имеем права рисковать тобой,— повторил Дзержинский.— Кстати, на сей счет мы уже получили письма от Бебеля и Меринга.

— Может быть, мне прямо сегодня вернуться в Германию? — с гневом и сарказмом спросила она.

— Роза,— сказал Юлиан Мархлевский.— Помолчи, пожалуйста, и выслушай до конца.

— Правление партии постановило,— ровным голосом продолжал говорить Феликс Дзержинский: — Вся работа Розы Люксембург, прежде всего литературная работа,— только дома, в пансионе Валевской. Все вопросы по текущим делам с Правлением партии Роза будет обсуж-

дать на конспиративных квартирах, куда ее станут сопровождать наши люди. Никаких самовольных отлучек в город. Категорически отменяются посещения театров, концертов, выставок...

— Завтра в Королевском дворце,— упавшим голосом сказала Роза,— вернисаж современных американских художников.

Улыбка тронула тонкие губы Дзержинского, он сказал:

— И, естественно, самым категорическим образом, Роза, запрещаем тебе любые публичные выступления. Впредь до отмены военного положения.

В комнате настала тишина.

— Хорошо,— сказала она, унимая обиду, готовую вырваться наружу,— я подчинюсь. Партийная дисциплина есть партийная дисциплина... Только одна просьба.— Голос Розы дрогнул.— Я бы хотела, пусть изредка, видеться со своими родными. И... Мне надо на могилу отца...— Полгода назад, в Берлине, она получила телеграмму о смерти Эдварда Люксембурга, но не смогла вырваться на похороны.— Надеюсь, в этом вы мне не откажете?

— Роза,— сказал Адольф Варский,— конечно, мы все...— он запнулся,— организуем.

— Поручите это мне! — вскочил Якуб Ганецкий.

— Поручаем,— сказал Дзержинский.— А теперь — к делу. Роза, тебе слово.

Роза заговорила не сразу...

Родной дом, старая мать, братья, сестра, могила отца... Ведь это все рядом!

— Я прочитала последние номера нашего «Червоного штандара»,— голос ее постепенно обретал твердость.— А также все пепеэсовские издания. Конечно, сейчас главное — газета, надо «Штандар» выпускать ежедневно! Разъяснять, разъяснять рабочим, что в Москве в резуль-

тате Декабрьского восстания скорее одержана победа, чем понесено поражение. Его результаты еще скажутся.

— Тебе известна знаменитая фраза Плеханова? — перебил Дзержинский.— «Не надо было браться за оружие»...

— Меньшевики в революции показали свое лицо! — Все в ней дрожало от негодования.— И рыцарь печального образа Георгий этой фразой точно сформулировал их позицию. Плох тот вождь и жалка та армия, которые принимают сражение, только когда победа в кармане.

— После раскола русской социал-демократии в 1903 году,— сказал молодой человек в студенческой куртке,— вы поддерживали меньшевиков.

— Поддерживала,— сказала Роза.— Но в практической деятельности в момент революции я полностью со сторонниками Ленина! Именно они в декабрьские дни показали себя истинными социал-демократами и революционерами.

...Лео Иогихес, стоя у окна, за которым посвистывала метель, смотрел на Розу. Нет, она не чувствует моего взгляда. Вот... Посмотрела в его сторону, и взгляд — как будто через пустоту. И какое жаркое, испепеляющее пламя бушует в ее глазах!..

— И надо давать отповедь папуасам! Они солидаризируются с меньшевиками! — сказал Адольф Варский.

— Согласна! — Роза нервно прошлась вдоль стола.— ППС тоже в декабрьские дни полностью проявила себя. И поэтому — пресса, пресса и еще раз пресса! Нам мало одного «Штандара». Нужно наладить выпуск легальной газеты «Трибуна людова». Мы уже с Лео обсуждали этот вопрос.

— В условиях военного положения,— сказал Варский,— это вряд ли удастся...

— Тем не менее,— нетерпеливо перебила Роза,— мы попытаемся. Основные направления нашей пропаганды

такие: курс на вооруженное восстание! Всеобщей мирной стачкой революция не завершается, а наоборот, это ее начало. Второе: критика пепеэсовцев и меньшевиков по основным тактическим вопросам. Кстати, я считаю, мы должны полностью поддержать большевиков, которые призывали бойкотировать выборы в первую Государственную думу.

— А меньшевики,— сказал Варский,— за участие в думских выборах.

— Вот и есть арена,— азартно сказала Роза,— где можно скрестить копья!

— Есть более широкая арена,— сказал Феликс Дзержинский.— Предстоит Четвертый съезд РСДРП. Его уже сейчас называют Объединительным: наша партия войдет в русскую социал-демократию на правах автономии...— Он колко взглянул на Розу.— Мы надеемся, что наконец войдет. Предстоит детально разработать наши условия объединения. Ты, Роза, включена в делегацию. Естественно, меньшевики на съезде по всем основным вопросам вступят в полемику со сторонниками Ленина...

— О! — воскликнула Роза.— Я с огромной радостью поеду на этот съезд. У меня просто руки чешутся ринуться в драку с меньшевиками. И я встречусь с Лениным! Я жажду этой встречи.

Лео Иогихес смотрел на Розу: лицо ее пылало.

...2 января 1906 года, вечером, Роза у себя в комнате писала письмо Луизе Каутской. Быстро под нетерпеливым пером возникали строчки: «Дорогая, здесь очень хорошо. Ежедневно в городе солдаты подкалывают двух или трех человек; аресты происходят тоже ежедневно, в остальном же все очень весело. Несмотря на военное положение, мы выпускаем ежедневно «Штандар», который продается на улицах. Как только военное положение будет снято, появится вновь легальная ежедневная газета «Трибуна». Печатать «Штандар» приходится в бур-

жуазных типографиях, захватывая их для этого силой оружия. Точно так же со снятием военного положения немедленно начнутся митинги; тогда вы услышите обо мне. Здесь свирепствуют жестокие холода, ездят только на санях...»

Торопливые шаги по лестнице. Лео... Легкий стук в дверь.

— Входи!

Он появляется в дверях в своей роскошной шубе, которую товарищи шутливо назвали «конспиративной», пахнущий снегом и морозом, радостный, нетерпеливый.

— Есть для тебя, Рузя, новогодний подарок. Завтра отправишься к своим.

— Наконец-то!

— Пойдешь одна. Наш человек, которого специально проинструктировал Якуб, будет сопровождать тебя на расстоянии. Словом, Ганецкий все подготовил...

3

Конка через мост Кербедзя не ходила, и из Праги, через Вислу, она ехала на извозчике. Сани были самые простые, крестьянские, скрипел под полозьями снег; с правого бока несло ледяным ветром, Роза отворачивалась от него, кутаясь в пальто.

Сзади, на расстоянии полусотни метров, следовали сани; запряженный в них высокий голенастый жеребец пегой масти, резво выбрасывая вперед ноги, бил в стороны двумя струями пара из разгоряченных ноздрей, отфыркивался.

Роза знала, что в тех санях — ее сопровождающий, которому Якуб Ганецкий поручил охрану «фрау Анны».

Роза возвращалась «от своих», из родного дома, где только что произошло свидание с матерью, с сестрой Анной и братом Максимилианом; Юзефа, знаменитого нев-

ропатолога, дома не было. Он оставил ей записку, написанную торопливо: «Розочка! Завален работой в клинике: сама понимаешь, для врача в такое время основное место — на своем посту. Повидаемся в другой раз. Твой брат Юзеф».

«Надо порвать записку. Мало ли... Господи! Как паршиво, просто отвратительно на душе!..»

Когда она читала записку, Максимилиан, располневший и поседевший, сказал:

— Юзеф очень огорчен. Его вызвали на срочную операцию. Все время в клинику привозят раненых. У многих расстройство психики. Он консультирует.

В этих словах Розе послышался скрытый упрек. А может быть, она все придумывает сейчас? Максимилиан и Юзеф всегда поддерживали ее, понимали.

И все-таки...

Роза была подавлена только что происшедшей встречей. Мать, до неузнаваемости постаревшая, только плакала, ничего не могла сказать. Сестра Анна смотрела с укором, лишь Максимилиан был явно обрадован встречей, шутил:

— Розочка, ты прекрасно выглядишь. Революция тебе к лицу. Хотя...— Он грозил ей пальцем.— По классовому принципу я тоже — твой враг?

Роза невесело улыбалась.

Угнетало ее другое. Из всех родственных чувств сейчас пережила она только одно: острую жалость к матери. И все. Дом, квартира — половина комнат сдавалась жильцам, и на кухне пахло жареной рыбой,— старая мебель, которую она помнила с детства, обои на стенах — те же! те же! — ничто не задело ее, не взволновало, будто она пришла к чужим людям, в незнакомое жилище. И уже через полчаса, когда больше молчали, чем говорили, когда всех начала томить неловкость, захотелось скорее уйти...

А ведь она рвалась сюда, на улицу своего детства и юности, в дом, где начиналась сознательная жизнь, к матери, к братьям и сестре...

«Что же случилось? — думала она сейчас, глядя через парапет моста на Вислу подо льдом и снегом.— Что со мной? Я такая черствая, бесчувственная?»

Мать и сестра осуждают ее, не понимают... Но ведь они — ее самые-самые родные!.. Даже, глядя на испуганное и сонное лицо Анны, не было желания расспросить ее о семейной жизни, о детях...

И она ужаснулась. «Неужели все дело в том, что я — революционерка? И когда на календаре дни революции, все мои чувства — и родственные в том числе — отключены. Да это же страшно!..»

Сегодня вторник. В субботу они пойдут на могилу отца. Вот там, на кладбище... Мы сядем вместе на скамейку: мама, Анна, братья... Слезы сдавили горло Розы. Простите меня! Мы обо всем, обо всем поговорим. И я признаюсь: мне одиноко без вас...

— Пани, прошу прощения, теперь куда?

Оказывается, они уже переехали Вислу, миновали стены цитадели.

— Остановитесь, пожалуйста, у Королевского дворца, на Краковском предместье мне надо сделать покупки.

— Слушаюсь, пани.

Роза оглянулась.

Странно... Сзади следовало уже двое саней: одни, в которые был запряжен голенастый жеребец; другие влекла резвая кобылка серой масти, в яблоках, и сейчас эти вторые сани, как ни удивительно, обгоняли жеребца. Из-под полозьев летели серо-рыжие комья снега.

Якуб и Лео настойчиво, даже категорически требовали, чтобы она сразу возвращалась в пансион графини Валевской, выйдя из саней за три квартала от него.

«А! — решила Роза, подавив внезапное беспокойство.—

Ничего не станет, если я немного поброжу по центру. Надо привести мысли и чувства в порядок. И подышать воздухом родного града».— Она усмехнулась.

Расставшись с извозчиком возле памятника Сигизмунду, Роза Люксембург медленно пошла по главной улице столицы Королевства Польского — Краковскому предместью.

Здесь совсем не чувствовались революция, военное положение, которое было объявлено в Варшаве: праздничная шумная толпа, роскошные кареты (на одной Роза увидела герб Потоцких); открыты все магазины, кафе и рестораны; запах горячей сдобы, жареного мяса, французских духов. Однако было холодно, вдоль улицы летел ледяной ветер, кружа редкие снежинки.

Роза, подняв воротник пальто, медленно брела вдоль витрин магазинов. Постепенно непонятное беспокойство стало овладевать ею. Роза незаметно оглянулась. Сани, запряженные голенастым жеребцом, стояли на углу, и с извозчиком пререкался жандарм, гнал, надо полагать, эти крестьянские сани с аристократического Краковского предместья.

Роза улыбнулась, пошла дальше. Однако источник беспокойства заключался не в санях, он был где-то рядом. Она посмотрела по сторонам — ничего подозрительного...

И в это время чья-то легкая рука легла ей на плечо:

— Розочка!

Роза резко обернулась. Перед ней стояла молодая цветущая женщина в норковой шубке, в высокой шапке из собольего меха. Милое, улыбающееся лицо, безвольный маленький рот, светлые завитки волос на лбу.

— Ты не узнаешь меня, Розочка?

Сквозь полузабытые черты проступило юное, чистое лицо...

«Ванда Каспашко!»

— Ванда!..

Они быстро обнялись, Роза прошептала в ухо своей гимназической подруге:

— Только я Анна, Анна Матшке, так и зови меня.

Непонимание и испуг мелькнули на лице Ванды, она сказала:

— Хорошо. Надо обо всем поговорить, Ро... Прости, Анна...— Что-то беспомощное и трогательное мгновенно появилось в облике молодой женщины.— Вот что, пошли ко мне, мы живем рядом, за углом.

— Пошли.

Консьержка ключом открыла им парадные двери («Уж такие времена, Анна. В городе развелось жулья — пропасть»); медленный лифт вознес их на шестой этаж; на медной, до блеска начищенной табличке значилось: «Зацембо Я., адвокат»; дверь им распахнула молоденькая горничная в белом переднике.

— Анита! Кофе нам, фрукты и легкую закуску.

«Ну вот,— с непонятной тоской подумала Роза.— Я в обители своего классового врага».

И, странным образом, эта богатая квартира, ее жильцы соединились в сознании со свиданием на улице Штацика, три,— это был тот же, враждебный ей мир, только принявший иную форму.

Они пили бразильский кофе из прозрачных чашечек китайского фарфора; в хрустальной вазе со вкусом были уложены бананы, кисть черного винограда, яблоки. «Прямо-таки фламандский натюрморт»,— подумала она.

Ванда не умолкала ни на секунду:

— Господи, Розочка! Сколько мы не виделись? Семнадцать лет!.. Ты только подумай! А помнишь нашу гимназию, наши балы?.. Когда же прошла молодость?

— Ты счастлива, Ванда?

— Да! Да! Мама была права, когда говорила, что я родилась в рубашке. Муж, Янек, адвокат, которого знает

вся Варшава. Неужели ты не слышала? У него огромная клиентура, большие гонорары...

— Кого же защищает твой Янек?

— О! У него самые разные дела. И один принцип: не участвовать в политических процессах.

— Понятно.

— Согласись, Розочка, ужасные времена... Эта революция... Янек говорит, все колеблется...

— А ты обо мне что-нибудь слышала, Ванда? Ты читаешь газеты?

— По правде говоря... Янек считает, надо быть подальше от политики. Кроме того, все газеты скучные, я обожаю романы. Вчера закончила «Огнем и мечом» Сенкевича. Почему ты на меня так смотришь? Постой... Ты по-прежнему... занимаешься политикой?

— Да нет! — И Роза с огромным усилием подавила вздох.— У тебя есть дети?

Лицо Ванды просияло.

— Представь себе, трое! Мальчики, Казимир и Адам,— близнецы, им по десять лет. Сейчас в гимназии. А Мария, ей пошел второй годик, у кормилицы, на хуторе. Одну секунду! Я тебе покажу. Анита! Принеси из моей комнаты альбом с фотографиями.

...Альбом был толстый, в темно-зеленом бархатном переплете. Ванда листала атласные страницы, от ее белых холеных рук приятно пахло каким-то кремом.

— Вот мой Янек. Почему ты улыбаешься, Розочка?

— Он немного похож на Бисмарка.

— Вот мои мальчики. Правда, прелесть?

— Правда.

— Это Мария, девять месяцев. Согласись, куколка.

— Девочка очаровательная.

— Правда? Тебе нравится, Розочка?

— Погоди... Там мелькнула фотография...

— Ага! — Ванда захлопала в ладоши.— Узнала! Узна-

ла! Я специально пропустила... Решила проверить, узнаешь или нет.

— Неужели это я?..

— Ты, Розочка.

Роза пристально рассматривала фотографию. Незнакомая девочка смотрела на нее. Нежный овал лица, внимательный, пытливый взгляд темных глаз, высокий лоб, упрямо сжатые губы, густые волосы зачесаны назад, и угадывается толстая коса на спине; гимназическое платье застегнуто на все пуговицы, шея закрыта, и, может быть, поэтому что-то аскетическое во всем облике; подтянутость, строгость.

«Это — я. Я и — не я...»

— Кажется, я тебе что-то написала на этой фотографии?

— Не помню... Может быть.

— Разреши, я посмотрю.

— Конечно!

Роза вынула фотографию, перевернула ее.

Выцветшие упрямые, старательные строки:

«Моим идеалом является такой социальный строй, при котором можно было бы с чистой совестью любить всех. Стремясь к нему и во имя его, может, я могу ненавидеть. Ты этого никогда не сможешь и напрасно так рано родилась...»

— ...Мне пора, Ванда! — Она порывисто поднимается из мягкого удобного кресла.

— Розочка, что с тобой? Ты побледнела.

— Ничего. Устала немного. Последнее время приходится много работать.

— Да посиди еще! Скоро придет Янек. Вместе поужинаем. А потом в оперу, а? Сегодня дают «Аиду», и у нас своя ложа.

— Нет, Вандочка, спасибо. На вечер я наметила одно дело.

Недоумевающая Ванда Зацембо провожает ее до двери.

— Но ведь ты еще зайдешь? Ты ничего не рассказала о себе.

— Как-нибудь зайду.

На улице уже смеркается, зажглись первые огни.

Возле оперного театра Роза берет извозчика:

— Ясная, дом один.

— Слушаю, пани.

Оказавшись на улице, Роза Люксембург мгновенно почувствовала беспокойство, оглянулась по сторонам — рядом никого не было.

Сейчас, кутая ноги в овчинный тулуп, она снова оглянулась. За ними на почтительном расстоянии катили сани, и лошадь, кажется, была пегой масти. Впрочем, в снежных сумерках могло показаться.

«А! — вдруг подумала она.— Все равно... Какая я несчастная! У меня, наверно, никогда не будет своих детей...»

В пансионе графини Валевской на нее набросился Лео Иогихес:

— Как ты посмела не выполнить приказ Правления? Ведь...— Но, взглянув на нее, он осекся: — Что с тобой, Рузя?

— Ничего. Все в порядке.— Она открыла дверь в свою комнату.— Мне надо побыть одной. Извини, Лео.

Дверь захлопнулась. Щелкнул замок.

4

...В Москве были окончательно подавлены последние очаги Декабрьского вооруженного восстания. Царское правительство спешило закрепить кровавую победу не только в двух русских столицах, но и на периферии, в том числе во взрывоопасном Королевстве Польском.

В первых числах декабря 1905 года из Питера в Варшаву, в канцелярию генерал-губернатора, пришла срочная шифрованная депеша...

С января 1906 года в столице Королевства Польского среди членов двух рабочих партий — СДКПиЛ и ППС начались повальные аресты.

Правление партии приняло решение: Роза Люксембург должна немедленно покинуть Варшаву.

— Роза,— сказал ей Дзержинский,— съезд русских социал-демократов откладывается на неопределенное время. Ты на него можешь поехать прямо из Германии...

— Из Германии? — перебила она.

— Да. Таково решение Правления, и обсуждению оно не подлежит. Другие делегаты приедут на съезд отсюда, и там...— Дзержинский сдержанно улыбнулся,— мы встретимся.

— Но почему я должна уезжать, черт возьми?

И впервые хладнокровный и сдержанный Юзеф повысил голос:

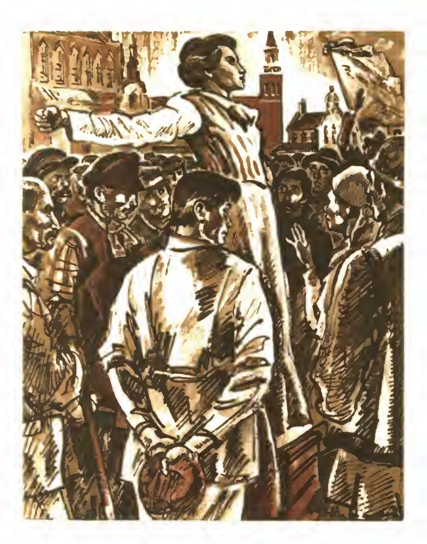
— Потому что ты — Роза Люксембург! Тебе известно, что происходит в Варшаве... Короче говоря, так: сегодня восемнадцатое февраля. Послезавтра, двадцатого февраля, ты уезжаешь. Билет до Осло уже заказан.

— До Осло? — сдаваясь, спросила она.

— Да. Придется тебе пробираться в Германию кружным путем. Наши железнодорожники бастуют, и их поддерживают прусские коллеги. Ничего, Роза. Станет поспокойней, мы тебя снова вытребуем сюда. И еще раз спрашиваю: когда ты самовольно разгуливала по центру, ничего подозрительного не заметила?

— Да нет же! — Она хотела сказать про сани, запряженные серой лошадью в яблоках, но промолчала.

— Ну хорошо. Лео сегодня и завтра оформит все документы. И — в путь! Приказ, Роза, остается в силе: из дома — ни на шаг. Во двор тоже не выходи.



...Наверно, руководство СДКПиЛ поспешило бы с отъездом Розы Люксембург в Германию, если бы знало об одном открытии, которое сделал 3 января 1906 года агент тайной полиции в Королевстве Польском Ян Гашеньский.

Этот пан с незаметной, стандартной внешностью занимался «делом Розы Люксембург» с восьмидесятых годов. Именно его взгляд почувствовала Роза в зеленой гостиной Коханьского во время полемики с Брониславой Фишер в далекий сентябрьский день 1885 года.

И с тех пор, хотя пан Гашеньский, оставаясь в Варшаве, занимался сугубо польскими делами, он не выпускал из виду Розу Люксембург: во всех подробностях знал ее досье, изучал все, что приходило на нее от зарубежных агентов, читал ее статьи в немецкой и польской социал-демократической прессе. Изучив ее нервный, взрывчатый, свободно парящий стиль, он легко мог в потоке анонимных публикаций определить ее писания.

На этом и было основано открытие. Статьи Розы Люксембург в газете «Червоны штандар» Ян Гашеньский обнаружил давно, с первых номеров. Но все они питались фактами недельной, а иногда и двухнедельной давности. Ясно, что все эти корреспонденции присылались из-за границы, скорее всего из Германии. И вдруг 3 января в этом самом «Червоном штандаре» тайный агент Гашеньский читает статью «Вооруженная революция в Москве». По стилю, по страсти, по логике аргументов — без всякого сомнения, Люксембург. Но другим был поражен сыщик: говоря о событиях в Польше, в Варшаве, автор анализировал самые свежие факты — все это было вчера в Лодзи и варшавских пригородах! Значит... Вывод мог быть только один: Роза Люксембург в Варшаве! Ян Гашеньский письменно изложил начальству свои соображения и получил санкцию действовать. Логика вела его в дом Люксембургов. Если она приехала из Германии в Варшаву, встреча ее с престарелой матерью, братьями и сестрой

неизбежна. Была установлена слежка за домом, в котором находится квартира Люксембургов. И в этой слежке — случай исключительный — сам пан Гашеньский принимал активное участие. Расчет оказался верным: в один, как говорится, погожий зимний день молодая женщина — однако что стало с той хрупкой девочкой-былинкой, которую он увидел однажды в зеленой гостиной!.. — посетила квартиру в старом пятиэтажном доме по улице Штацика, три, и в ней, когда через час, не более, она выходила, пан Гашеньский узнал Розу Люксембург. Вернее, если быть точным, надо сказать: очень похожую на Розу Люксембург. Так и было доложено: «Очень похожа».

Дальше все было просто.

След привел в пансион графини Валевской на улице Ясной. Установление личности: проживает под именем Анны Матшке, корреспондентка берлинской газеты «Форвертс». Это понятно... Рядом с ней снимает комнату некто Отто Энгельман, тоже корреспондент немецкой газеты, только другой — «Лейпцигер фольксцайтунг». Характерные, между прочим, газетки...

Посовещавшись, решили некоторое время «попасти» Анну Матшке, выведать, кто к ней, вернее, «к ним» ходит, где бывает она (они), словом, побольше зацепить персонажей на этот крючок. Кроме того, решили пока высокому начальству не докладывать, кто скрывается под именем Анны Матшке, вернее, кого пан Гашеньский под ним подразумевает... Тем выше в финале будут дивиденды. Сожалел тайный агент полиции только об одном: пристегнули к нему ротмистра Сушкова, которому поручалась юридическая сторона дела. А человек он тщеславный, постарается весь успех (если он будет) присвоить себе. Но события ускорились по державной воле: из Питера в начале декабря пришла директива обезвредить обе партии — СДКПиЛ и ППС.

И вот...

Сейчас 19 февраля 1906 года, Ян Гашеньский стоит у афишной тумбы недалеко от пансиона графини Валевской, полицейская карета — за квартал отсюда. Анна Матшке одна в своей комнате, только что к ней поднялись ротмистр Сушков и два жандарма; сейчас они ее арестуют, и следствие покажет, прав ли он, пан Гашеньский. Они решили взять ее одну, пусть Отто Энгельман погуляет пока на свободе, есть смысл проследить его связи.

Сейчас надо дождаться, когда ее выведут: тайный агент хочет взглянуть еще раз вблизи, но так, чтобы она не обратила на него внимания. Кто знает, что будет с ней дальше. Может быть, она его судьба.

Ах, дьявол! Идет Отто Энгельман. Не успели. Впрочем, этот случай предусмотрен: если появится — тоже брать. Но — очень некстати! Уйти? Нет, уже поздно, можно спугнуть, скорее всего, это стреляный воробей, при первом признаке тревоги попытается скрыться. Ничего, Ян Гашеньский — случайный прохожий, и его очень интересуют концерты Венского симфонического оркестра.

И на Отто Энгельмана он скучно оглядывается — реакция на звук шагов.

На мгновение их взгляды встречаются...

...Ранним вечером 19 февраля 1906 года в Варшаве, в пансионе графини Валевской, была арестована некая Анна Матшке, германская подданная, заявившая при аресте, что она является корреспонденткой берлинской газеты «Форвертс». Жандармским чинам вместе с документами — паспортом, удостоверением редакции — было вручено тут же написанное заявление, в котором выражался энергичный протест против незаконных действий русских властей.

Ротмистр Сушков, молодой человек с продолговатым унылым лицом, на котором холодно поблескивали прони-

цательные, умные глаза, прочитав заявление, написанное на немецком языке, сказал, обращаясь к двум жандармам:

— Приступайте.

Жандармы начали обыск в комнате Анны Матшке.

Сушков сказал, теперь повернувшись к арестованной:

— Фрау Матшке могла бы свое заявление написать и по-польски, не так ли?

— Могла бы,— ответила Анна Матшке. — И по-польски, и по-русски. А если угодно господину жандарму, то и по-французски.

— Прекрасно-с,— вежливо сказал ротмистр Сушков. — Не скрою, фрау Матшке, у нас по поводу вашей особы имеется некоторое подозрение. — Он внимательно следил за лицом женщины, стоявшей перед ним у стола. — Да, простите, я не представился: ротмистр Сушков, я, очевидно, буду вести ваше дело.

— Мое дело? — На лице женщины промелькнуло изумление. — Уже есть дело?

— Представьте себе, есть.

...Нет, это было какое-то наваждение. Лео Иогихес уже поднимался по ступеням на второй этаж, и предчувствие беды сжало сердце, а он все поднимался. «Поезд в Осло завтра,— думал он,— с ним мы ее отправим»; и тут Лео, как при вспышке молнии, повторил в воображении быстрый взгляд человека у афишной тумбы, с которым встретился только что; странный взгляд... Вернее, странные глаза: в них нет зрачков, они растворены в густой кофейной гуще. «Да это же шпик!» — пронеслось в сознании. Между тем он уже входил в общую переднюю с дверями в их комнаты; в передней испуганно топтались дворник и его жена с потным — от страха? — лицом. Они оба посмотрели на Иогихеса, потом на дверь Розиной комнаты. Они молчали...

Так... Все понятно. Попытаться уйти через чердак, по крышам?

Но за дверью была его Рузя.

Он постучал в дверь условно, два быстрых удара, третий после паузы.

Дверь мгновенно распахнулась.

— Прошу! — Его пропустил вперед молодой человек в штатском. Продолговатое лицо со слабыми признаками интеллигентности, внимательный изучающий взгляд. — Господин Отто Энгельман, не так ли? — И голос приятный. — Вы, без сомнения, тоже корреспондент какой-нибудь левой немецкой газеты, прибывший в Варшаву освещать перипетии русской революции?

Лео молчал. Он смотрел на Розу. Она стояла у стола и тоже смотрела на него.

«Вот видишь, любимый...» — говорил ее взгляд.

«Ничего, не унывай».

В комнате был полный разгром: разбросанные по полу книги, рукописи, газеты. Он прервал обыск; тут было еще два жандарма. Один совсем мальчишка, другой — пожилой, тучный, с огромным животом.

— Яременко! — послышался за его спиной голос молодого человека.

Пожилой жандарм вытянулся по стойке «смирно».

— Карета за углом?

— Так точно!

— Подогнать к подъезду!

— Слушаюсь!

За его спиной загремели по лестнице тяжелые шаги.

Они все смотрели, смотрели друг на друга...

«Я люблю тебя, Лео!»

«Я люблю тебя, Рузя! Я всю жизнь буду любить тебя...»

— Что же, господа иностранные корреспонденты, — с наслаждением сказал ротмистр Сушков, упиваясь мо-

ментом и похрустывая пальцами,— до выяснения обстоятельств я вынужден препроводить вас в отделение предварительного следствия. Будем надеяться, что все разъяснится. Хотя... Уже и сейчас кое-что вырисовывается. — Он поднял лист бумаги из порядочного вороха, образовавшегося на полу. — Ваш почерк, фрау Матшке, я не ошибся? — И, не получив ответа, ротмистр Сушков прочитал с выражением: — «Марксизм же по своей сущности является самой универсальной, наиболее оплодотворяющей мысль, окрыляющей дух теорией, широкой, как мир, гибкой и богатой по своим цветам и тонам, как сама природа, толкающей к действию, пульсирующей жизнью, как сама молодость. И только эта теория позволяет понять загадки минувшей истории, отгадывать пути дальнейшего развития общества и тем самым, «ударяя левым крылом о прошлое, а правым о будущее», находить в себе сегодня силы на действие результативное, поистине революционное...» У вас великолепный слог, пани... — Шальные огоньки заиграли во взоре ротмистра Сушкова. — ...пани Матшке. — Последовал тяжкий вздох. — Ах, господа, господа!.. Обыск мы закончим без вас. Гарантирую, что все будет сохранено, все до последней строки. Понятые! — В прихожей неприкаянно топтались дворник и его насмерть перепуганная жена.— Когда будет закончено, подпишите акт об обыске.— Жандарм круто повернулся на скрипучих каблуках.— Прошу вниз, господа!

...По улицам заснеженной Варшавы, мимо солдатских патрулей, мимо магазинов с замками на дверях, мимо кое-где не разобранных баррикад, через пустой настороженный город, встречая казачьи разъезды, ехала крытая полицейская карета, сопровождали ее конные городовые, и грязный подтаявший снег рыжими комьями летел из-под копыт лошадей.

В карете рядом сидели Роза Люксембург, она же Ан-

на Матшке, и Лео Иогихес, на этот раз скрывающийся под именем Отто Энгельмана.

Они молчали.

Говорили их взгляды.

«Вот видишь, любимый, как все нелепо получилось!»

«Ах, Роза, я ли не предупреждал тебя, что этот пансион как на семи ветрах и надо быть предельно осторожной».

«Кто-то нас выследил, как ты думаешь?»

«Возможно, покажет следствие».

«Они знают, кто мы на самом деле?»

«Не задавай глупые вопросы, Роза! И это покажет следствие. Что-то они наверняка знают».

«Если бы ты пришел на час позже!»

«Я молю бога, что не опоздал: я буду рядом с тобой».

«А ты помнишь, какой завтра день по старому календарю?»

«Я все помню, Роза. Завтра — пятое марта, твое рождение».

Да, да! Март и ее день рождения — роковое время...

«Лео! Как бежит время! Тридцать пять лет...»

«Ты самая прекрасная женщина, Роза. На всей земле нет прекрасней тебя!»

— Все, господа,— нарушил молчание ротмистр Сушков,— Театральная площадь. Мы прибыли.

Театральная площадь... Давно ли юная Роза со своей подругой по гимназии Вандой Каспашко следили здесь за кружением роскошных карет с фамильными гербами...

«Ах, Ванда!.. Что с нами делают время и жизнь!»

Отделение предварительного следствия находилось при ратуше, в подвале.

Каменные влажные ступени вниз. Металлическая дверь. Солдат с винтовкой. Звук поворачиваемого в замке ключа.

— Развести по камерам!
«До свидания, Лео!»
«Все будет хорошо, Рузя! Я с тобой».

5

...Существует беспощадная, точная проверка революционера: поведение в тюрьме, в ссылке. Если, конечно, в камере или за колючей проволокой соблюдены элементарные жизненные условия. Потому что есть предел в обстановке, создаваемой заключенному, за которым поведение узника невозможно мерить обычными категориями, характеризующими высоту или падение личности.

Но в любом случае тюрьма есть тюрьма. Камера, четыре стены, узкое окно под потолком. Режим, ограничения, несвобода. Угнетение духа. Вот что самое страшное для революционера, для деятельной натуры, для мыслителя, ниспровергающего существующие каноны,— угнетение духа.

13 марта 1906 года Каутские получили письмо из Варшавы от Розы Люксембург. Оно начиналось такими словами:

«Мои дорогие! В воскресенье, 4-го вечером, судьба настигла меня: я арестована. Я уже визировала свой паспорт для обратной поездки и была готова к отъезду. Но ничего не поделаешь. Надеюсь, что вы не особенно примете к сердцу все это дело. Да здравствует ре... со всем, что она несет!»

Примерно в эти же дни на стол начальника губернского жандармского управления в Варшаве легло донесение от следователя ротмистра Сушкова. В нем говорилось: «По агентурным данным и на основании сопоставления фактов нами установлено, что под именем арестованной Анны Матшке скрывается видная революционерка Роза Люксембург, ранее русская подданная, а теперь

в результате замужества получившая германское подданство. По нашим сведениям, Розалия Люксембург прибыла для организации аграрных беспорядков, имея в виду, что последствием таковых будет насильственное ниспровержение существующего в России государственного строя и революция. Другая цель вышеназванной Люксембург и прибывшего, очевидно, вместе с ней О. Энгельмана (личность пока не установлена) — поднять дух революционеров, значительно пришибленных декабрьскими событиями прошлого года. Почти нет сомнений в том, что Р. Люксембург и О. Энгельман являются приехавшими из Берлина представителями Заграничного комитета СДКПиЛ, оба террориста и бунтовщика представляют безусловную опасность для существующего государственного устройства.

В связи с вышеизложенным прошу санкции Вашего высокопревосходительства на возбуждение следствия по делу Розы Люксембург и О. Энгельмана согласно законам Российской империи».

Сверху атласного листа с аккуратными строчками, возникшими под пером ротмистра Сушкова, вельможной рукой размашисто было начертано: «К следствию приступить».

— Анна Матшке! В комнату для свиданий!

По длинному, тусклому коридору — за надсмотрщиком. Скорее, скорее! Наверно, опять Якуб...

Конечно! Он... В маленькой комнате, похожей на склеп, Ганецкий и Роза быстро обнимаются.

— Вот несколько книг. Вот еда. — И шепотом: — Держись!

— Я и держусь! Откуда ты взял...

— Подожди! — нетерпеливо перебивает Ганецкий. — Мы готовим твой побег. Сейчас главное, чтобы тебя никуда отсюда не перевели...

— Говорить громко! — Тюремщик стоит у двери и пристально смотрит на них.

— Дома все в порядке, все здоровы,— громко говорит Якуб и опять переходит на шепот: — Жди. В следующий раз — подробности.

— Жду! — Она сжимает его руку. — Вот эту записку — матери. Это письмо... — Роза еле слышно выговаривает слова. — Адрес ты знаешь...

— Все будет сделано, Анна! — Глаза Якуба Ганецкого полны лукавства.

В письме к Карлу и Луизе Каутским Роза Люксембург, в частности, писала:

«...Я сижу в части, где в одну кучу перемешаны «политические», уголовные и душевнобольные. Моя камера — оазис (обычная одиночка, рассчитанная в нормальное время на одного человека), вмещает 14 гостей только политических. Рядом с нашей камерой две побольше, в которых сидят по тридцать человек, все вперемешку. Но это, как здесь говорят, еще райские условия: ранее такие камеры вмещали шестьдесят человек, так что спать приходилось посменно, по 2—3 часа в ночь, в то время как остальные «гуляли». Теперь мы спим все по-королевски: на дощатых нарах вповалку, как сельди; все идет отлично, если не присоединяется какая-нибудь экстренная музыка, как, например, вчера, когда мы получили новую сожительницу — буйную еврейку, которая двадцать четыре часа своим криком и беганьем по камере держала нас всех в напряженном состоянии, так что довела некоторых политических до истерики... Прогулок во дворе здесь вообще не знают, но зато камеры открыты целый день, так что можно гулять по коридору, толкаться среди проституток, слушать их милые песенки и словечки и вдыхать ароматы также широко открытых... Все это для характеристики условий, но не моего настроения, которое, по обыкновению, превосходно. Пока я не открыта,

но это недолго продолжится, так как мне не верят. В общем, дело серьезно, но мы ведь живем в неустойчивое время, когда «все, что существует, достойно гибели». Я вообще не верю в долгосрочные векселя и обязательства. Поэтому будьте добры и «чихайте на все»...

— Анна Матшке! На допрос!

Ротмистр Сушков был свежевыбрит, благоухал одеколоном, китель был отглажен и застегнут на все пуговицы, еще молодую шею подпирал тугой крахмальный подворотничок; сапоги сияли, хоть смотрись в них, как в зеркало.

— Добрый день, пани Матшке! Не правда ли, сегодня великолепная погода? Ах, простите, вы не имели возможности убедиться. Настоящая, представьте себе, весна. — Он отодвинул стул. — Не угодно ли присесть?

Роза села на дырявый венский стул. Комната была узкая, но с большим окном без решетки, и за ним, действительно, по-весеннему голубело небо.

— Итак, пани.., Матшке,— возбужденно заговорил ротмистр Сушков,— вы по-прежнему утверждаете, что вы — Анна Матшке и никто иная?

— По-прежнему утверждаю.

Ротмистр Сушков пружинисто прошагал по комнате, подошел к столу, открыл папку. — Прошу вас, пани Матшке... Все-таки лучше «пани», чем «фрау». Вы не против? Взгляните на фото этой молодой особы... — В руках Розы оказалась фотография.

— Трогательно... Юность. Вешние воды. Невольно припоминаются строки поэта. — Ротмистр Сушков продекламировал не без чувства:

Разбирая поблекшие карточки,
Орошу я уж поздней слезой
Гимназисточку в беленьком фартучке,
Гимназисточку с русой косой...

— Ах, пани,— размягченно продолжал ротмистр Сушков. — Прямо не знаю, как вас теперь называть... Так вот, что я хочу сказать? Безжалостно к нам время, пани Роза!

«Боже мой! — Она рассматривала фотографию. — Я — гимназистка!.. Последний класс, перед выпускным балом!..»

— А вот, не угодно ли, еще один документик,— восторженно журчал голос ротмистра Сушкова. — Донесение нашего человека о причастности некой Розы Люксембург к преступному кружку Щепаньского. Так! Еще что вам показать? Прошу! На этой фотографии вы еще моложе. Седьмой класс гимназии, если не ошибаюсь. Или вот. Донесение нашего агента о Мартцине Каспшаке. Так, так... Прочитаем. Ваше свидание с ним в кофейне «Висла»... Припоминаете, конечно? Ах, как вам тогда удалось улизнуть прямо из-под носа! У опытнейшего человека притом. И дорога вела прямехонько в Цюрих, в эмиграцию, не так ли? — Сушков остановился перед ней; глаза его сияли доброжелательством. — Может быть, довольно? Признаете ли вы теперь, так называемая пани Матшке, что ваше настоящее имя — Роза Люксембург?

— Хорошо, признаю.

— Превосходно-с! Давно бы так. А теперь поговорим.

Ротмистр Сушков сел на второй венский стул, более новый.

— О вашей персоне мы потолкуем отдельно. Сейчас меня больше интересует таинственный незнакомец Отто Энгельман.— Сушков закинул ногу на ногу; в надраенном голенище левого сапога отразился солнечный луч. — Не станете же вы отрицать, что настоящее имя вашего сообщника... Или кем он вам доводится? Словом, что имя у этого господина другое?

Роза молчала.

— Предупреждаю, фрау... Фрау — это теперь точнее, не так ли? Предупреждаю, фрау Люксембург тире Любек,

добровольное чистосердечное признание смягчит приговор суда.

«Очевидно, суда не миновать»,— подумала она.

— От дальнейших показаний я отказываюсь,— сказала Роза.

— Вот как! — На лице ротмистра мелькнуло разочарование, быстро сменившись кровной обидой: так преуспеть в начале дела и — на тебе! Отказывается от показаний... — Молчанием... — В его голосе зазвучали металлические нотки; ротмистр Сушков специально тренировался у себя дома, вырабатывая эти нотки; занятие, знаете ли, не из легких.— Молчанием, подследственная Люксембург, вы только усугубляете свою вину.

Роза с еле сдерживаемой улыбкой смотрела на обиженное лицо молодого жандарма.

— Конвой! Увести!

— ...Чеслава! Закрой меня от двери. Нужно написать срочное письмо.

— Я встану вот так, будто причесываюсь. Пиши быстрее!

«Милейший Карл! — летели строчки по плотной бумаге. — Только одна просьба: здесь сидит также корреспондент «L. V.», господин Отто Энгельман из Берлина (ты его знаешь: это тот блондин, который долгое время жил на Кранахштрассе). В случае, если редакция будет запрошена, соответствует ли это действительности, то пусть она подтвердит, что он действительно в качестве ее корреспондента несколько месяцев тому назад выехал в Варшаву (если запросят о том же под другим именем, пусть на всякий случай подтвердят и это). Я уже получила сведения о моей семье и очень сожалею, что она из моего случая делает такую трагическую историю и тревожит всех вас. Я вполне спокойна. Мои друзья настоятельно

требуют, чтобы я телеграфировала Витте и написала здесь германскому консулу. И не подумаю об этом! Эти господа могут долго ждать, прежде чем социал-демократка попросит у них защиты и права. Да здравствует революция! Будьте бодры и веселы, иначе я буду на вас серьезно сердиться. На воле работа идет хорошо, я уже читала новые номера газеты. Ур-ра!

Ваша от всего сердца Роза».

— Подследственная Роза Люксембург! С вещами! На выход!

«Переводят!..»

Сердце ее упало. Вчера вечером, на свидании, Якуб Ганецкий сказал: «Все готово для побега. Осталось несколько частностей. Завтра или послезавтра. Жди». Переводят... Куда?

...Вонючий полутемный коридор, раскрытые двери камер, толпятся заключенные; любопытные взгляды.

— Смотрите, девочки, политическую повели!

— Ясное дело, с таким носом только и заниматься политикой!

Роза невольно улыбается: «Мне бы ваши заботы».

Звук ключа, поворачиваемого в замке. Солдат с винтовкой. Металлическая дверь. Каменные влажные ступени вверх.

В маленькой комнате без окон, освещенной керосиновой лампой, два жандарма. Узел на столе.

— Одевайтесь!

Теплое пальто, шляпка, туфли, подбитые заячьим мехом...

«Из дома, от мамы!.. Значит, они знают, что меня переводят?»

— Выходите!

Ослепительный солнечный свет. Резкие весенние запахи. Закружилась голова.

— Скорее!

Крытая полицейская карета, выкрашенная черной краской.

Она садится на жесткую скамью, рядом, по бокам,— молчаливые жандармы.

Захлопывается дверца. Полумрак — на оконцах задернуты серые шторки.

— Трогай! — голос со стороны.

Карета дернулась, мягко закачалась на рессорах; глухо цокают лошадиные подковы.

— Куда мы едем?

Молчание.

— У вас что, господа, язык отсохнет, если вы скажете, куда мы едем?

Жандарм, сидящий справа, с удивлением покосился на нее, наморщил лоб, наконец сказал:

— В цитадель.

«Вот оно что!.. Значит, Десятый павильон Варшавской цитадели. Гордитесь, фрау Люксембург!..»

Память, будто и не прошли многие годы, мгновенно воскрешает январь 1886 года. Демонстрация студентов, гимназистов и рабочих у красной кирпичной стены цитадели. За ней завтра повесят пролетариатцев: Куницкого, Бардовского, Петрусиньского, Оссовского... Метель навстречу, снежинки тают на разгоряченных щеках, молодые лица, молодые голоса: «Мы с вами, братья!..»

...Роза крепко сжимает веки. Что же, она всегда знала, что так может случиться. Она готовила себя к этому.

...Колеса кареты загремели по круглым булыжникам; лошади перешли на тяжелый шаг. Начался подъем в гору.

«Подъезжаем к цитадели», — поняла Роза.

Карета остановилась. Невнятные голоса снаружи. Кажется, открывают ворота.

Проехали еще немного, остановились.

Распахиваются дверцы кареты, внутрь заглядывает

молодой офицер; она встречается с его взглядом, полным плохо скрытого любопытства.

— Прошу выйти! — говорит офицер по-русски.

Роза выходит. Офицер подает ей руку. Ну и ну!.. Как сияет солнце!.. Тюрьма в тюрьме: опять ворота, солдат с винтовкой в полосатой будке, высокий забор и колючая проволока поверху.

Офицер ведет Розу через калитку:

— Следуйте за мной!

Сзади топает молчаливый жандарм.

Длинное серое здание буквой «Г», два этажа, узкие окна. Тесный двор, весь вытоптанный (наверно, для прогулок?), два дерева. И в тюрьме растут деревья...

Они входят в длинную, плохо освещенную комнату, совершенно голую. За столом у стены сидит пожилой человек в штатском с обрюзгшим, болезненно белым лицом. Офицер подходит к нему, что-то тихо говорит довольно долго.

— В пятую камеру! — слышит она наконец бесцветный голос человека в штатском.

— Идемте! — говорит ей офицер. («Мой офицер»,— мысленно называет она его.)

Длинные коридоры; гулко отдаются шаги. Переходы с каменными крутыми ступенями. Опять коридор. Двери с крохотными оконцами, прикрытые сдвигающимися в сторону деревянными щитками. Двери, двери, двери с номерами. Кто сидит за ними? Может быть, за одной из этих дверей — Лео?

...Дверь с белым номером «5». Сопровождающий ее и офицера тюремщик со связкой ключей долго копается с засовом. Скрип железа.

— Входите! — Офицер пропускает Розу вперед.

«Вот я и «дома»...» — с горечью думает она.

Серые, кажется, в подтеках стены. Стол, табурет, железная койка, заправленная солдатским грубым сукон-

ным одеялом; параша в углу. Все как полагается. На столе лежит черная длинная юбка, полосатая кофта и из такого же полосатого материала шапка, похожая на берет.

— Переодевайтесь! Верхнюю одежду оставьте при себе. Для прогулок.

— Сколько времени длится прогулка? — спрашивает она.

— Ваш режим не в моей компетенции. — Роза чувствует: он хочет еще что-то сказать... Или ей надо спросить? Затягивается пауза. — На переодевание вам десять минут.

И «ее офицер» уходит. Кажется, она упустила какую-то возможность.

Роза смотрит на часы, подаренные Луизой Каутской при отъезде из Берлина (как давно это было! В каком-то другом, нереальном мире),— двадцать минут одиннадцатого. Еще утро.

Она переодевается в арестантскую одежду. Все неудобно, велико, юбка еле держится на бедрах.

...Розину одежду, схапав ее здоровенными ручищами, уносит тюремщик. Сохранит ли память его облик? Что-то безликое, некий символ, обозначение составной части механизма, именуемого Десятым павильоном Варшавской цитадели.

Роза подходит к окну. Надо приподняться на цыпочки, чтобы увидеть, что там, снаружи.

Двор... Понятно, тот самый двор, для прогулок. Совсем рядом с «ее» окном большое дерево. Интересно, что это за порода? Похоже на дикую грушу. Это прекрасно, что они тут растут, два дерева.

«А грушу...— думает она.— Пусть ты будешь груша. И тебя я буду называть: «Моя груша».

Итак, выработать тактику. И быть она может только одна — наступать.

Так-то, господин Сушков! Я буду на вас наступать. Кстати, и здесь вы будете мной заниматься? Или я уже передана другому? Лучше вы, ротмистр Сушков. Я уже к вам привыкла, и мне даже нравится, с каким увлечением вы играете свою роль. Что же, очень точно: «Cuique suum» *.

6

Шел день за днем, а ее не беспокоили, не вызывали на допрос. Монотонный режим; из библиотеки тюрьмы ей выдавали только бульварные романы, очевидно, других книг там не было; часовая прогулка; она попадала в тесный двор, к «своей» дикой груше, всегда одна.

«Наверняка,— думала она,— делают так нарочно, не хотят, чтобы я входила в контакт с другими заключенными».

Однако пора как-то наладить связь с волей. Что там? И что с Лео? Четвертый день я здесь или третий?.. Какие планы рушатся!

Роза потеряла сон. Лежала на жесткой койке с открытыми глазами, смотрела в густую темноту.

«Господи, как одиноко!..»

Внезапно вернулась зима: выпал снег, задул резкий ледяной ветер, ударил звонкий мороз, и в камере было холодно. Но Роза не мерзла: ее бил нервный горячий озноб, мучила неопределенность.

«Да что это они? Забыли обо мне?»

Наконец, загремев засовом, тюремщик открыл дверь:

— Роза Люксембург,— скучный голос.— На допрос. Следуйте за мной!

Ее ввели в небольшую комнату в голубых обоях, с мягкой домашней мебелью. На подоконнике стояла клет-

* Каждому — свое (*лат.*).

ка с канарейкой, веселый желтый комочек метался там, за мелкими железными прутьями, весело посвистывая. А из-за стола уже поднимался ей навстречу ротмистр Сушков, свежий, подтянутый, официальный.

— Доброе утро, фрау Люксембург,— сказал он буднично. — Садитесь.

Роза села в удобное кресло. Сушков внимательно рассматривал ее. Затягивалось молчание. В комнате было жарко, Роза посмотрела на закрытую форточку. Жандармский следователь проследил за ее взглядом.

— Да, сильно натоплено,— сказал ротмистр.— Одну минуту. — Он встал, открыл форточку. — О, на нашем календаре только кончилась зима. Знаете русскую поговорку? «Пришел марток — надевай двое порток». Извините, что звучит несколько вульгарно. — Он помолчал. — Вы неважно выглядите, фрау Люксембург. Да что там говорить, тюремная жизнь — не подарок. — И вдруг лицо ротмистра Сушкова волшебным образом переменилось: оно окаменело, застыли на нем решительность, твердость, непоколебимая воля добиться своего; «Вот она, его сущность»,— успела подумать Роза. — Итак, приступим. — Он нажал кнопку сбоку стола, и тут же в дверях возник пожилой человек с папкой в руке, сел за маленький столик у окна, вынул белые листы бумаги, в восковых длинных пальцах оказалась ручка.

— Вы готовы? — повернулся к нему жандарм.

— Так точно-с!

— Отвечайте на мои вопросы. — Ротмистр Сушков холодно смотрел на Розу. — Фамилия, имя, отчество?

— Да вам же известно! — изумилась она.

— Четко и коротко отвечайте на мои вопросы! — В голосе звучала жесткость.

— Люксембург-Любек, Роза Эдвардовна.

— Год рождения?

Последовало еще несколько анкетных вопросов.

— Подданство?

— Германское.

— Германское... — повторил в задумчивости ротмистр Сушков, пружинисто пройдясь по комнате. — Все эти дни, фрау Люксембург, не скрою, я занимался вами. Должен сказать, что уже одной вашей так называемой деятельности в Польше до эмиграции в Швейцарию вполне достаточно, чтобы передать дело в военно-полевой суд. Вот только несколько сдерживает германское подданство. Хотя, судя по всему, ваш брак с Густавом Любеком фиктивный, не так ли? Ведь вы не живете со своим супругом, или я ошибаюсь? — Роза молчала.— Хорошо, оставим пока сей предмет.— Он остановился рядом; ротмистр Сушков благоухал дорогим одеколоном. — Изъятые у вас материалы при обыске в пансионе графини Валевской красноречиво свидетельствуют... Или не так. — В голосе жандарма зазвучал пафос. — Слушайте вопрос, фрау Люксембург, внимательно и отвечайте четко. Признаете ли вы себя виновной в преступном участии... — Перо писаря скрипело по бумаге. — ...в сообществе, именующемся Социал-демократией Королевства Польского и Литвы?

— Нет, не признаю. Я являюсь членом Социал-демократической партии Германии и прибыла в Польшу в качестве корреспондента берлинской газеты «Форвертс».

— Слышали, слышали... — По лицу Сушкова блуждала улыбка. — Я улавливаю ход ваших рассуждений. Однако, фрау Люксембург, должен вас огорчить: вы напрасно рассчитываете на помощь из Германии. Не очень-то вас там привечают. Скорее наоборот. Вот, не угодно ли ознакомиться? Газета «Ди пост», тоже, замечу в скобках, берлинская. Тут вашей особе посвящены статьи в нескольких номерах. Извольте! — В его руках замелькали газеты.— Семнадцатое, девятнадцатое, двадцать третье, двадцать четвертое марта. С вашего разрешения, пару выдержек. Вот. — Читал он медленно, аккуратно

произнося немецкие слова: — «Если кровавой Розалии так по душе Россия, то пусть она туда и отправляется». Каково! Не стесняются господа журналисты, ваши коллеги, в выражениях. Или вот еще. — Ротмистр прочитал с выражением: — «Мы в Германии можем радоваться, что отделались от нее столь удачным образом». Имеется в виду ваш арест в Варшаве,— было объяснено с удовольствием.— Затем здесь всяческие эпитеты... — Сушков зашуршал страницами газет.— Парочку для примера, не возражаете? Пожалуйста! «Ужасно ядовитая дама», «бешеная революционерка»... Впрочем, может быть, желаете взглянуть сами?

— Я желтой прессы не читаю.

— Естественно. Вы читаете красную прессу,— ротмистр Сушков с удовольствием гулял по комнате. — Так что, фрау Люксембург, на Германию нам с вами уповать не приходится. Не лучше ли предстать перед судом любезного отечества и вести себя благоразумно? Посему... Повторяю вопрос: признаете ли вы себя виновной в... участии в сообществе, именующемся Социал-демократией Королевства Польского и Литвы?

— Я уже ответила на ваш вопрос: не признаю.

У ротмистра Сушкова нервно дернулся край рта.

— Ну, хорошо-с... Мы еще вернемся к этому обстоятельству. Следующий вопрос, фрау Люксембург. Учтите, от честного ответа на него зависит ваша участь. Так вот... Нами установлено... Мною установлено, что ваш сообщник Отто Энгельман, так называемый корреспондент газеты «Лейпцигер фольксцайтунг», не кто иной, как революционер и террорист, член той же партии...

«Спокойно, спокойно... Только не хватает грохнуться в обморок. Смотри ему в глаза! Прямо смотри ему в глаза! И слегка улыбнись. Вот так, хорошо. Молодец!..»

— ...от принадлежности к которой вы отказываетесь, и настоящее имя его — Лео Иогихес, он же Грозовский,

он же Ян Тышка, коего давно разыскивает полиция. — Ротмистр Сушков, не отрываясь, смотрел в ее лицо; тень разочарования мелькнула во взгляде и тут же улетучилась. — Подтверждаете ли вы, фрау Люксембург, что настоящее имя вашего... Как бы поделикатнее выразиться? Настоящее имя вашего друга — Лео Иогихес? Псевдонимы опустим.

— Имя того человека, которого вы арестовали вместе со мной,— Отто Энгельман, и он является корреспондентом газеты «Лейпцигер фольксцайтунг»!

— Понятно... И все-таки вы будете говорить мне правду! — Голос жандарма взвинтился, пикой взлетев к потолку. — Следующий вопрос будет такой...

— От дальнейших показаний я отказываюсь.

— Ах, так!..— Сушков быстренько пробежался по комнате. Опять что-то обиженное, мальчишеское появилось в его облике. Он остановился перед Розой, дыхание его участилось. «Переживает, бедняга. Ничего. Ты же любитель русских поговорок. Взявшись за гуж...» — Я... я заставлю вас говорить правду! — Ротмистр взял себя в руки, медленно подошел к столу, нажал кнопку.

Появился тюремщик.

— В камеру,— спокойно сказал жандарм.

...В этот день ее не вывели на прогулку. Унесли зачитанный до дыр роман «Грезы Изабеллы» (автора установить не удалось, так как ни обложки, ни титульного листа не было), и больше книг она не получила. На все ее недоуменные вопросы тюремщик, приносивший скудную еду — впрочем, для нее это не имело никакого значения: давно пропал аппетит,— не отвечал.

На следующий день все повторилось.

На третий день ее вызвали на допрос.

В комнате с канарейкой ротмистр Сушков, не поднимаясь из-за стола, молча кивнул на стул. Роза села.

— Я дал вам подумать,— без всякого выражения, даже с неохотой сказал жандармский следователь. — Вы мне должны правдиво ответить только на два вопроса: признаете ли вы себя членом...— он поморщился,— партии Социал-демократия Королевства Польского и Литвы, более того, признаете ли вы свою принадлежность к руководству этой партии. Видите, фрау Люксембург, и это мне известно. Для того чтобы поставить точку, нужно ваше формальное «да». Таков первый вопрос. Второй: подтверждаете ли вы, что настоящее имя Отто Энгельмана — Лео Иогихес? Отвечайте! — вдруг заорал ротмистр Сушков.

«Что же, пора»,— подумала Роза.

— Учтите, фрау Люксембург,— снова спокойно заговорил Сушков,— усиление режима — это только первая мера. У нас есть и карцер, и еще кое-что. Мы умеем развязывать языки. Так вы будете говорить? — Он даже улыбнулся.

— Да, я буду говорить.

— Прекрасно-с! Прекрасно-с, фрау Люксембург! Я не сомневался, что мы...

— Слушайте меня внимательно, господин жандарм,— перебила его Роза. — Я требую, чтобы мне немедленно возвратили прогулки. Я требую, чтобы мне в камеру доставили книги по списку, который я дам, а также бумагу, чернила и ручку. Я требую...

По мере того как Роза говорила, изумление на лице ротмистра сменялось растерянностью, непониманием, что же происходит, яростью.

— ...чтобы были разрешены свидания с моими родными, а также со всеми, кто ко мне придет.

— Все? — выдохнул ротмистр Сушков.

— Все,— невозмутимо ответила Роза.

— И вы... вы осмелились! — Сушков, бедняга, совсем задохнулся.— Вы...— Нужные слова не находились.

— Значит, вы мне отказываете в моих требованиях? — спокойно спросила Роза.

— Отказываю! — гаркнул ротмистр Сушков. — Трижды отказываю! А вы что? — Усилием воли жандармский следователь подавил гнев. — Сомневались?

— В таком случае,— сказала Роза,— я объявляю голодовку.

— Что?!

— Я объявляю голодовку до выполнения всех моих требований.

Сушков нажал кнопку. Появился тюремщик.

— Увести!

Уже в открытой двери ее настиг крик жандармского следователя:

— Я посмотрю, насколько вас хватит! Голодовка в Десятом павильоне!.. Ну, господа социал-демократы...

Голодовка...

И к этому она готовила себя. Морально. Что же, настало время проверить себя на практике и в этой ситуации.

Первый день прошел медленно, час тянулся за часом. Голода она не ощущала, только к вечеру появился сладковатый привкус во рту. Тюремщик принес ужин, через положенные пятнадцать минут вернулся за посудой — еда была не тронута. Забирая тарелки, тюремщик удивленно хмыкал, качал головой.

Настала ночь. Сна не было. Она лежала на койке в кромешной темноте, только окно смутно белело — там, во дворе, царствовала внезапно вернувшаяся зима. Нет, не заснуть...

Что же, подведем некоторые итоги. Значит, в руках следствия все ее революционное прошлое до эмиграции. Интересно, что там, в деле, кроме показанного Сушковым?

Надо попытаться представить, что попало к ним в ру-

ки после обыска в пансионе Валевской. Много... Слишком много. Печатные материалы трех социал-демократических партий — России, Польши, Германии и мелкобуржуазные издания, затрагивающие проблемы рабочего движения и польский вопрос, печатные и рукописные воззвания и листовки, суть которых можно суммировать одной фразой: «Да здравствует революция!», корректура статей для «Червоного штандара», рукописи, присланные ей для прочтения и редактирования (вполне понятно, каково их содержание). Письма Каутского, Клары, Меринга... И ее рукописи, и законченные, и недописанные...

Однако дальше Роза не могла сосредоточиться на материалах, попавших в руки следствия,— мысли нетерпеливо хлынули в новое русло.

Какие планы нарушил арест! И главное, главное!.. Теперь она наверняка не попадет на Объединительный съезд русских социал-демократов. Как она рвалась на него!.. Ринуться в бой с меньшевиками, которые в решающие дни революции внесли раскол и путаницу, встретиться с Лениным.

И вот — Десятый павильон, камера номер пять, полная изоляция от мира. Голодовка.

Что же, только так: требовать, наступать. Сейчас, кроме голодовки, у нее нет другого оружия борьбы с ними. И товарищи там, на воле, и в Варшаве, и в Берлине, наверняка не сидят сложа руки.

...Нет сна.

Уже утро серой мышью проникло в окно. Отодвигается засов, в двери тюремщик:

— Завтракать!

Она отворачивается к стене. Вот оно, сосущее чувство голода. Хочется вскочить и наброситься на все, что там, в оловянных тарелках. Кажется, пахнет вареным картофелем. Ах, как мама готовит оладьи из натертой

картошки, на подсолнечном масле. Роза судорожно проглатывает комок густой слюны.

К черту!

Думать о другом. О чем?

Их с Лео поездка в Силезию, на лесной хутор к Ягоцким...

...Дорога с глубокими колеями, по бокам молодые, прогретые солнцем сосняки, и густо, дурманно пахнет смолой, земляникой (если набрать полную горсть темно-красных, переспевших ягод, поднести их к лицу, то прямо можно задохнуться от сладостного аромата); вырубки заросли целыми плантациями иван-чая, и кажется, будто фиолетовое налито среди зеленого и серого. Пересвистываются птицы; желтая бабочка порхает над травой. «У меня в детстве была своя бабочка, принесшая мне счастье». Телегу плавно покачивает на ухабах, молчаливый возница, крестьянин с заросшим, обветренным лицом, подстегивает кнутом лошадь, и обиженная кобыла пегой масти отвечает недовольным фырканьем. Лео, босой, в белой рубашке с расстегнутым воротом, лежит на свежем сене, покусывает травинку, спутались светлые волосы на загорелом лбу. Они идут по лугу, на котором еще не высохла утренняя роса. Ромашки, ромашки, ромашки...

— Обедать!

Ну вот... Серые стены, белое от снега окно, взятое в решетку, запах перлового супа, толстый ломоть черного хлеба. Лицо тюремщика, на котором тень сочувствия.

Она крепко сжимает веки.

...Ромашки стегают по ногам. Мохнатый шмель жирно, аппетитно жужжит над цветами. Невидимый жаворонок над головой. Лео подхватывает ее на руки, кружит по полю, и у Розы белое мелькание в глазах.

Звук алюминиевых тарелок, скрежет засова в двери.

Он уносит, уносит еду!..

Она лежит с закрытыми глазами.

Слабость, кружится голова. И уже нет этого сосущего чувства голода. Только все время рот наполняется липкой слюной, и надоедает глотать ее.

Звон в ушах.

Спать хочется...

Она спит, спит. Или не спит? В ее комнату приходит девочка Юдифь из детства, приносит сладкий пирог, обсыпанный сахарной пудрой, они отламывают по большому куску, едят, едят и не могут насытиться.

Оказывается, уже ночь.

Нет, утро: грохот засова, алюминиевые тарелки. Мясо, неужели вареное мясо?..

Лицо стражника, озабоченное.

— Завтрак. Поешьте. Нельзя же так! Третий день...

Роза отворачивается к стенке.

Сейчас, сейчас...

...Лесной хутор Ягоцких был старый, ветхий, и жили там старики, Казимир Ягоцкий и его жена Анна, Анита, как все называли ее.

Деревенский дом, темные бревенчатые стены, пахнет мятой; в комнате после яркого летнего дня прохладный сумрак; овод с гудением летает под потолком, громко ударяясь о стены и от каждого удара обиженно умолкая. На длинном столе из толстых досок в глиняном кувшине огромный букет ромашек и васильков. Это Лео нарвал для нее. Они сидят за столом уставшие, голодные, только что вернулись из леса, бродили по зеленым влажным просекам с самого утра. О, эта сладкая усталость, истома, сознание, что нет неотложных дел, ничего не требуется срочно писать; чувство голода как после физического труда... И Лео рядом. Можно протянуть руку и погладить его по небритой щеке. Старая Анита приносит ее любимое польское блюдо — голенки, отварные свиные ножки, и к ним дымящийся рассыпчатый картофель, за-

сыпанный хрустящим жареным луком, ставит в крынках холодную простоквашу...

— Я не буду есть! — говорит Роза, отворачиваясь к серой холодной каменной стене.

«Надо, надо поесть»,— говорит ей Лео и трясет ее за плечо.

Роза приподнимает голову, открывает глаза и первое, что видит,— прядь седых волос на плече.

«Я седая? Когда я успела поседеть?..»

Вечер в пятой камере, ужин на столе. Тюремщик. Открыта дверь, и там, в коридоре, толпятся люди. Невнятный говор. Мелькает лицо ротмистра Сушкова.

А над ней склонился человек в белом халате. Вполне интеллигентное лицо и пенсне, как у брата Юзефа. Понятно, тюремный врач. Так, и что же дальше? Фу! Какой звон в ушах... Роза трясет головой, пытаясь избавиться от этого невыносимого звона.

— Негоже, сударыня! — Голос у врача басовитый, неофициальный, почти дружеский.— Эдак вы совсем подорвете свое здоровье, организм у вас и по первому взгляду не из богатырских. Рекомендую, усиленно рекомендую поужинать.

— Пока не будут удовлетворены...— «Батюшки! Да что же это с голосом? — со страхом думает она.— Меня совсем не слышно». Роза приподнимается на локтях, и сразу кружевная рябь возникает в глазах. Она откашливается.— Пока не будут удовлетворены все мои требования, я отказываюсь от еды.

Роза Люксембург отворачивается к стене. И горько улыбается сухими губами. «Моя стена. Я с тобой, можно сказать, сдружилась».

...Прошло шесть дней голодовки.

Утром седьмого дня вместе с тюремщиком в камере появился ротмистр Сушков, непроницаемый, застегнутый на все пуговицы.

— Ваши условия приняты,— холодно, без всякого выражения сказал он.— Учтите, не моей властью. Будь моя воля!..— сорвался он, но тут же сдержал себя.— Сейчас я провожу вас на свидание с братом.

Роза шагнула к двери, по ее повело в сторону, и пришлось опереться на стол.

— Постойте! Сначала — завтрак. Манная каша и стакан молока. По распоряжению врача. Пока другого нельзя.

Она не почувствовала вкуса ни молока, ни каши. В желудке возникло ощущение ожога, лицо покрылось потом.

— Посидите спокойно несколько минут,— сказал ротмистр.— Сейчас пойдем.

...Он вел ее в комнату для свиданий по длинному коридору, мимо закрытых дверей камер с белыми номерами, не вел — почти нес: ее качало от слабости. В сознании Розы бушевали вихри и оркестры: «Победила! Победила!»

7

Она победила!

И теперь могла сказать себе: «Я победила себя, свои сомнения, свой слабый организм, чувство безнадежности. Значит — могу!..»

Через два дня вместе с тюремщиком появился «ее офицер» — та же сдержанность, подтянутость, внимательный, изучающий взгляд.

— Здравствуйте, пани Люксембург.

— Здравствуйте.

— Сегодня я буду сопровождать вас на свидание с...— он помедлил,— ...одним вашим другом. И на прогулку.

Пока они шли по коридору, «ее офицер» тихо сказал:

— Запомните, я дежурю через день.

Она еще не все понимает... Но осмыслить сказанное офицером некогда: они входят в комнату для свиданий.

— Роза! Роза!..— К ней бросается Якуб Ганецкий.— Что они с тобой сделали!..

— Это я сама сделала,— смеется она.

— Господа! — спокойно, даже холодно говорит «ее офицер»,— я оставлю вас. В вашем распоряжении... Впрочем, стукните мне в дверь, я — в коридоре.

И он, нарушая железное правило Десятого павильона (все свидания происходят при служащих тюрьмы), выходит из комнаты.

— Ну, Якуб, говори...

Поток новостей обрушился на Розу.

Значит, продолжает выходить газета, срочно требуются ее статьи. Будут! Будут! Что? Эта кипа газет, книг, рукописей для нее? По списку, который она вручила ротмистру Сушкову? Чудеса...

— Все материалы будут передавать тебе во время дежурства Любимова...

— Этот молодой офицер? — нетерпеливо перебивает она.— Он что, наш?

— Он нам сочувствует.

— А что в Петербурге, когда съезд?

...Оказывается, Объединительный съезд РСДРП состоится в ближайшее время. Значит, она не попадет... Наша делегация уже намечена? Кто? Адольф Варский, Феликс Дзержинский, ты, Якуб... Хорошо! Необходимо выработать декларацию и условия объединения. Сегодня же она засядет за тезисы. Тезисы... Это все, что она может сейчас...

— Помни, Якуб, на съезде мы должны поддерживать большевиков по основному вопросу: в революции — курс на свержение самодержавия. Руководящая роль пролетариата в революции бесспорна! Здесь большевики пра-

вы. Думу — бойкотировать... Господи! Никак не прорвусь с главным вопросом: что Лео? Где он?

— Лео опознан окончательно. Помогла берлинская «Ди пост». Следствие подняло все старые материалы. Установлен факт его дезертирства из армии, нашли прежний приговор. Суда не миновать. Мы уже обдумываем план побега после приговора.

Свет померк в глазах. Праздник рухнул. Лео в их руках...

— Все будет хорошо, Роза. И ты, и Иогихес обязательно будете на воле. И поэтому слушай внимательно. Мы готовим твое освобождение. Сделана ставка на товарища прокурора Александра Чеховского, представляющего государственное обвинение.

— В каком смысле ставка? — опешила она.

Якуб засмеялся и пропел:

— «Люди гибнут за металл»!

Она не успела узнать подробности: открылась дверь, вошел «ее офицер», сказал, сев на табурет:

— Господа, переходите на нейтральные темы. Идет комендант тюрьмы.

— Договорим послезавтра,— заспешил Якуб,— прежде всего, Роза, статьи для «Червоного штандара».

Когда «ее офицер» вел Розу обратно в камеру, она спросила в лоб:

— Господин Любимов, вы — социал-демократ?

— Нет! — тихо, но резко ответил он.— Я не разделяю ваши ультралевые взгляды, я против революционного насилия...

— Вы знаете другой путь к свободе? — перебила Роза.

— Пани Люксембург, дискуссии между нами не будет.— В голосе были спокойствие и выдержка.— Но знайте одно: есть в России и другие партии, которым ненавистно самодержавие. И здесь мы с вами солидарны.

Ах, ей положительно нравился этот молодой русский

офицер! Дней бы десять общения, откровенных разговоров, и она обратила бы его в социал-демократическую веру.

...Замелькали дни.

Роза набросилась на работу, как жаждущий на холодный источник. Она до изнеможения писала статьи для польских газет, цикл статей «Что дальше?», листовки, тезисы. Она обрушивалась на путаные материалы о революции, рождающиеся под нервными перьями некоторых борзописцев из Польской социалистической партии, и всячески поддерживала тех журналистов из левого крыла ППС, которые ратовали за союз с русским пролетариатом. И еще она писала для Германии. Хотя все ее помыслы в ту пору были обращены к польским и русским проблемам, Роза не могла забыть оставленных в Берлине дел. На примере русской революции она стремилась показать лидерам германской социал-демократии, все глубже погружавшимся в «болото» мирного развития социализма, предложенного Бернштейном, что революционный взрыв в социально-психологическом плане дал бы немецкому пролетариату лишь за один год столько же, сколько за тридцать лет парламентской и профсоюзной деятельности.

Да, в ту пору ее остро занимала проблема народных масс, их роли в революции; на примере Московского вооруженного восстания и событий в Варшаве и Лодзи Роза пришла к окончательному выводу, что живая действительность не соответствует тем теоретическим схемам, к которым привыкли во Втором Интернационале многие лидеры западных стран.

...Она писала, писала. Как ей работалось! Перо не успевало за вихрем мыслей. Правда, окончательно исчез сон, неважно было со здоровьем. Но как все это ничтожно рядом с теми делами, в центре которых она оказалась!

Состоялся Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП (без нее!..), и на нем Социал-демократия Королевства Польского и Литвы стала составной частью РСДРП. В состав Центрального Комитета РСДРП от поляков позже были введены Варский и Дзержинский. Наконец-то реальностью стало то, за что долгие годы боролась Роза Люксембург: истинные социал-демократы Польши в одной партии с российскими социал-демократами.

Все было отлично. Кроме здоровья. По утрам ей все труднее стало вставать с койки. Ничего! Усилие. Одно волевое усилие. Сесть за стол, окунуть перо в чернильницу, написать первую строку...

...Странным образом изменился ротмистр Сушков. Роза по-прежнему вызывалась на допросы, но они стали какие-то формальные, скучные, потеряли остроту. И внешность ротмистра Сушкова разительно переменилась: исчезли его пружинистость, рвение, он увял, поблек, почему-то не смотрел ей в глаза; и подворотнички стали грязными, не сияли сапоги. А однажды жандармский следователь явился на допрос явно с тяжелого похмелья, с небритым, помятым лицом, с синевой под глазами, от него разило перегаром.

— Ох и надоели же вы мне, фрау Люксембург! — сказал он, опускаясь в кресло.

И началось переливание из пустого в порожнее.

Да что это, в самом деле?

На очередном свидании она рассказала Якубу Ганецкому о невероятных метаморфозах, происшедших с ротмистром Сушковым.

— Все очень просто,— усмехнулся Якуб.— Твой опекун получил две тысячи и теперь честно выполняет поставленную перед ним задачу: нейтрализовать дело, держать на «мертвой зыби». Так это, оказывается, называется на языке профессионалов.

«Да,— думала Роза,— господа сушковы ретивы из

корысти. Кто больше платит. Усердие за рубли. Нет принципов — вот в чем дело...»

...Он вошел в камеру один, опять, похоже, с похмелья, растрепанный какой-то, с блуждающим взглядом.

— Приготовьтесь, фрау Люксембург.— Он рассматривал букет сирени на ее столе.— К вам целая толпа эскулапов. Медицинское освидетельствование.

На дворе уже стоял теплый солнечный май, и за окном доцветала «ее» дикая груша, усеяв все вокруг белыми лепестками.

В открытой двери стояли люди в белых халатах.

И Роза почувствовала, что находится на пороге решающих перемен в своей судьбе.

8

В то время, пока Роза Люксембург сидела в камере номер пять Десятого павильона Варшавской цитадели, в Берлине и в Варшаве шла напряженнейшая работа. Немецкие и польские друзья осуществляли детально разработанный план освобождения Розы.

27 мая (9 июня) 1906 года на стол пред изумленными очами тюремных чиновников лег документ, подписанный видными медицинскими светилами Варшавы, в котором говорилось, что у обвиняемой Розалии Люксембург-Любек обнаружен ряд серьезных заболеваний: «выдающееся малокровие, расстройство зрения, повышенная реактивность правой части головы, лица и груди, обнаружены боли в сердце, а также сердцебиение, бессонница, катар желудочно-кишечного тракта и увеличение печени».

Все это, глядя на изможденную подсудимую, следовало признать за правду. Изумили и даже повергли в смятение тюремное руководство заключительные слова этого редкостного документа: «Ввиду этого необходимо

лечение минеральными водами, ваннами при условии соответствующей гигиенической и диетической обстановки. Желательно, чтобы лечение могло быть предпринято в скором времени».

Ну и наглость! Такого еще не бывало в Десятом павильоне!

Между тем события развивались стремительно, и вскоре тюремщики и жандармы почувствовали в них некую единую целенаправленную волю, похоже, исходящую откуда-то «сверху».

Еще не миновал шок от «заключения медицинского освидетельствования», как через два дня, то есть 29 мая (11 июня), начальник варшавского губернского жандармского управления получил ходатайство, аккуратно написанное на глянцевой голубоватой бумаге:

«Предлагаю Вашему превосходительству ввиду болезненного состояния обвиняемой Розы Люксембург войти в ближайшее обсуждение вопроса о возможности, по обстоятельствам дела, принять против нее меру пресечения, не сопряженную с лишением ее свободы. Желательно получить ответ незамедлительно.

За прокурора *А. Чеховский*»

В тот же день прокурору Варшавы было вручено прошение от Юзефа Люксембурга с просьбой об освобождении сестры под залог «в связи с критическим состоянием здоровья» до окончания следствия.

Все было разыграно в буквальном смысле слова по нотам.

Еще некоторое время ушло на переписку руководства Десятого павильона (тут тоже кое-кому через подставных лиц было «дано в лапу») с товарищем прокурора варшавского окружного суда Чеховским, и результатом последней было постановление, в котором говорилось, что ввиду плохого состояния здоровья Роза Люксембург освобождается под залог в три тысячи рублей.

15 (28) июня указанная сумма (деньги на операцию по освобождению Розы были собраны руководством СДКПиЛ путем частных займов) была внесена братом подследственной Максимилианом Люксембургом.

В тот же день, дав подписку о невыезде из Варшавы до окончания следствия, Роза вышла на свободу.

За воротами цитадели ее встречали друзья и родные. В первые мгновения она ничего не видела от непрошеных слез и ослепительного сияния летнего дня.

Свобода!.. Какое могучее слово, сколько всего заключает оно в себе! Нет, наверно, понять, осознать это может только тот, кто дышал затхлым воздухом неволи, кто смотрел на мир через квадраты тюремной решетки или переплетения колючей проволоки.

...Немецкие товарищи требуют немедленно прибыть в Германию — скоро съезд партии в Мангейме, на нем предстоят дебаты о массовой стачке, кому, как не ей, выступить там: в ее руках опыт русской революции.

В Варшаве говорят: «Оставайся в Польше, уйдешь в подполье, мы тебя надежно укроем, а работы — ты знаешь — горы».

Да, все это так.

Но сначала... Надо подвести черту в одном принципиальном деле. Она должна поехать...

5 июля 1906 года Роза Люксембург пишет в Берлин Эммануилу и Матильде Вурмам: «Настоящее великолепно, то есть я называю великолепным такое время, которое выдвигает массу проблем, и при этом огромных проблем, и стимулирует мысль, вызывает страсти, а прежде всего является плодотворным, все время чем-то чреватым, все время что-то производящим на свет и после каждых родов еще более «беременным», и при этом родит

оно не дохлых мышей или же дохлых комаров, как в Берлине, а настоящих гигантов, как, например: гигантские преступления (читай правительства), гигантские конфузы (читай Дума), гигантские глупости (читай Плеханов и К°) и т. д.».

Да, да, в России сейчас происходят главные события...

Однако первая стратегическая задача — избежать суда. В ходе следствия складывалась ситуация, грозящая Розе ссылкой в Сибирь. Хотя президент полиции из Берлина на запрос варшавского прокурора подтвердил, что Роза Люксембург, выйдя замуж за Густава Любека, получила германское подданство, генеральный консул русского посольства в немецкой столице право на это гражданство оспаривал, так как, утверждал он, по российскому законодательству гражданский брак не дает изменения подданства. Следовательно... Шла деятельная переписка инстанций Варшавы, Петербурга и Берлина. Тучи сгущались...

Надо форсировать события.

И решено было идти по проторенной дорожке. Произошли неофициальные встречи польских революционеров с товарищем прокурора Александром Чеховским и ротмистром Сушковым. Естественно, с каждым в отдельности. В дорогих ресторанах, в интимной, размягчающей обстановке, за шампанским и заливной белугой, в неторопливой беседе, в разговоре о том о сем, о гастролях пражской оперетки, о ставках на бегах, о панике на бирже в связи с беспорядками на сибирских золотых приисках. И, между прочим, о деле потолковали. Беседа была запита черным кофием с коньяком; расстались стороны дружески, вполне удовлетворенные приятным времяпрепровождением. Во внутренних карманах цивильного суконного пиджака и жандармского кителя ощущалась приятная тяжесть от конверта с крупными купюрами.

5(18) июля на прошение Розы Люксембург о выезде на лечение на карлсбадские воды, к которому было приложено еще одно медицинское освидетельствование, скрепленное подписями медицинских светил, была размашисто наложена следующая резолюция: «Со стороны дознания препятствий на выезд Розы Люксембург за границу не имеется». И стояла подпись дружного дуэта: «За прокурора А. Чеховский. Ротмистр Сушков».

Еще некоторое время ушло на всяческие формальности.

И вот 19 июля (1 августа) на Виленском вокзале друзья провожали Розу Люксембург в дальнюю дорогу. Впрочем, теперь имя ее было Фелиция Будзилович — документы на имя этой особы лежали в кожаной сумочке неутомимой путешественницы. Роза была оживлена, счастлива, глаза ее сияли. И причиной тому было не только предстоящее странствие. Буквально за час до отъезда она узнала новость, до краев наполнившую ее ликованием: Лео Иогихесу, получившему по суду восемь лет каторги, удалось бежать из-под стражи.

Лео тоже на свободе!

...Был дан третий звонок. Гудок паровоза перекрыл гомон толпы на перроне.

Роза стояла в дверях вагона в новом дорожном платье, в шляпке с большими полями, с букетом красных гвоздик в руке.

Двинулся поезд, загрохотали колеса.

— До свидания, Рузя! — Якуб Ганецкий махал ей рукой.

— Мы тебя ждем! — Феликс Дзержинский сдержанно улыбался.

— Мы тебя любим!..— Юлиан Мархлевский поднял шляпу.

Она крикнула им, своим верным друзьям и соратникам, сквозь шум набирающего скорость поезда:

— До встречи на баррикадах!

Нет, ее путь лежал не в благословенную Чехию, не к целебным живительным водам Карлсбада...

Уже завтра она будет в Стокгольме, потом в Финляндии и — Петербург.

9

Дача стояла на краю спуска к морю, и поверх зеленых макушек деревьев была видна серая гладь Финского залива, сейчас подкрашенная розовыми полосами, близок был вечер, августовский, уже с явно ощутимой осенней прохладой.

Роза Люксембург, кутая плечи в теплый шерстяной платок, стояла на высоком крыльце, смотрела на залив, вдыхала свежий йодистый воздух и вся была полна нетерпением — скорее бы он появился.

— Роза Эдвардовна! — послышался с веранды женский голос.— Вы простудитесь! И — не волнуйтесь. Владимир Ильич — человек точный.

— Эта дача Ваза, где он остановился,— нетерпеливо спросила Роза,— далеко?

— Рядом. Да идите же сюда! Я налила вам чаю.

Роза вошла на застекленную террасу, села в плетеное кресло. На столе пел самовар, в вазочках были варенья разных сортов, янтарный мед; высокая женщина с чистым спокойным лицом резала тонкими дольками лимон, потом подняла на Розу внимательный, изучающий взгляд, сказала:

— Я обязательно напишу ваш портрет.

Роза засмеялась:

— Я доставлю вам много хлопот, Екатерина Сергеевна. Я нетерпеливая, а позировать — это ведь терпение?

— Ничего. Мне не надо позировать.— Женщина все смотрела на Розу.— Сегодня я наблюдала, как вы рабо-

таете. Мне вполне достаточно. Ведь вы и завтра продолжите свою работу?

— Да.

— Кстати, Роза Эдвардовна, что вы пишете? Если не секрет, конечно.— Женщина сдержанно улыбнулась.

— Секреты от вас, Екатерина Сергеевна! — Роза даже всплеснула руками.— Еще в Питере начала брошюру. Пока назвала так: «Массовая стачка, партия и профсоюзы». Два адреса: поляки и немцы. Опыт русской революции. Да все было некогда, спешка, встречи. Десять дней в Питере и, представьте, написала всего восемь страниц.

— А у меня тут поспокойней,— сказала женщина.— Никто вас отвлекать не будет.

— Спасибо.

...Роза жила в Куоккала, на даче, которую снимала художница Екатерина Сергеевна Зарудная-Кавос. Они познакомились в Петербурге, на Крестовском острове, в доме номер шесть по набережной реки Средней Невки, который принадлежал известному театральному антрепренеру Родэ, «папе Родэ», сочувствующему большевикам: он для конспиративных встреч предоставил им пустующую квартиру. На этой квартире и произошла встреча Розы Люксембург с Лениным. Было много народу, споров, шума, поговорить с Владимиром Ильичем подробно, долго, как хотелось, Розе не удалось... На этой встрече была Екатерина Сергеевна, и, отведя Розу к окну, за которым никак не могла погаснуть белая петербургская ночь, она сказала: «Я устрою вам встречу у меня на даче. Владимир Ильич тоже очень хочет повидаться с вами для обстоятельного разговора. Мне сказала об этом Надежда Константиновна. А здесь, в Питере, я предлагаю вам пожить у меня».

Роза пила крепкий чай. Долька лимона в чашке стала коричневой. Мед, намазанный на ломоть теплого бе-

лого хлеба, пах луговыми цветами. За открытой дверью белело небо; порыв ветра, нежно задев крылом ее лицо, принес явственный запах увядания.

...Десять дней в Петербурге. Роза воспользовалась гостеприимством Екатерины Сергеевны: все эти дни жила в ее квартире на Каменноостровском проспекте, в доме номер 24-а. Ее ошеломила северная русская столица своим надменным величием, роскошью дворцов, прозрачностью ночей, обилием каналов, широтой и мощью Невы, закованной в гранитные набережные. И — главное, главное! Она дышала воздухом революции, видела демонстрации рабочих, встречалась со множеством людей, вникала в суть споров и разногласий. Она писала тогда Каутским в Берлин: «Мое пребывание здесь для меня очень полезно: в общении с людьми я знакомлюсь с движением так, как этого нельзя сделать, пользуясь одной только литературой...» Она все больше убеждалась в том, что поняла, осознала еще в Варшаве, находясь в заключении: меньшевики — могильщики революции, именно пролетарской революции, они проводники буржуазной тактики и глашатаи ее идеалов... Ей удалось даже встретиться в тюрьме с меньшевистскими лидерами Дейчем и ее бывшим другом Парвусом накануне их отправки в ссылку, в Туруханск, и нерадостной была эта встреча, закончившаяся непримиримым расхождением во взглядах. Да, меньшевики, которые в ту пору преобладали в Центральном Комитете РСДРП, вносили в движение путаницу и хаос; имея в виду их деятельность, Роза Люксембург писала Каутским: «Меня чрезвычайно обескуражило общее впечатление растерянности, дезорганизации и прежде всего путаница в понятиях и тактике. Ей-богу, революция велика и могуча, только бы социал-демократия ее не погубила». Да, революция продолжалась. 8 июля была распущена первая Государственная дума, в стране возник политический кризис; с новой

силой вспыхнули споры между большевиками и меньшевиками о тактике текущего момента. С 17-го по 20 июля одно за другим вспыхнули восстания в армии и флоте — в Свеаборге, Кронштадте; близ Ревеля флаг революции поднял крейсер «Память Азова». В Петербурге 21 июля по призыву Петербургского комитета РСДРП началась забастовка в знак солидарности с восставшими матросами и солдатами, на которых обрушились беспощадные репрессии. 24-го она перекинулась в Москву.

...Сегодня ее душа переполнена тем состоянием, тем высоким героическим опытом, который скоро, в сентябре, в Майнгейме на народном собрании позволит ей сказать: «Могу вас без всякого преувеличения заверить, что те месяцы, которые я провела в России, были самыми счастливыми в моей жизни». Говоря так, она имела в виду не только Петербург, но и свое пребывание в Варшаве.

— Роза Эдвардовна, вы здесь, в Питере, встретились с Владимиром Ильичем впервые?

— Нет. Лично мы познакомились в 1901 году, летом, если память мне не изменяет. Это было в предместье Мюнхена, в Швабинге. Тогда Ленин был поглощен редакционными делами: один за другим выходили первые номера «Искры». И встреча наша была тоже короткой, даже мимолетной.

На дорожке к веранде послышались легкие быстрые шаги.

— А вот и он,— сказала Екатерина Сергеевна.— Легок на помине.

...Была уже глубокая ночь. Ленин и Роза Люксембург сидели на застекленной террасе. Давно остыл самовар; свет керосиновой лампы смешивался с расплывчатым светом белой ночи; мохнатая бабочка билась о горячее стекло лампы, теряя коричневую пыльцу. Роза старалась

отогнать бабочку, но та упрямо, неумолимо летела навстречу своей огненной смерти.

Ленин, наклонив лобастую голову так, что тень скрыла глаза, барабанил пальцами по столу. Они уже говорили более четырех часов, и тень усталости сквозила в лице Владимира Ильича.

— Вы, Роза, неутомимая спорщица,— сказал он, быстро вскинув голову и коротко, колко взглянув на нее.

— Да, это так,— засмеялась она.— Но и вы, Владимир, в смысле спора от меня недалеко ушли. Нет чтобы уступить даме.

Ленин не принял шутки, скупо улыбнулся, сказал:

— Давайте подведем итоги.— Он посмотрел на нее внимательно, долго. Роза несколько смутилась под этим пристальным взглядом.— И все-таки, Роза, мы в большем сходимся, чем расходимся. Согласитесь.

— Да, это так,— сказала она и подумала с радостью: «Это действительно так».

— Давайте по порядку...— Ленин отбил пальцами по столу нервную дробь.— Ведь теперь, в революции, вы с нами, а не с ними...— Владимир Ильич опять помедлил.— Как раньше.

— С вами! — страстно сказала Роза.— И, я думаю, вы имели возможность в этом убедиться. Меньшевики полностью показали себя: кто они, к чему стремятся.— Теперь помедлила она.— Владимир, мы имеем право на ошибки?

— Не ошибается только тот, кто не действует! — горячо сказал Ленин.— Итак... Первое: в революции польские социал-демократы поддерживают тактику большевиков. Превосходно! Второе. Крестьянский вопрос. У нас были расхождения, но, судя по вашим, Роза, последним высказываниям... Да и другие польские товарищи подтверждают это. Дзержинский прежде всего. Вы теперь в крестьянстве видите союзника рабочего

класса в революционной борьбе с царизмом. Вы уже не игнорируете его, как это было еще в начале пятого года. Так?

Роза помедлила, потом сказала задумчиво:

— Пожалуй, так... Хотя тут есть нюансы...

— Так, так! — нетерпеливо перебил Ленин.— А нюансы мы согласуем. То есть мы едины в стратегии революции. И это — главное.

— Согласна,— сказала Роза.

— Ну вот! — Владимир Ильич азартно потер руки.— Сейчас, в условиях спада революционной борьбы, вы принимаете нашу думскую тактику: участвовать в выборах, использовать трибуну Государственной думы для критики царизма, буржуазных партий и пропаганды наших идей...

— Да, мы принимаем вашу думскую тактику,— перебила Роза.

— Браво! — Ленин нетерпеливо прошелся по террасе.— То есть мы совпадаем конкретно по основным пунктам текущего момента.

— Есть один пункт текущего момента,— упрямо сказала Роза,— и он более чем основной, в котором мы не совпадаем.

— Понимаю.— Ленин прищурился. Морщинки сбежались к уголкам глаз.— Мы по-разному смотрим на решение национального вопроса.— Владимир Ильич помедлил.— Прежде всего польского национального вопроса...

— Да, по-разному! — порывисто перебила Роза.— Готова повторить: сейчас, когда в России буржуазно-монархический строй, предоставление любой нации права на самоопределение — будь то поляки, украинцы или грузины — приведет к одному результату: образованию нового государства с буржуазной структурой. Если мы стремимся каждому народу дать социализм, сначала надо

одержать победу в пролетарской революции! — У нее привычно сжались кулаки.— В масштабах всей империи! А уже потом — свобода наций!

— Роза,— мягко сказал Ленин,— мы возвращаемся к истокам нашего спора. И все-таки я повторяю: поймите, мы не можем у народов России, имеющих выход к государственной границе, отнять эту вековую надежду — вырваться из объятий царизма. Стремление к национальной независимости — великий огонь в костре революции!

— Нас рассудит история,— непримиримо сказала Роза.

— Да, нас рассудит история,— серьезно ответил Владимир Ильич.

Серая бабочка, в который раз ударившись о горячее стекло, метнулась вверх, скользнула над стеклянным кругом, откуда исходил невидимый жар, мгновенно вспыхнули ее крылья, и Роза не заметила, как и куда она исчезла.

— Я надеюсь,— сказал Ленин,— что со временем и в вопросе о праве наций на самоопределение мы с вами придем к единству.

Роза промолчала.

Ленин улыбнулся:

— А давайте-ка заглянем в недалекое прошлое. Ведь там мы тоже во многом едины!

— Например? — спросила она, смягчаясь.

— Например? — Ленин коротко засмеялся.— Извольте! В критике Бернштейна и оппортунизма в целом во Втором Интернационале мы — вместе! В критике милитаризма и колониальной политики ведущих держав мира мы с вами расходимся только в мелких частностях... И есть еще одно, главное, сегодня, сейчас объединяющее нас...

Роза внимательно смотрела на собеседника.

— Послушайте, сударыня! — Владимир Ильич вдруг засмеялся.— А не кажется ли вам, что мы засиделись?

Четвертый час. Теперь не заснуть. А что, если нам пройтись к морю?

— С удовольствием.

...В зыбком, даже таинственном освещении, в котором деревья, дачи, фонарные столбы потеряли свои формы, казались непонятными, сказочными существами, Ленин и Роза Люксембург по песчаной, влажной от росы дороге спускались к Финскому заливу. Море скрылось за макушками сосен, небо над головой все больше розовело, алело...

— Помните,— нарушил молчание Ленин,— у Пушкина: «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса...»

— Владимир,— Роза приостановилась.— Так что же самое главное сегодня объединяет нас?

— Сегодня? — Ленин тоже остановился, пристально, долго посмотрел на Розу, блеснули глаза в напряженном прищуре. Роза — в который раз! — отметила могучее благородство его огромного лба.— Русская революция терпит поражение... Это ясно всем. «Не надо было браться за оружие!» — говорят нам меньшевики во главе с Плехановым. Словом, кое-кто настроен панически. А вот мы с вами знаем и верим...

— Во что? — быстро перебила она.

— Мы верим, что поражение русской революции — только начало, великая репетиция грядущих боев, канун новой истории...

— Это так, Владимир! — страстно сказала Роза.

— Вот странно! — Ленин легко, празднично засмеялся.— Только сейчас подумал. Ведь мы с вами почти ровесники. И получается, все эти годы, каждый своим путем, мы шли к этой вершине.

— К какой вершине? — не поняла она.

— Не кажется ли вам, Роза, что вся наша жизнь до сегодняшнего утра была восхождением на вершину,

имя которой — русская революция, разразившаяся в начале двадцатого века? И с этой вершины мы с вами видим дали новой истории, которая принадлежит нам?

— Да, Владимир,— тихо сказала Роза.

Дорога привела их к пустынному пляжу. Ноги тонули во влажном песке. Было уже совсем светло; перед ними лежала спокойная, бледно-розовая гладь Финского залива; был полный штиль. Вдалеке, в белесой дали, смутно виднелись петровские форты и возвышался, казалось из морской пучины, купол собора Иоанна Кронштадтского. Утро все больше разгоралось: ярко-алый поток заливал небесную сферу, двигаясь с востока на запад, от горизонта к горизонту.

Над Европой, над всем миром вставал новый день...

10

...Роза Люксембург опаздывала на Пятый съезд РСДРП, который начал свою работу в Лондоне 13 мая 1907 года.

Сегодня 14 мая, и, если все будет благополучно, 15-го она явится в Лондон. «С корабля на бал»,— подумала сейчас Роза, посмотрев на круглое окно иллюминатора.

В стекло часто ударяла волна, море было неспокойно, ощутимо качало. Маленький пароход следовал из Голландии в Англию, в порт Харидеж, оттуда предстоял недальний путь по железной дороге в столицу Великобритании.

Розу задержали судебные дела: немецким властям неугодны ее выступления и на собраниях, и в печати с рассказами о русской революции; и вот — судебное расследование, два месяца тюрьмы. «Хоть дали отсрочку — и на том спасибо! — подумала Роза, невесело усмехнувшись.— Но камеры, похоже, не миновать».

Каюта была на двоих, но вторая койка пустовала. «И славно,— подумала Роза.— Самое лучшее общество для бесед и размышлений — моя собственная персона». Она легла на койку, смотрела в потолок; был шестой час, за иллюминатором начинался пасмурный вечер, но света зажигать не хотелось. Лео телеграфировал, чтобы с вокзала ехать прямо в гостиницу «Империаль»: «Номер оплачен».

В «Империале» остановились многие гости съезда. Теперь уж наверняка в Лондоне Максим Горький с Марией Федоровной Андреевой.

Горький... Роза закрыла глаза, и мгновенно в памяти вспыхнула та встреча в Тиргартене, в летнем саду ресторана «Горное ущелье».

...Все произошло совсем недавно. Она тогда только что вернулась из Швейцарии, где две недели провела у Женевского озера вместе с Карлом Каутским — надо было хоть немного отдохнуть перед съездом российских социал-демократов, куда ей предстояло ехать и как делегату от СДКПиЛ и представительницей СДПГ.

Было хорошо у ее любимого озера — и тишина, и ранняя альпийская весна с робкой перекличкой птиц и блеском водной глади под ласковым солнцем, и ее скамейка возле древнего вяза. Все было хорошо... Только уж больно вял и брюзглив Карл. Даже, втянув его в спор — все о той же русской революции, Розе не удавалось его расшевелить... Да еще эта очередная размолвка с Лео. Так, видно, будет всегда. На роду написано...

Да, она только вернулась из Швейцарии, можно сказать, ввалилась в свою квартиру, утомленная дорогой, вдохнула родной запах книг и — еле уловимый — парижских духов, плюхнулась в кресло возле письменного стола, провела пальцем по бюсту Вольтера,— мрамор приятно холодил кожу; стала разбирать почту. И первым попался продолговатый конверт с судебной повесткой. Она

быстро пробежала взглядом несколько казенных фраз: «Во исполнение»... «явиться согласно параграфу...».

Раздался звонок.

Удивленная Роза пошла открывать дверь.

На пороге стояли... Ленин и незнакомый молодой человек с широким славянским лицом.

— Здравствуйте, Роза,— энергично заговорил Владимир Ильич.— Простите, что без предупреждения. Товарищи сказали: вы приезжаете сегодня. Знакомьтесь: Василий Десницкий, он же Строев. Даже сейчас лучше — Строев. Большевик, член ЦК; их там трое в меньшевистской компании. Пока! Пока! — Ленин хитро прищурился.

— Прошу, проходите,— сказала она, радуясь и удивляясь этому неожиданному визиту.

Через минуту Ленин уже быстро шагал по комнате, засунув руки в карманы жилета, говорил.

— Съезд состоится в Лондоне...

— Разве не в Копенгагене? — удивилась она.

— А вот и нет! Датское правительство показало нам от ворот поворот. Как-никак земля «царской родни», не пристало им русских революционеров принимать. Не получилось и со Швецией. Прямо какой-то «путешествующий съезд».— На мгновение лицо Ленина омрачилось.— А деньги в партийной кассе тают. Словом, Роза,— Лондон. И туда мы на днях отбываем.

— Может быть, вместе? — спросил до сих пор молчавший Василий Десницкий.

— Может быть,— сказала Роза, умолчав о повестке из суда.

— И вот что, Роза,— сказал Ленин.— Я прочитал последние статьи Каутского о русской революции. Карл, мне представляется, близок к верному пониманию ее движущих сил. Закрепить бы его на этих позициях! Словом, если бы Карл Каутский был нашим союзником, не меньшевиков...

«Сомневаюсь»,— подумала Роза.

— Так вот...— Ленин помедлил.— Вы, Роза, не могли бы устроить нам с Василием Алексеевичем встречу с Каутским? День-два перед отъездом в Англию у нас есть.

— Я постараюсь,— сказала она.

Ленин засмеялся легко и празднично.

— А у нас для вашего Карла сюрприз,— сказал он.— Мы пригласим на встречу Алексея Максимовича! Нашего Горького с его очаровательной спутницей. Алексей Максимович —гость нашего съезда.

— Мне тоже интересно познакомиться с Горьким! — с жаром сказала Роза.

— Вот и отлично! — Ленин с удовольствием потер руки.

...Карл Каутский хотя и насторожённо, но с интересом принял предложение о встрече с Лениным.

Знакомство состоялось в Тиргартене, в дорогом чинном ресторане, который предложил Каутский, вернее, в его летнем саду, и возле столика лопотал вялыми струями фонтан; обслуживали их два официанта в белых перчатках, и Роза видела, что всех русских, кроме Марии Федоровны Андреевой, тяготит эта обстановка.

Ленин и Каутский встретились впервые; Владимир Ильич в беседе чувствовал себя более свободно и раскованно, Карл, когда касались политических тем, напрягался, бледность покрывала его щеки, он тщательно подбирал слова.

Хотя Ленин прекрасно знал немецкий язык, говорили Владимир Ильич, Горький и Десницкий по-русски, переводчиками выступали то Роза Люксембург, то Мария Федоровна, которая, оказывается, в совершенстве владеет несколькими европейскими языками; Андреева очень понравилась Розе — свободна, грациозна, чутка, неуловимое изящество в каждом движении.

Господствовали литературные темы. Горький, впрочем, больше отмалчивался, покашливал, внимательно, но неназойливо, с явным любопытством посматривал то на Розу, то на Каутского. У Розы было ощущение, что литературные разговоры тяготят Алексея Максимовича, может быть, потому, что он знал, с какой целью шел на эту встречу Ленин. И когда удавалось перевести речь в политическое русло, переводчиком выступала Роза Люксембург, но у нее это получалось несколько странно.

— У нас своя специфика,— осторожно говорил Каутский.— В рейхстаге мы имеем сильную фракцию, профсоюзы поддерживают нашу парламентскую тактику...

Роза переводила:

— Карл считает, что рабочий класс добьется своих целей мирным путем — через фракцию социал-демократов в рейхстаге, благодаря деятельности профсоюзов, конечно же мирной деятельности. Упаси нас бог, говорит Карл, от русского варианта.

— Роза! — протестовал Каутский.— Ты что там со мной делаешь?

Все сдержанно смеялись.

Нет, разговора, на который рассчитывал Ленин, не получалось, встреча носила слишком «семейный» характер; это, очевидно, почувствовал Каутский и, прощаясь, сказал, что можно условиться о новой встрече, чтобы поговорить обстоятельно. При этом была по всем правилам вручена визитная карточка, последовали благодарности и рукопожатия; на Будапештштрассе Каутских посадили в такси, и, когда машина затерялась среди других экипажей и машин, Владимир Ильич сказал жестко:

— Не о том говорили.— Помолчал, повернулся к Розе: — Удивительно корректен. И такое серьезное внимание ко всяким правилам этикета.

— Вы, Владимир,— сказала Роза,— еще плохо знаете наших европейских товарищей.

— Вот на кого он похож! — вдруг зарокотал своим густым окающим баском Горький.— Наш, российский интеллигент, профессор. Или либеральный земец. Правда, манеры... Искусник. Нет, определенно, очень симпатичный господин.

...В каюте были уже совсем сумерки. Качало все сильнее, и Роза почувствовала, пока еще далекий, приступ тошноты.

«Только этого не хватало».

Пробили склянки.

«Зовут на ужин,— подумала Роза.— Пойду в буфет и выпью чашку крепкого кофе. Это хорошо, что Горький на съезде. Продолжим знакомство».

...Номер оказался огромный, хоть балы закатывай, но неуютный, чем-то неуловимо похожий на казарму. Топился газовый камин, однако тепла совсем не давал. А не мешало бы: погода была прохладная, пасмурная, за широким окном клубилась серая мгла; с Северного моря дул порывистый ветер; весной и не пахло...

Было утро 15 мая. Роза час назад приехала в Лондон, на такси добралась до «Империала», которым оказалось довольно угрюмое многоэтажное здание. Она только приняла ванну, причесывалась у зеркала, с желтыми от старости пятнами по углам — и в ее апартаменты без стука ворвался Лео:

— Наконец-то! — Она мгновенно оценила безукоризненный костюм-тройку, увидела бледность усталого лица: «Виски поседели...» Он обнимал ее. «Как будто не было недавней жестокой ссоры. Лео есть Лео».

И может быть, впервые за многие годы Роза пересилила себя: негрубо, но решительно отстранилась от Лео Иогихеса. «Что это, в самом деле! Превращаюсь в воск от первого его прикосновения».

— Подожди, милый. Я очень устала.

Она увидела, каким огромным усилием воли он подавил обиду.

В пустом ресторане он говорил только о делах.

— Съезд грандиозный: около трехсот пятидесяти делегатов. Собрание по-настоящему всероссийское. Полно гостей...

— Наша делегация большая? — перебила Роза.

— С тобой сорок пять человек,— сказал Иогихес, и в его голосе прозвучала гордость.

Роза знала: товарищ Тышка, ее Лео,— фактический руководитель польской делегации, он организовывал нелегальный приезд польских социал-демократов в Лондон, разрабатывал с другими членами Правления партии тезисы выступлений, согласовывал тактику с большевистской фракцией.

— И что на съезде? — спросила Роза.

— Драка! — Глаза Лео заблестели.— И уже сейчас ясно: большевики во главе с Лениным пересиливают меньшевиков...

— С нашей помощью, конечно? — опять перебила Роза.

— С нашей...— На лицо Лео Иогихеса вдруг набежала тень.— Мы и латыши в основном пока поддерживаем большевиков, бундовцы — меньшевиков, Троцкий пытается организовать примиренческий «центр», и у него ничего не получается.

— Подожди! — Роза Люксембург заволновалась.— Ты сказал: «Пока поддерживаем». Почему «пока»? В чем дело?

— А в том, что большевики идут на окончательный раскол! — В голосе Лео Иогихеса зазвучало ожесточение.— Ленин, по существу, отвергает всякий компромисс!

— Ах, эти компромиссы! — желчно воскликнула Роза.— Ты бы хотел и русских социал-демократов видеть

такими же, как немецкие: все из сплошных компромиссов и все внешне спокойно! Пойми! На календаре истории — революция! И не может партия, возглавляющая ее, дать погубить себя этими чертовыми компромиссами! Ленин прекрасно понимает это!

— Дело в том,— с напором сказал Лео,— что, если произойдет раскол, окончательный и бесповоротный, наши пепэсовцы тут же снюхаются с меньшевиками! В конце концов, есть польские интересы!

— Понятно, польские интересы... И ты туда же...

«Есть только одни интересы! — закричала она про себя.— Интересы русской революции, воплощающие в себе сегодня интересы пролетариата всего мира!»

— Завтра твое выступление, Рузя,— примирительно сказал Лео. И от того, как он сказал «Рузя», и от быстрого его взгляда, полного тревоги и внимания, сердце Розы Люксембург наполнилось нежностью.— В общем, ты все увидишь, разберешься. Мы все в тебя верим.

— Завтра я еще не польская Роза,— сказала она.— Завтра я немецкая.

...Съезд русской социал-демократии проходил на окраине Лондона в церкви на Саутгейт-Род, принадлежавшей фабианскому братству.

Впрочем, старинное здание, построенное в строгом, аскетическом стиле, только внешне было церковью; внутри — никаких предметов культа, та же аскетическая простота, неяркий свет сквозь стрельчатые окна; и даже кафедра проповедника помещалась почему-то не впереди, в глубине зала, а у входа, между двух дверей.

Войдя в гулкое, плохо освещенное помещение, Роза Люксембург сразу ощутила грозовую атмосферу. Положительно бог был изгнан из этих древних стен. Во всяком случае, в съездовские дни, когда здесь кипели отнюдь не религиозные страсти.

Роза, сопровождаемая польскими делегатами, появи-

лась в церкви до открытия утреннего заседания, и ее встретили аплодисментами с правой стороны («Большевики»,— поняла она и увидела там много молодых, мужественных лиц, рабочих лиц; возвышался возле колонны Горький, высокий и сутуловатый, дружески помахал ей рукой); на скамьях левой стороны было молчание, настороженные взгляды, она увидела Аксельрода, Дейча, Плеханова («Все корифеи меньшевизма здесь»,— подумала она); Георгий Валентинович, в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, поклонился ей («Похож на протестантского пастора»,— подумала Роза).

А к ней уже спешил Ленин, собранный, улыбающийся, крепко пожимая руку, заговорил:

— Ждем, ждем, сударыня! Опаздывать негоже! Как устроились? Я слышал, по соседству с Алексеем Максимовичем? И отлично! Не давайте ему скучать по вечерам. Получите слово, наверно, на вечернем заседании, после товарища Квелча, он будет приветствовать съезд от английской Социал-демократической федерации. Председательствую сегодня я. А пока, Роза, присматривайтесь. По-моему, архижарко! — И Владимир Ильич коротко засмеялся.

На утреннем заседании 16 мая продолжались дебаты по повестке дня съезда. Роза Люксембург сразу почувствовала грозовой накал борьбы.

У большевиков была своя повестка, у меньшевиков — своя, и, если даже совпадали пункты повестки, например отчет Центрального Комитета, следовали поправки или в формулировке, или в очередности обсуждения, и за всеми этими дебатами — Роза сразу поняла это — стояли две непримиримые позиции по основным вопросам тактики и теории.

Ей предстояло прочитать приветствие съезду от СДПГ, проникнутое определенной идеей. А она — член этой партии и подчиняется ее дисциплине. И потом — то,

о чем вчера говорил Лео... Есть в его словах зерно истины: раскол русской социал-демократии на руку пепеэсовцам.

Слушая ораторов, вникая в существо споров, Роза поняла еще одно: меньшевики — это суть европейская социал-демократия, «как мы, немцы»: заседать в парламенте, то бишь в Думе, словесные поединки, выборы, профсоюзы... Вслушиваясь в речи меньшевиков, она думала: «Вы, господа, смертельно напуганы революцией. Баррикады не для вас. Для вас — именно — речи». Ишь как говорят — с ораторскими паузами, с повышением и понижением голоса, с литературными примерами, и поза, и жест — все рассчитано. И только когда непосредственная критика большевиков, особенно Ленина, прорываются неприязнь, желчность, даже ненависть.

Брал слово Ленин, говорил картаво: «Товарищи!» — и зал напрягался, мгновенно попадал во власть жесткой, четкой и неумолимой логики доводов; однако меньшевистский лагерь прорывало негодующими репликами, шиканьем, даже топаньем ног. Ленин не обращал никакого внимания, наоборот, казалось, это подхлестывает и возбуждает его. И то, что ему надо было сказать, он успевал сказать в короткие минуты строгого регламента — доходчиво, просто, внешне спокойно. И Роза видела, с каким напряженным вниманием, ловя каждое слово, слушали его на скамьях, занятых большевиками; она видела лица своих польских товарищей, лица латышей — на них было то же внимание и жгучее одобрение. Да, за Лениным стояли эти люди, которых прислали рабочие Москвы и Питера, Варшавы и Лодзи, Кавказа, Урала, южных городов России, Риги и Вильно, послали с героических баррикад революции, и, по существу, это была новая рабочая партия, рожденная в огне жертвенных боев 1905 года. С этой партией меньшевикам не по пути, это ясно как божий день. Значит, неминуемый раскол?

Как поступить?

...На вечернем заседании после короткого приветствия Квелча Ленин предоставил ей слово.

Роза Люксембург поднялась на проповедническую кафедру.

— Товарищи! — «Надо думать по-русски, и тогда найдутся все нужные слова». В зале церкви была напряженная тишина.— Товарищи! Центральный Комитет Германской социал-демократической партии, узнав о моем намерении присутствовать на вашем партийном съезде, решил воспользоваться этим случаем и поручил мне передать вам свой братский привет и пожелание наилучших успехов!

Зал аплодировал: жарко и дружно — большевики, дружно — центр, сдержанно — меньшевики.

«Так... А теперь — к делу!»

— Многомиллионный сознательный германский пролетариат следит с живейшим сочувствием и величайшим вниманием за революционной борьбой своих русских братьев, и германская социал-демократия доказала уже на деле, что она готова черпать для себя плодотворные уроки из богатой сокровищницы опыта русской социал-демократии!

Аплодируют большевики. Молчание на меньшевистских скамьях.

«Понятно... Теперь главная мысль: потеря СДПГ почти половины избирательных голосов на выборах в январе 1906 года — результат испуга буржуазии «русским примером».

— ...Именно предательство либерализма больше всего отдало нас в последние выборы во власть юнкерской реакции! — Голос ее звенел, руки крепко сжали края кафедры.— И хотя в настоящее время либералы вошли в рейхстаг в увеличенном числе, но они являются теперь лишь прикрывающимися либеральной вывеской жалкими при-

служниками реакции! Неудача на последних выборах вновь выдвинула на очередь вопрос о нашем отношении к буржуазному либерализму. Раздались — правда, весьма немногочисленные — голоса, оплакивающие эту преждевременную гибель либерализма... Товарищи! Я могу констатировать, что и эти голоса, сетующие на результаты политического развития Германии, и эти советы встречены были в рядах немецкого сознательного пролетариата единодушным и резким отпором!

Роза увидела, как Горький нагнулся к Ленину и что-то сказал ему; Владимир Ильич согласно закивал головой.

— Я с радостью констатирую,— продолжала свою речь Роза Люксембург,— что не одно какое-нибудь крыло, а вся партия в целом заявила: «Мы можем сожалеть о печальных результатах исторического развития, но мы не должны отступить ради либерализма ни на йоту от нашей принципиальной пролетарской тактики». Сознательный пролетариат Германии сделал как раз обратные выводы из последних выборов в рейхстаг: если буржуазный либерализм и буржуазная демократия оказываются настолько хрупки и шатки, что готовы от каждого более энергичного жеста классовой борьбы пролетариата падать в пропасть реакции, то туда им, значит, и дорога!.. Под влиянием исхода выборов двадцать пятого января стало ясно для самых широких слоев германского пролетариата, что ввиду разложения либерализма пролетариату приходится отрешиться от последних иллюзий и надежд на его помощь в борьбе против реакции. И в настоящее время он рассчитывает как в борьбе за свои классовые интересы, так и в борьбе против реакционных покушений на демократическое развитие на себя, и только на себя!

Гремели аплодисменты. В стане меньшевиков послышались негодующие выкрики.

«А теперь о принципиально важном. Только бы найти правильные слова...» Она поймала одобряющий взгляд Иогихеса. «Спасибо, Лео...»

— ...И вот в связи с последними событиями в наших рядах возник вопрос, занимающий еще в большей степени и вас, русские товарищи. Насколько мне известно, одним из положений, играющих основную роль при определении тактики русских товарищей, является тот взгляд, что пролетариату России предстоит совершенно особая задача, представляющая некоторое внутреннее противоречие, а именно, задача создать только еще первые политические условия буржуазного строя и в то же время вести с буржуазией классовую борьбу. Это положение будто бы отличается коренным образом от положения пролетариата у нас в Германии и во всей Западной Европе. Но это не так! Я приведу вам пример, правда единственный в немецкой истории, когда научный социализм был применен в условиях революции и задача перед пролетариатом Германии стояла та же. И применил его не кто-нибудь — Маркс!

Да, только так! Лучшего примера быть не может: революция 1848 года, борьба Маркса, его работа в «Новой Рейнской газете».

— ...Русский пролетариат своими действиями должен показать, что между 1848 и 1907 годами протекло больше полустолетия капиталистического развития и что мы с точки зрения этого развития, взятого в целом, стоим не в начале буржуазного классового господства, а скорее в начале его конца. Он должен показать, что русская революция является не столько последним актом в серии буржуазных революций девятнадцатого века, сколько предтечей новой серии будущих пролетарских революций, в которых сознательный пролетариат и его авангард — социал-демократия предназначены исторически к роли вождя!

Аплодировал весь зал. Многие на скамьях большевиков повскакивали с мест.

«Ну а теперь... Ведь сегодня я немецкая Роза. Сейчас я прочитаю съезду приветствие СДПГ. И там, между прочим, сказано: «Дабы мощно вести освободительную борьбу, необходимым условием является единство и сплоченность российской социал-демократии...»

Наступила напряженная тишина. Церковь была освещена газовыми светильниками; она и не заметила, когда их зажгли. Лица, особенно в средних и дальних рядах, стали плохо различимы.

Роза Люксембург поправила прядь волос, упавших на вспотевший лоб; в церкви было душно.

«Я с этим согласна? Не знаю... Вернее, если бы единство было возможно!..»

Пауза затягивалась. Надо говорить.

— Но для того чтобы успешно выполнить свою роль,— нарушила тишину Роза Люксембург, и голос ее был подобен натянутой струне,— для русской социал-демократии необходимо одно важное условие... И это условие — единство!

Скамьи, на которых сидели меньшевики, взорвались бурными, даже яростными аплодисментами.

— Правильно! — послышались оттуда выкрики.

— Браво!

— Да здравствует единство!

Аплодировал центр.

Аплодировали ее поляки. Не все. Аплодировал Лео Иогихес.

Аплодировали латыши. Не все.

На скамьях большевиков было молчание.

Роза Люксембург увидела замкнутое лицо Ленина; он вынул из кармана пиджака маленький блокнот, что-то быстро записал карандашом.

...В перерыве Владимир Ильич подошел к ней, сказал:

— Вы, Роза, произнесли блестящую речь! Блестящую! — Он помедлил, упрямо наклонил голову.— Кроме одного...

— Я знаю! — быстро перебила Роза.

— Вы постепенно убедитесь: идея единства с ними...— Владимир Ильич быстро, непримиримо взглянул в сторону меньшевиков — утопична.— Ленин помедлил, добавил: — К сожалению.— В его голосе Розе послышалась боль.

...Да, от заседания к заседанию она убеждалась: меньшевики — это устойчивый, хорошо организованный стан оппортунизма в русской социал-демократии. Большевики — истинная пролетарская революционная партия. Единство, то есть объединение, невозможно...

Особенно это стало ясно во время дебатов по третьему пункту порядка дня: отношение к буржуазным партиям.

В этих прениях Роза Люксембург выступала содокладчиком от делегации СДКПиЛ, она теперь была польской Розой.

Ей было предоставлено слово на утреннем заседании — 25 мая, после блестящей, насыщенной, наступательной речи Ленина и выступления меньшевика Мартынова.

Роза Люксембург страстно поддержала Ленина по основным пунктам обсуждаемой проблемы.

Она, в частности, сказала:

— ...Только после того как воспитанный долголетней работой социал-демократии, сотрясенный японской войной русский пролетариат выступил на общественную арену в грандиозных забастовках юга России, в массовых демонстрациях, тогда решился и русский либерализм сделать первый робкий шаг. Началась пресловутая эпопея земских съездов, профессорских петиций и адвокатских банкетов. Либерализм, упоенный собственным красноречием и свободой, которую ему неожиданно

предоставили, готов был и сам поверить в свои силы. Но чем же кончилась эта эпопея? Все мы помним тот знаменитый момент, когда в ноябре — декабре 1904 года «либеральная весна» вдруг пресеклась и оправившийся абсолютизм разом бесцеремонно зажал либерализму рот — приказав попросту молчать. Мы видели все, как либерализм моментально с высоты своего мнимого могущества от одного пинка, от одного хлыста абсолютизма покатился в пропасть отчаянного бессилия. На удар казацкого кнута либерализм не нашелся ответить ровно ничего, он съежился, замолчал и этим доказал воочию свое полное ничтожество. И в освободительном движении России произошла тогда видимая заминка на несколько недель, пока девятое января не двинуло на улицу петербургский пролетариат и не показало, кто призван в настоящей революции действительно быть авангардом и «воспитателем». Вместо трупа буржуазного либерализма выступила живая сила.

И еще она сказала:

— Во второй раз русский либерализм поднял голову, когда давление народных масс вынудило абсолютизм созвать первую Думу. Либералы почувствовали себя опять в седле и опять поверили, что именно они — вожди освободительного движения, поверили, что адвокатскими речами можно что-либо сделать и что они — сила. Но вот последовал разгон Думы, и либерализм вторично полетел стремглав в бездну бессилия и ничтожества. Он был способен только на «пассивное сопротивление», которое Маркс сравнил с сопротивлением теленка мяснику, который хочет его зарезать.

Но и о разногласии с большевиками в тактическом вопросе о вооруженном восстании она не могла умолчать.

Роза Люксембург сказала:

— „Действительный марксизм одинаково далек как

от односторонней переоценки парламентаризма, так и от механического взгляда на революцию и переоценки так называемого вооруженного восстания. Здесь мои польские товарищи и я расходимся во взглядах с большевиками. Да, мы считаем необходимым разъяснять самым широким массам пролетариата, что их непосредственное столкновение с вооруженной силой реакции, что всеобщее народное восстание есть единственный исход революционной борьбы. Но назначить и подготовить технически эту развязку социал-демократия не в состоянии...

И тогда отчетливо прозвучал голос Плеханова:

— Совершенно верно!

«Уж не собираетесь ли вы, Георгий Валентинович, сделать меня своим союзником?»

— Товарищи на левой стороне заявляют: «Совершенно верно».— Голос ее звенел.— Но я опасаюсь, что они не согласятся со мной уже при следующих выводах. Я думаю именно, что если социал-демократии следует избегать механического взгляда на революцию... то ей зато необходимо с двойной силой и решительностью указывать пролетариату его цель: стремление добиться политической власти для осуществления задач нынешней революции!

Роза увидела нахмуренное лицо Плеханова.

«Да, Георгий Валентинович, мы с вами,— подумала она,— идейные противники в практическом понимании марксизма».

...Это подтвердил и Плеханов.

На вечернем заседании этого же, 25 мая Георгий Валентинович, полемизируя с Розой Люксембург, сказал не без пафоса в голосе:

— Мы верны Марксу. Товарищ Роза Люксембург ему изменяет. Это жаль. Товарищ Роза Люксембург, подобно рафаэлевской Мадонне, носится на облаках... отрадных мечтаний.

С удовольствием аплодировали меньшевики и кое-кто из бундовцев.

«Прекрасно! Я вам, господин Плеханов, отвечу при первой же возможности».

Эта возможность ей была предоставлена через день, на утреннем заседании 27 мая.

— Товарищ Плеханов сделал мне упрек,— говорила Роза, сдерживая волнение.— Я, дескать, представляю в некотором роде улетучившийся марксизм, парящий над облаками. Товарищ Плеханов, любезный даже тогда, когда это не входит в его намерения, сделал мне в данном случае действительный комплимент. Марксисту для того, чтобы ориентироваться в ходе событий, необходимо обозревать отношения, не ползая по низам ежедневной и ежечасной конъюнктуры, а с известной теоретической высоты, и та вышка, с которой следует обозревать ход российской революции, есть интернациональное развитие классового буржуазного общества и достигнутая им степень зрелости. Товарищ Плеханов и его друзья упрекали меня горько, что я рисую столь заманчивые и блестящие перспективы нынешней революции, как будто российскому пролетариату предстоят одни беспредельные победы... Это не так! Я думаю, что российский пролетариат должен руководствоваться в своей тактике вообще не расчетами на поражение или победу, а выводить ее исключительно из своих классовых исторических задач, помня, что поражения пролетариата, вытекающие из революционного размаха его классовой борьбы, есть только местные и временные формы проявления его мирового движения вперед, взятого в целом, что эти поражения есть неизбежные исторические ступени, ведущие к окончательной победе социализма!

Аплодировали все собравшиеся в церкви, кроме меньшевиков во главе с Георгием Валентиновичем Плехановым...

...Ленин и еще несколько большевиков подошли к Розе после того, как утреннее заседание 27 мая было закрыто.

Владимир Ильич, хитровато щурясь, сказал:

— Вот, Роза, вы окончательно наша. Да! Да! Не спорьте, сударыня!

— Я и не спорю,— засмеялась Роза.

— Кстати! — Ленин пытливо смотрел на нее. — Съезд съездом...

— Драка дракой! — перебил кто-то из рабочих.

— Верно! — Владимир Ильич стал вдруг серьезным. — Драка дракой... Но и отдыхать надо. Вы, Роза, в Британском музее были?

— Сейчас нет, раньше бывала.

— Он неисчерпаем,— сказал Ленин. — Или театры. В Лондоне есть что посмотреть. Я вам очень рекомендую небольшие театрики, куда ходит простой люд. Вот мы с Алексеем Максимовичем были в одном мюзик-холле, недалеко от нашей церкви. Клоунада, эксцентрики, куплеты на злобу дня, и какой контакт со зрителями! Очень рекомендую!

— Воспользуюсь, Владимир, вашей рекомендацией,— согласилась Роза.

— А еще вот что, сударыня,— сказал Ленин,— по воскресениям Алексей Максимович в Гайд-парке для наших товарищей, кому интересно, читает что-то вроде лекций по текущей литературе.

— Мы больше спорим! — сказал рабочий лет тридцати и засмеялся, очевидно что-то вспомнив.

— Сегодня, правда, понедельник,— сказал Ленин. — Подождем несколько дней? Я вот тоже собрался послушать Горького. Может быть, составите компанию?

— Не только составлю компанию,— сказала Роза Люксембург,— обижусь, если не возьмете с собой.

...Они немного опоздали.

День был ветреный, прохладный; иногда сквозь тучи прорывалось солнце, мгновенно меняя облик мира: ярче становилась нежная зелень на деревьях, контрастные тени пересекали улицы, блестели стекла в окнах домов и проезжающих омнибусов.

В Гайд-парк они приехали втроем: Ленин, Роза и Лео Иогихес.

На зеленых лужайках между стволов старых могучих лип и платанов большими и малыми толпами стояли люди, кое-где были сооружены трибуны; митинги, дискуссии, споры — обычная картина для Гайд-парка в воскресный день.

— Вот по этой аллейке направо,— сказал Владимир Ильич. — Тут рядом.

Они сразу увидели своих: над толпой делегатов съезда (было тут человек пятьдесят, может быть, больше; Роза с некоторым удивлением увидела Плеханова, окруженного меньшевиками) возвышалась фигура Горького. Алексей Максимович стоял на широком пне в черной крылатке, края которой то поднимал, то опускал ветер, лицо его осветилось появившимся в этот миг солнцем и поразило Розу: глаза блестели, глубокая морщина легла на лоб, двигались мускулы щек; лицо было вдохновенно.

— Друзья мои! Друзья мои! — Рокотал над толпой густой басок с круглым волжским «о».— Нельзя же так сплеча: «Толстой — богоискатель, Андреев — мистик». Нельзя художника, притом такую громаду, как Лев Николаевич, мазать одной краской. А богоискательство...

— Нам нужна литература, зовущая в бой! — крикнул молодой голос.

И из разных концов толпы послышалось:

— «Буревестника»!

— Алексей Максимович! Вы обещали!

— Прочитайте «Буревестника»!

— Раз обещал... — негромко сказал Горький в мгновенно наступившей тишине.

Только ветер, летевший с моря шелестел молодой листвой в кронах старых деревьев.

Ленина, Розу и Лео Иогихеса заметили; их пропустили вперед.

Роза и Лео оказались совсем близко от Горького.

— Над седой равниной моря ветер тучи собирает,— поплыл над толпой спокойный густой голос. — Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный. — Голос креп и набирал силу. — То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

Роза Люксембург видела вокруг себя молодые мужественные лица: глаза горели, кулаки сжаты; ярость, гнев, восторг отражались на этих лицах, и Роза вдруг подумала: «Воистину — революция дело молодых».

— В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

«Что же ждет этих молодых людей? — думала Роза, физически ощущая единую грозную силу, которая объединяла толпу вокруг нее.— Кончится съезд, и они вернутся в Россию. Революция терпит поражение... Что их ждет? Борьба! Преследования, конспирация, ссылки. И — опять баррикады. Неизбежно!..»

— ...Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому! Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Роза увидела, что на поляне уже огромная толпа: люди все подходили и подходили, и, хотя большинство из них наверняка не знали русский язык, все — Роза

Люксембург видела это — попадали под магию властного горьковского чтения: они не понимали слов, но смысл наверняка понимали, чувствовали его.

— Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.— Роза увидела: по щекам Горького текли слезы. Как странно...— Вот он носится, как демон,— гордый, черный демон бури,— и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

Солнце скрылось, и тут же прилетел сильный ветер; зашумели кроны деревьев над замершей толпой; ветер поднял края черной крылатки на плечах Горького.

Розе показалось,— конечно, показалось! — что над Гайд-парком сверкнула молния. Ветер нес морскую свежесть. Наверно, он прилетел с Ла-Манша, в воды которого, по завещанию Энгельса, двенадцать лет назад был опущен его прах. И, может быть, могучие крылья ветра, высушившие сейчас слезы на щеках Горького, пронеслись над кладбищем Хайгет, над могилой бессмертного Маркса...

— Буря! Скоро грянет буря! — гремел над миром голос.

Роза Люксембург смотрела на Ленина — Владимир Ильич подался вперед, не отрывая глаз от Горького.

— Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!

СКВОЗЬ ТЕРНИИ — К ЗВЕЗДАМ!

Вместо послесловия

Минуло свыше шести десятилетий с того времени, когда трагически оборвалась жизнь выдающейся революционерки, по выражению В. И. Ленина, «великой коммунистки» Розы Люксембург. Однако общественный интерес к ее личности, революционной деятельности и литературному наследию со временем не только не утихает, но, напротив, возрастает.

В чем же притягательная сила личности Р. Люксембург? Почему история не предала ее забвению? Почему ее имя занимает почетное место в ряду виднейших революционеров-марксистов XIX и XX веков?

Художественное повествование писателя Игоря Минутко посвящено одному из важнейших периодов в жизни нашей героини — времени ее гражданского, революционного и духовного становления. Автор рисует широкую и достоверную историческую картину вхождения девушки-гимназистки в сложный и противоречивый мир пролетарского движения Польши, зарубежной эмиграции, Германии, в целом — причастности, а в последующем и активного участия в международном социалистическом движении. Перед читателем встает незаурядная,

пытливая, чрезвычайно целеустремленная натура молодой Розы Люксембург, которая логически приходит к восприятию учения марксизма и становится одним из лидеров нового поколения революционеров-интернационалистов в германском и польском рабочем движении.

И. Минутко своим повествованием подводит читателя к тому жизненному и духовному рубежу Люксембург, когда она завоевала признание авангарда немецкого, польского и международного рабочего класса. Роза — в расцвете творческих сил, известный теоретик и пролетарский политик, страстный борец против всего того, что стоит на пути к утверждению нового общества — социализма. Первой вершиной на пути ее восхождения к осуществлению идеалов социализма явилась российская революция 1905—1907 годов. Будучи по своим конкретным задачам и целям явлением национальным, общероссийским, по своему месту в мировом революционном процессе она стала событием международного значения, положившим новый отсчет времени в развитии международного рабочего движения.

Все развитие Р. Люксембург как мыслителя и революционного борца с естественной необходимостью подводило ее к тому, чтобы овладеть теорией и практикой большевизма, взять из него общезначимое и применить новые истины и практику революционной борьбы к условиям германского и польского пролетарского движения. Мы видим, что путь познания нового был извилистым, противоречивым. И. Минутко завершает свое повествование Лондонским съездом РСДРП — событием в жизни Розы Люксембург поистине поворотным, положившим начало новому, плодотворному во всех отношениях периоду ее революционной деятельности. Впереди ее ожидали чрезвычайно бурные, а подчас и драматические события, полные надежд и временных разочарований. Но все они

были наполнены страстной борьбой и верой в осуществимость идеалов рабочего класса.

Автор послесловия отнюдь не преследует цель подвергнуть анализу и оценке только что прочитанное повествование И. Минутко. Он исходит из того, что это — дело прежде всего читателя и литературоведа-профессионала. Во всяком случае, он отдает свои симпатии героине, которая получила исторически достоверное и по-человечески глубокое отражение в повести. Но вполне очевидно, что читателя не может не интересовать, что же было дальше, чем завершился жизненный путь героини. Этому и посвящается предлагаемый краткий исторический этюд.

* *
*

В начале осени 1906 года, после освобождения из Десятого павильона Варшавской крепости, предназначенного специально для революционеров, Роза Люксембург прибыла наконец в Россию, в Петербург. Осуществилась ее заветная мечта, к которой она стремилась еще со времени трагических событий 9 января 1905 года,— не быть только наблюдателем, но стать участником революционных событий. Изучить опыт первой российской революции, извлечь из него полезные уроки для западноевропейского социалистического движения, встряхнуть ту его часть, которая многие годы предавалась оппортунистически-либеральным, реформистским иллюзиям «о мирном врастании старого свинства (то есть капитализма) в социализм»,— таким видела свой революционный долг Люксембург по прибытии в Россию.

Она появилась в столице революции, когда последняя уже прошла пик своего развития. Но ее дыхание, следы, общая атмосфера чувствовались еще во всем...

Российская революция 1905 года положила начало не только новой эпохе революций во всемирной истории, но и в миропонимании общественных классов, политических партий, мыслителей... Она явилась в прямом смысле духовным и политическим водоразделом, на одной стороне которого стояли революционный пролетариат и современная демократия Старого и Нового Света, а также Азии, а на другой — контрреволюция в лице империализма и отживших реакционных режимов, буржуазного либерализма. Для либералов пролетарский и крестьянский революционный демократизм был страшнее виселиц Николая Второго и столыпинской реакции. В революционной программе и тактике большевизма органически слились коренные интересы трудящихся масс России и назревавшие преобразования, вставшие перед пролетариатом ряда западноевропейских стран, а также народов Востока. Это разделение на сторонников и противников русской революции и особенно в вопросах тактики ленинизма в ней провело глубокую борозду в международном социалистическом и рабочем движении. В нем образовалось два противоположных мира идей, два международных направления: революционное, марксистское, и реформистское, ревизионистское. Положение дел в движении усугублялось еще и тем обстоятельством, что в ведущих партиях Второго Интернационала укреплялось влияние представителей оппортунистического направления. Эти партии охватил глубокий и затяжной идейно-политический и организационный кризис: движение нуждалось в новых программных и политических решениях, а оппортунистические вожди думали лишь о том, чтобы сохранить существующий статус-кво, типичный для мирной эпохи общественного развития, сдержать нараставшее революционное нетерпение масс, в том числе и в Германии, и в Польше, рабочему движению которых Люксембург отдала свой ум и сердце.

Р. Люксембург была в числе тех немногих марксистов-интернационалистов, не только с восторгом воспринявших дела и судьбы российской революции, но и выступивших в ее поддержку. Она видела в ней событие, открывшее «новую эру в развитии рабочего движения». «С русской революцией,— подчеркивала Люксембург,— мы вступили в переходный период от капиталистического к социалистическому обществу». Уничтожающей критике подвергла она тех буржуазных и оппортунистических «отрицателей» значения русского опыта для международного пролетариата, который-де ничему не учит, так как в России существуют совсем иные условия, чем в Германии. Она была одной из тех первых на Западе представителей марксистского крыла, кто положил начало разоблачению либерально-оппортунистического мифа об «отсталости» России и «незрелости» российского пролетариата для свершения революции. Заметим: столь модного мифа, который современные «критики» ленинизма и победоносной Октябрьской революции и сегодня преподносят как некое «великое научное открытие». В речи на Мангеймском съезде германской социал-демократии Люксембург энергично доказывала, что германский пролетариат должен использовать опыт русской революции. Она поставила задачу широкого применения в немецких условиях опыта массовой политической стачки в качестве подготовительной формы борьбы рабочего класса за достижение политического господства, в перспективе — за установление диктатуры пролетариата.

Познание опыта и уроков большевизма было делом нелегким. Люксембург и ее единомышленники К. Либкнехт, Ф. Меринг, К. Цеткин и другие немало сделали для распространения этого опыта. Но революция ставила все основные вопросы теории и политики партии: об исторической миссии рабочего класса и партии нового

типа в ней, особом значении организационного и сознательного факторов и т. д. Некоторые из этих проблем Роза не смогла понять с достаточной полнотой. Так, например, она ограничивала роль партии в массовой стачке в основном политическими функциями, забывая об организационных и идеологических. В результате само массовое движение пролетариата в форме стачки ей представлялось лишь «снизу», без организующего начала партии. Конечно, эти ошибки честного и преданного революции борца можно понять и объяснить. Она видела неспособность и нежелание большинства оппортунистического руководства СДПГ встать во главе массового подъема пролетариата, дать ему истинный лозунг борьбы. Но смотрела на некоторые процессы российской революции сквозь «немецкие очки», то есть проецировала специфически немецкую действительность на общие закономерности освободительного движения пролетариата, рождавшиеся в ходе первой российской революции. На практике она, однако, неоднократно вступала в противоречия со своими собственными ошибочными выводами. Так, в связи с уроками российской революции она пришла к однозначному выводу, что социал-демократия — наиболее развитый, сознательный, передовой отряд пролетариата. Она должна идти впереди событий, стремиться их ускорить. Но эти противоречия во взглядах определялись, как видим, самой действительностью.

К исходу первого десятилетия XX века в Германии нарастал политический кризис, складывались предпосылки весьма своеобразной предреволюционной ситуации. Время многочисленных и нередко бесплодных дискуссий прошло. Наступала пора действовать. На первый план все больше выдвигались задачи политической борьбы против существующей юнкерски-буржуазной системы. Вместе с К. Либкнехтом и другими единомышленниками

Р. Люксембург разрабатывает политический курс партии и движения в этих сложных и противоречивых условиях. Обострялись конфликты в партийной среде, усиливалось наступление реакции на социалистическое и рабочее движение. В этих условиях Роза вместе с друзьями обосновывает задачу борьбы за отмену реакционной трехклассной избирательной системы в Пруссии и введение всеобщего избирательного права, а средство этой борьбы — массовая стачка. В 1910 году в Пруссии происходили грандиозные манифестации. 10 апреля на улицы Берлина вышло 200 тысяч демонстрантов. Руководство СДПГ было напугано размахом движения и приняло меры к его свертыванию. Роза не смирилась с запретами оппортунистического руководства и выступила с требованием борьбы за демократическую республику. Лозунг борьбы за республику не был утопией. В нем в концентрированном виде выражалась борьба против милитаризма, маринизма, колониальной политики и мирового господства, всевластия юнкеров и опруссачивания Германии. Нелегко давалась ей, как и другим марксистам, выработка и отстаивание новых идей и революционной политической тактики. Она вступила в острый и принципиальный конфликт с К. Каутским, которого многие годы боготворила за светлый ум и глубокие марксистские труды. Но Каутский к этому времени уже порывал с марксизмом, предавал собственные убеждения и формировал особое, оппортунистическое идейно-политическое течение — центризм (каутскианство). Многие годы Розу и семью Каутских связывали личные, сердечные, дружественные отношения. Но истина оказалась дороже: нелегко было Розе, но она разорвала дружбу с Каутским и повела против него непримиримую борьбу.

Все эти годы, начиная с 1907-го, Р. Люксембург работала в Центральной партийной школе СДПГ. Она преподавала политическую экономию. Работа была чрезвы-

чайно ответственная. Перед ней сидели не молодые, а закаленные в классовых битвах рабочие. Надо было дать им теоретическую подготовку и верную политическую ориентацию в связи с новыми условиями, порожденными империалистической стадией капитализма, то есть сориентировать завтрашних партийных функционеров на решительную борьбу за демократию и социализм. Оппортунисты отдавали себе отчет в опасности тех идей, которыми Люксембург обогащала слушателей. В 1913 году идейный отец ревизионизма Э. Бернштейн предпринял попытку лишить Розу права преподавания в школе. Однако единодушный протест слушателей расстроил эти планы, и руководство вынуждено было оставить ее в ЦПШ. Пребывание в школе она совмещала не только с активной политической работой, но и с усиленными теоретическими изысканиями в области политической экономии. За эти годы она подготовила два крупных научных труда: «Введение в политическую экономию» и «Накопление капитала». «Накопление капитала» — одна из первых политико-экономических работ, вышедших из-под пера западноевропейского марксиста в наступивший период империализма. В ней были некоторые просчеты, в частности существенная ошибка в применении марксовой теории воспроизводства капитала на монополистической стадии капитализма. Да, Р. Люксембург ошибалась. Но ее критики, особенно буржуазно-реформистского толка, сводят весь труд лишь к этой ошибке и «не замечают», вернее, не хотят замечать, что его писал страстный борец за устранение империализма. И это был борец не только в теории, но в первую очередь на практике. Да, она не дала сколько-нибудь цельной теории империализма, но она и не ставила перед собой такой грандиозной научной задачи, которая оказалась под силу лишь Ленину. Но этот труд, несмотря на ошибки, учил пролетариат борьбе против

империализма. Он служит обвинительным актом империалистической политике экспансионизма и колониальных захватов европейских держав в Азии, Африке, Америке. В нем раскрыты связи между империализмом и войной, империализмом и милитаризмом.

Одна из важнейших проблем, которая встала перед международным рабочим классом в это время,— неуклонное нарастание угрозы общемировой войны. Европа вооружалась бешеными темпами. Она раскололась на враждующие военные блоки. Тон в гонке вооружений и провоцировании международных конфликтов задавала кайзеровская Германия, которая почитала себя «обиженной» и «обделенной» в грабеже колоний. Но кто из приверженцев будущей войны мог хотя бы элементарно предположить, к чему приведут эти планы? Грандиозную опасность понимали лишь революционные марксисты-интернационалисты, прежде всего Ленин, большевики. В немецкой демократии благородную борьбу, полную опасностей и преследований, вели К. Либкнехт, Р. Люксембург и другие.

Вопрос об отношении социалистов к войне и милитаризму становится вопросом номер один. Люксембург стояла у истоков борьбы против войны и милитаризма — этих близнецов-братьев — еще в последние годы XIX века, когда немецкие оппортунисты предложили юнкерски-буржуазному рейхстагу поменять «права народа на пушки». На национальных съездах и международных конгрессах Второго Интернационала она неоднократно выступала инициатором активных антивоенных действий, связывая их с борьбой против капиталистического строя, с его свержением. Особое значение имела ее совместная с Лениным работа на Штутгартском конгрессе Интернационала в 1907 году по подготовке резолюции об отношении к войне. Благодаря Ленину штутгартская резолюция определила не только задачи в борьбе проле-

тариата против войны, но и использование вызванного ею экономического и политического кризисов для устранения господства капитала. Р. Люксембург вскрывает истоки войн, остро критикует фабрикантов оружия, разоблачает пороки системы милитаризма, которая угнетает, унижает и разобщает трудящихся. В 1912 году она предлагает внести в рейхстаг законопроект о ликвидации постоянной армии и замене ее милицией. Пушечные короли и оппортунистическое руководство СДПГ крайне недовольны антивоенной деятельностью Люксембург. Только за один год — 1914-й — судебные и государственные власти пытались дважды осудить ее за антивоенные выступления.

События развивались катастрофически. И тем не менее Роза до последнего часа боролась за то, чтобы поднять массы на борьбу. За считанные дни до начала мировой войны, 28 июля 1914 года, она писала: «Пролетариат, обладающий классовым сознанием, знает метод... который более эффективен и значительно больше соответствует классовым интересам международного пролетариата. Этот метод заключается в том, чтобы противопоставить военным аппетитам правительства решимость и волю народных масс к сохранению мира. Это, в сущности, тот самый метод, который издавна так великолепно и славно применяется петербургским пролетариатом...» Но Люксембург и небольшая группа левых не могли остановить молох войны, который занес меч над европейскими народами.

Развязка приближалась. Наступали решающие годы и дни...

* *
*

1 августа 1914 года кайзер Германии Вильгельм Второй объявил войну России. Первая мировая война началась. Что же думали в эти роковые дни и чем занимались оппортунистические вожди Второго Интернационала и СДПГ? Немецкий филистер, ослепленный шовинизмом, жаждал реванша, нового «жизненного пространства». И правые вожди не обманули его надежд. Наступило 4 августа — «черный день» в истории германской и международной социал-демократии. Парламентская фракция в СДПГ в полном составе — 110 депутатов — проголосовала вместе с «партиями порядка» — юнкерами, пушечными королями, баронами угля и стали — за военные кредиты. Это означало крах, политическую смерть некогда революционной партии германского пролетариата, всего Второго Интернационала. Оппортунисты превратили рабочий класс в пушечное мясо и призвали к братоубийственной войне пролетариев разных стран.

Р. Люксембург тяжело переживала это предательство. В этих условиях нетрудно было потерять веру в растоптанные идеалы социализма и интернационализма. Но она и ее друзья не растерялись, не пали духом. Вечером того же «черного дня» на квартире Розы собрались германские левые. Люксембург и Меринг написали заявление, в котором решительно протестовали против предательской позиции социал-демократической фракции рейхстага. Перед германскими интернационалистами встала задача первостепенной важности — вырвать массы из-под влияния социал-шовинистического угара, рассказать им правду о грабительской войне. По инициативе Люксембург и Меринга в апреле 1915 года появляется новый журнал «Интернационал». В обстановке социал-империалистического патриотизма и шовинизма само название журнала германских левых прозвучало обнадеживающе и символично. Едва Роза успела написать первую статью

для нового журнала — «Восстановление Интернационала» — статью важную и принципиальную, в которой она разоблачала подлое предательство правых и центристов (каутскианцев), как в середине февраля 1915 года была арестована и заключена в берлинскую женскую тюрьму. В статье Роза первой из западноевропейских революционных марксистов констатировала крах Второго Интернационала и пришла к выводу, что его невозможно восстановить в прежнем виде: «Интернационал возродится после войны не путем игры на старой шарманке, которая будет играть песенку «Фриш-фром-фрелих унд фрай» *, как будто ничего не произошло, повторять старые мелодии, очаровывавшие свет божий вплоть до 4 августа; только путем ликвидации предательской тактики, применяемой начиная с 4 августа может начаться восстановление Интернационала. И первым шагом в этом направлении должны быть действия, цель которых — быстрейшее прекращение войны и заключение мира, отвечающее общим интересам международного пролетариата».

Находясь в тюрьме на Барнимштрассе в Берлине, Роза в марте — апреле 1915 года завершает работу над брошюрой «Кризис социал-демократии». Она сумела переправить ее на волю, и весной 1916 года брошюра под псевдонимом Юниус нелегально вышла в свет. Можно сказать, что для германского рабочего движения, а в некоторой мере и для западноевропейского эта брошюра была в известном смысле взрывом бомбы. Не случайно В. И. Ленин тотчас откликнулся на нее обстоятельной статьей «О брошюре Юниуса», которая рассматривала важнейшие теоретические и политические вопросы вой-

* «Свежо, благочестиво, весело и свободно» (перев. с нем.).— Р. Люксембург имеет в виду соглашательскую политику правых, приведшую их в лагерь империализма и германского генерального штаба.

ны, мира и революции и затрагивала коренные интересы международного пролетариата и судьбы трудящихся масс Европы. Эта статья далеко выходила за рамки поставленных Розой вопросов.

Ленин подверг критике ряд теоретических идей и практических положений, высказанных в брошюре Люксембург. Это и непонимание связи социал-шовинизма со старым оппортунизмом, и отрицание возможности национальных, справедливых войн в условиях империализма. Но Ленин увидел и другое, более важное и существенное: Юниус давал всестороннюю характеристику империалистической сущности первой мировой войны, решительно выступал против нее, за революционную тактику выхода из войны. Ленин полемизировал с Розой как с единомышленником и другом, который преодолевает наследие оппортунистической социал-демократии и делает существенный шаг к разрыву с ней. Это выступление Розы показало, что германские левые во главе с К. Либкнехтом и Р. Люксембург в главных вопросах войны и революции идут единым фронтом с В. И. Лениным, большевиками.

В феврале 1916 года Розу освободили из тюрьмы. Но это была лишь мимолетная передышка. Уже в июле того же года она вновь была заключена в тюрьму, причем без суда и следствия, в «превентивном порядке» на два года и четыре месяца. Итак, власти считали за благо упрятать известную революционерку за решетку, чтобы чувствовать себя спокойнее. Почти три с половиной года — практически всю мировую войну — провела Люксембург в тюремном заключении, потеря для революционного движения Германии немалая. Но и в заключении Роза писала листовки, знаменитые «Письма Спартака», имевшие серьезное программное и практическое значение для борьбы рабочего класса за революционный выход из войны. В тюрьме она увлеклась изучением есте-

ственных наук, перевела на немецкий язык «Историю моего современника» В. Короленко и как предисловие к этой книге написала краткий очерк о современной русской литературе.

В крепости Вронке Люксембург получила известие о победе Февральской революции в России. «Великолепные дела в России,— писала она с воодушевлением одному из друзей из заключения,— действуют на меня как эликсир жизни... Происходящее там должно произвести и произведет спасительное воздействие на весь мир. Происходящее в России должно осветить своими лучами всю Европу. Я твердо убеждена, что сейчас начинается новая эпоха и что война уже не может долго продолжаться».

Сведения о развитии революции в России, которые Люксембург узнавала из официозных газет в заключении, были скудны, противоречивы, нередко просто фальсифицированы. Ей нелегко было с достаточной глубиной разобраться во всех тонкостях и оттенках происходящих в России всемирно-исторических событий. И тем не менее она начала работу над рукописью под названием «Русская революция», в которой попыталась прежде всего для самой себя уяснить всю глубину и значимость происходившего в России, особенно Октябрьской революции, ее значения для мирового общественного развития. Роза рассматривала ее как «акт всемирно-исторического значения, следы которого не исчезнут вовеки».

Люксембург увидела в победоносном Октябре три важнейших фактора: во-первых, за большевиками остается бессмертная историческая заслуга в том, что «они, завоевав политическую власть и практически поставив проблему осуществления социализма, пошли впереди международного пролетариата и дали могучий толчок борьбе между трудом и капиталом во всем мире»; во-

вторых, «партия Ленина была единственной партией, осознавшей долг и требования, которые стоят перед истинно революционной партией. Провозгласив лозунг «Вся власть пролетариату и крестьянству!», она обеспечила развитие революции». Наконец, в-третьих, «всю революционную честь и способность действовать, которых была лишена социал-демократия Запада, воплощали большевики. Их Октябрьское восстание было не только подлинным спасением русской революции, но также и спасением чести международного социализма».

Можно было бы проиллюстрировать и другие оригинальные мысли, которые били не только по каутскианцам и социал-шовинистам, но являются актуальными и в наши дни, когда различные «обновители» марксизма-ленинизма и «критики» из лагеря антикоммунизма пытаются принизить всемирно-историческую роль Октября и фальсифицировать решающее значение ленинской партии как политического авангарда пролетариата, вождя революции. Конечно, сквозь тюремные решетки Люксембург многое не смогла увидеть. Кроме того, груз старых представлений о путях развития революции и продвижении к социализму привели к ряду ошибочных суждений в этой рукописи. Этим не преминули воспользоваться и ренегаты германской революции вроде П. Леви и их современные эпигоны. Ленин отвечал такого рода критикам ошибок Люксембург: «Мы ответим на это двумя строками из одной хорошей русской басни: орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда, как орлы, не подняться».

10 ноября 1918 года Люксембург наконец вышла из тюрьмы. В стране уже неделю бушевала Ноябрьская революция. За время ее заключения произошли перемены в среде немецких левых. В начале 1915 года они создали группу «Интернационал», спустя год большинство левых групп объединилось в «Союз Спартака», который явился

первым шагом на пути создания боевой революционной партии в Германии. Наступил решающий и долгожданный исторический момент — назрело время организационного разрыва с так называемой Независимой (центристской) социал-демократической партией, в состав которой входили спартаковцы.

Время не ждало. Ноябрьская революция, у кормила которой волей судеб стали оппортунисты, набирала силу, но была лишена революционного, боеспособного руководства...

29 декабря собралась общегерманская конференция «Союза Спартака», а на следующий день, 30 декабря, она провозгласила себя учредительным съездом Коммунистической партии Германии («Союз Спартака»). Р. Люксембург выступала с одним из основных докладов — о программе партии и политической обстановке. «Товарищи,— обращалась Роза к делегатам,— сегодня мы переживаем момент, когда можем сказать: мы снова с Марксом, под его знаменем». Съезд поддержал основные идеи и предложения Люксембург. Возникновение КПГ было закономерным результатом той многолетней борьбы, которую вели германские левые, в их числе и Роза Люксембург.

Между тем обстановка в стране накалялась. Социал-демократическое правительство спровоцировало преждевременное выступление рабочих: 5—6 января на улицы Берлина вышло около полумиллиона рабочих. Люксембург в коммунистической газете «Роте фане» призывала рабочих к решительным действиям, напоминая, что революция не ждет. Контрреволюция, хорошо подготовленная, перешла в наступление. Символично, что во главе ее встал социал-демократ Г. Носке, у которого достало цинизма самого себя назвать «кровавой собакой». Вот логическое завершение предательского социал-шовинизма!

После кровавой расправы над берлинским пролетариатом в столице был установлен «порядок». Но предатели — социал-шовинисты не чувствовали себя в полной безопасности. На свободе оставались вожди КПГ, прежде всего К. Либкнехт и Р. Люксембург. Контрреволюция вынашивала планы физической расправы с ними. Как свидетельствуют официальные документы, особенно усердствовали в этом лидеры правой социал-демократии, которые еще до Ноябрьской революции открыто перешли на сторону монополистической буржуазии и генерального штаба, а в результате революции сумели захватить власть. Планы убийства руководителей КПГ не были тайной. А. Циклер в центральном органе СДПГ газете «Форвергс» открыто призывал к убийству Карла и Розы. Специальная «Вспомогательная служба социал-демократической партии. Секция 14» обещала за головы К. Либкнехта и Р. Люксембург награду в 100 тысяч марок.

В воскресенье, 15 января 1919 года, вечером Карл Либкнехт и Роза Люксембург были арестованы в берлинском районе Вильмерсдорфе. Участник этих трагических событий, выдающийся деятель Коминтерна, первый президент Германской Демократической Республики Вильгельм Пик, который был схвачен вместе с Карлом и Розой, рассказывал впоследствии: «Когда автор этой статьи 15 января около 9 часов вечера намеревался посетить обоих товарищей на их квартире, чтобы передать им конспиративные документы на случай проверки, квартира оказалась занятой военными, а Карл Либкнехт был уже арестован и увезен. Роза Люксембург находилась еще в квартире под охраной нескольких солдат... Вскоре прибыла группа солдат. Они заставили Розу Люксембург, которая из-за сильной головной боли лежала в постели, встать и одеться, и вскоре вывели ее и меня на улицу. Нас втолкнули в автомобиль, и после

непродолжительной поездки мы остановились перед отелем «Эден»... О нашем предстоящем прибытии, видимо, было уже доложено. Перед входом стояло несколько офицеров и солдат, которые встретили нас криками и бранью. Они вели себя крайне подло, особенно по отношению к Розе Люксембург. Ее немедленно провели на второй этаж отеля, где некий капитан Пабст, представившийся так называемым судьей, подверг ее допросу... Офицеры откровенно беседовали друг с другом, а также с солдатами о том, что из отеля никто из нас живым уже не выйдет».

Пьяная солдатня начала зверскую расправу над революционными вождями германского пролетариата. Карла Либкнехта, который тоже находился в этом отеле, избили, бросили в автомобиль и повезли в район Тиргартена и здесь инсценировали пресловутое «убийство при попытке к бегству». Тем временем капитан Пабст отдал ложный приказ о переводе Розы в тюрьму Моабит, когда в действительности ее судьба была уже решена. Исследователь этой трагедии, шедший по горячим следам событий, Е. И. Гумбель, рассказывает: «Когда Розу Люксембург выводили через главный подъезд отеля «Эден», у дверей стоял... Рунге... Он нанес ей два удара по голове, свалившие ее с ног. Старший лейтенант Фогель, руководивший перевозкой Люксембург, ничем не помешал этому. Фрау Люксембург втолкнули в машину. Когда автомашина отъехала, сзади вскочил какой-то человек и тяжелым предметом нанес фрау Люксембург удар по голове. По дороге старший лейтенант Фогель выстрелил ей в голову. Автомашина ехала между Ландвер-каналом и Зоологическим садом. Около Ландвер-канала стояла группа солдат. Автомашина остановилась, и солдаты по приказанию Фогеля бросили труп Люксембург в канал. На следующий день участники убийства сфотографировались все вместе во время попойки».

Лишь спустя свыше четырех месяцев, 1 июня 1919 года, были обнаружены останки Розы Люксембург. 13 июня она была похоронена в присутствии тысяч берлинских пролетариев на нынешнем кладбище социалистов Фридрихсфельде (ГДР).

* *
*

История прошлого знает не так уж много женщин, отдавших всю жизнь, без остатка, делу освобождения труда в дооктябрьскую эпоху. К числу пионеров нового поколения революционеров этой эпохи принадлежала и Роза Люксембург.

В известном смысле Р. Люксембург была явлением уникальным в истории революционного рабочего движения и международной марксистской мысли. Натура даровитая во многих отношениях, наделенная талантом оригинального мыслителя, проникавшего в разные сферы общественных наук, блестящий публицист, соединяющий свои теоретические воззрения с практикой революционного движения, интересами пролетариата, Роза была непримирима к врагам, в какие бы одежды они ни рядились. И превыше всего она ценила преданность революционному делу и идеалам социализма. Неудивительно, что в этом «царстве оппортунизма и социал-шовинизма» — переродившейся из революционной в реформистскую СДПГ,— сложилось идейно-политическое течение единомышленников-интернационалистов, в числе которых была и Люксембург. Когда Ленин узнал, что спартаковцы основали КПГ, он тут же пришел к выводу, что основание Коммунистического Интернационала стало фактом! И в этом также историческая заслуга германских левых, Р. Люксембург.

Известно, что ни марксистами, ни революционерами люди не родятся. Ими становятся. И не автоматически,

а ценой огромной воли, неустанного труда и преодоления трудностей и ошибок, в том числе и не только своих, а доставшихся в наследие от «учителей» и времени. Вот почему жалкими пигмеями выглядят современные «критики» Р. Люксембург, которые схоластически спекулируют на ее отдельных ошибках, вырывая их из контекста всего ее теоретико-политического наследия, а оно весьма и весьма значительно и до сих пор полностью не собрано, к сожалению, воедино.

Итак, весь жизненный путь Розы Люксембург, а она не дожила и до пятидесяти,— это постоянная борьба и преодоление неведомого, когда каждый шаг продвижения вперед, будь то в теории или в пролетарском движении,— это бой: приходилось терять друзей, болезненно разочаровываться в тех, кому беззаветно верила, а на крутых поворотах истории они оказывались в обозе врага, становились перебежчиками. Ее дорога не была усыпана розами, но тем значительнее величие ее дел. Нетрудно совершить подвиг в мгновение исторической необходимости, но во сто крат труднее превратить в подвиг всю жизнь. И совсем не случайно Ленин без устали напоминал коммунистам после гибели К. Либкнехта и Р. Люксембург, что их борьба приведет к победе. Оценивая все, без остатка, что сделала Люксембург для дела революции и социализма, Ленин отмечал, что «не только память о ней будет всегда ценна для коммунистов всего мира, но ее биография, полное собрание ее сочинений... будут полезнейшим уроком для воспитания многих коммунистов всего мира».

Эти пророческие слова Ленина сбылись. Борьба, которой отдала жизнь Люксембург, принесла богатые плоды. Идеалы, за которые она боролась, воплощены сегодня и в Германской Демократической Республике, и в Польской Народной Республике. Ее не забывают коммунисты мира. Ежегодно Германская коммунистическая

партия в трагические дни гибели Либкнехта и Люксембург проводит уже ставший традиционным популярный политический форум под названием «L — L — L»: Ленин — Либкнехт — Люксембург. Ежегодно десятки и сотни тысяч трудящихся столицы ГДР морозным январским днем совершают манифестацию на кладбище социалистов Фридрихсфельде в Берлине, где покоятся останки Либкнехта и Люксембург.

Такой сохраняется в памяти всех честных людей земли чистый, правдивый облик пламенной революционерки, страстно любившей жизнь, Розы Люксембург.

Н. Овчаренко,
доктор исторических наук, профессор

СОДЕРЖАНИЕ

Минутко И. А.

М62 Восхождение: Повесть о Розе Люксембург.— М.: Политиздат, 1983.— 426 с., ил.— (Пламенные революционеры).

М $\frac{0901000000-140}{079(02)-83}$ КБ—7—43—83

84Р7 + 66.61(4Г)
Р2 + 3КИ1(092)

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МИНУТКО

ВОСХОЖДЕНИЕ

ПОВЕСТЬ О РОЗЕ ЛЮКСЕМБУРГ

Зав. редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *Г. Е. Щербакова*
Научный редактор *Н. Е. Овчаренко*
Младший редактор *А. А. Степанова*
Художник *Л. В. Козлов*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 3359

Сдано в набор 10.02.83. Подписано в печать 18.07.83.
А00436. Формат 70×108$^1/_{32}$. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.
Условн. печ. л. 19,51. Условн. кр.-отт. 23,3.
Учетно-изд. л. 19,61. Тираж 300 тыс. экз.
Заказ № 321. Цена 1 р. 50 к.

Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий».
г. Свердловск, пр. Ленина, 49.

В 1984 году в серии
«Пламенные революционеры»
выйдут следующие книги:

Яков Гордин
«ТРИ ВОЙНЫ БЕНИТО ХУАРЕСА»

Наталья Давыдова
«ВЫБОР ОРУЖИЯ»
Повесть об Александре Вермишеве

Эмиль Кардин
«МИНУТА ПРОБУЖДЕНЬЯ»
Повесть об Александре Бестужеве-Марлинском

Лев Кокин
«ЧАС БУДУЩЕГО»
Повесть о Елизавете Дмитриевой

Георгий Метельский
«ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЫХАНИЯ»
Повесть об Иване Фиолетове

Александр Пежный
«ОГОНЬ НАД ПЕСКАМИ»
Повесть о Павле Полторацком

Борис Тумасов
«ОБРЕТЯ КРЫЛЬЯ»
Повесть о Павле Точисском

Михаил Юхма
«КУНГОШ — ПТИЦА БЕССМЕРТИЯ»
Повесть о Мулланурe Вахитове

В 1984 году в серии
«Пламенные революционеры»
вторым изданием
выйдут следующие книги:

Владимир Буданин
«КОМУ ВЕРШИТЬ СУД»
Повесть о Петре Красикове

Валентин Ерашов
«НАВСЕГДА, ДО КОНЦА»
Повесть об Андрее Бубнове

Александр Русов
«СУД НАД СУДОМ»
Повесть о Борисе Кнунянце

Алексей Савчук
«ПРЯМОЙ ДОЖДЬ»
Повесть о Григории Петровском



